



Алексей Слаповский  
**ПЕРЕСУД**

brary  
е.  
8

# Алексей Слаповский

# ПЕРЕСУД

роман

COOK MEMORIAL LIBRARY  
413 N. MILWAUKEE AVE.  
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048

Москва



2008

Оформление *Марии Суворовой*

**Слаповский А.**

С 47      **Пересуд: Роман / Алексей Слаповский.** — М.:  
Эксмо, 2008. — 352 с. — (Большая литература).

ISBN 978-5-699-29252-3

Пятеро сбежавших преступников оказываются в междугородном автобусе и решают устроить «пересуд». Пассажиры, поневоле ставшие присяжными, должны вынести приговор, от которого, как выяснится, зависит их собственная участь. Преступники рассказывают одно, пассажиры понимают другое, автор раскрывает, как все было на самом деле.

По сюжету — триллер. По сути — книга о том, насколько все мы сейчас ведаем, что творим, и вменяемы ли вообще.

Возможно, это одна из самых страшных книг последнего времени, но она не для того, чтобы напугать, а — оглядеться, всмотреться, вслушаться. В том числе в себя.

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-29252-3

© А. Слаповский, 2008  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Это ведь, милая, про каждого из нас —  
виновен, но неменяем!

*Тимур Кибиров*

## Москва, Павелецкий вокзал

— Смотри, чтобы пьяных не было, — сказал Козырев Артему, напарнику и племяннику в одном лице.

— Знаю, — откликнулся Артем.

После нескольких случаев, когда выпившие пассажиры безобразничали в салоне, приставали к другим, буянили (пришлось один раз даже вызывать милицию), Козырев зарекся брать таких в автобус. Нервы стоят любых денег, а осталось их у него — нервов то есть — к пятидесяти трем годам не так уж много, надо и поберечь.

Он видел, что хмурому, невыспавшемуся Артему его напоминание показалось лишним, и мысленно усмехнулся: не нравится — а терпи. Сколько рейсов будет, столько и напомню. Потому что понял Козырев опытом своей жизни: люди — народ безответственный, непамятливый, безалаберный. Сто раз скажешь Артему, к примеру, что за три километра от Луховиц подстерегает тайный пост «зеленых братьев», как водители называют дорожных милиционеров, что корыстно прячутся в придорожных лесах и высматривают оттуда нарушителей, а он все равно, подъезжая к опасному месту, жмет на газ. Слепой, и тот видит лучше

зрячего, догадался однажды Козырев, оказавшись свидетелем аварии, когда на перекрестке человек в черных очках и с палочкой ускользнул из-под несшегося по голому льду грузовика, а находившийся с ним рядом вполне зрячий молодой человек не успел отскочить, бесславно погиб. Слепой знает, что всегда не видит, и осторожничает, а зрячий думает, что всегда видит, потому и прет не глядя, часто приходилось наблюдать Козыреву.

Впрочем, не всю жизнь он рулит и меряет бесконечные русские километры, был и принцем, и нищим, как сам он выражается, если выпьет и впадет в лирику, снизойдя до разговоров с женой за неимением других собеседников: с друзьями Козырев давно дружить перестал, убедившись в их неспособности понять даже десятую часть того, что понимает он сам. Учился Козырев когда-то в политехническом институте на энергетика, работал инженером с окладом сто двадцать рублей, женившись, стал летать в Сургут, добывал государству нефть, а себе деньги на пропитание семьи: две дочери все-таки. Приобрел язву от волюнтаристской кормежки (шутка однобригадника, выпускника исторического факультета), пристроился техником в «Горсвет», где не видел в глаза никакой техники, а только бесконечные бумажки расчетов энергии и денег. С приходом новых времен (сильно уже теперь состарившихся) нанялся в частную фирму, занимался перевозкой и складированием товаров широкого потребления, попытался сам заняться мелкооптовым бизнесом — сначала удачно, потом прогорел. Некоторое время разочарованно выпивал, не обращая внимания на попреки жены, и — жить надо на что-то — взялся за частный извоз. Однако хотелось чего-то солидного, и Козырев, получив права соответствующего образца, устроился в автобусную компанию на дальние рейсы.

Сестра упросила взять напарником Артема, чтобы тот всегда был занят делом и почаще отрывался от города. Она беспокоилась не напрасно: Артем хоть и был парнем с руками, автослесарем и водителем, но слишком увлекался вечерней и ночной городской жизнью: отработав свое, закатывался в какие-то клубы, больше подходящие для богатой нетрудовой молодежи, и там знакомился с несомненно сомнительными девушками, у которых пропадал иногда по нескольку дней и ночей, пользуясь своей, увы, довольно красивой внешностью: волосы русые, густые, рост высокий, плечи широкие, улыбка белозубая. И говорит при этом удивительно складно, хоть и не всегда вполне грамотно, не в молчаливых Козыревых пошел — может, отец Артема таким был; Козырев с удовольствием спросил бы его, если б знал, где найти.

Вот и ездят они уже четвертый год на комфортабельном, но ветхом «мерседесе», ездят рейсами «Сарайск—Москва» и обратно. Не напрягаясь, получается восемнадцать часов туда и семнадцать с половиной обратно. Почему так выходит, они не понимают. Та же дорога, те же остановки для заправок, перекусов, проминки пассажирских ног, все то же самое, но факт: обратно приезжают всегда на полчаса быстрее.

— Это логично, Олег Ильич, — не раз говорил Артем. — Домой всегда дорога короче, мы, наверно, сами не хотим, а быстрее ездим, а еще, если на глобус посмотреть, то ведь вниз получается, вот мы вниз и катим по наклонной плоскости!

Козырев, зная, что и первый, и второй аргумент — глупости (да и племянник это, конечно, понимал, просто шутил), добродушно усмехался. Ему нравилось, что Артем с самого начала называет его по имени-отчеству, а не просто народно «дядя Олег» — в конце концов, Козырев по проис-

хождению (мама была воспитательницей детского сада, а отец мастером на заводе) и по образованию — интеллигент, хотя интеллигенцию мало уважает за болтовню и попытки применить к практическим законам жизни идиотские законы теории. А главное: интеллигенты позволяют творить с собой все, что кому захочется, и только ноют, не принимая никаких мер. Даже революцию за них рабочие и матросы сделали, думал иногда Козырев, размышляя об истории — ибо вы даже и представить не можете, о чем только не размышляет в дороге водитель междугородного долгого автобуса. Недавно, например, Козырев, проезжая мимо озерца, увидел лодку с рыбаком, возникло в мозгу слово «приплыли», потом вспомнилось выражение «картина Репина “Приплыли!”». Потом Козырев стал думать, есть ли действительно у Репина такая картина. Потом вдруг обнаружил, что знает, как звали художника — Илья Ефимович. Естественным образом вспомнился другой Илья Ефимович, пьяница-баянист со второго этажа дома, где жил Козырев в детстве, — и то, как он, похоронив жену, сидел в тот день дотемна у подъезда и играл сначала что-то печальное, а потом разошелся, заиграл плясовую с переборами и сам же стал плясать, ухая и притопывая, соседи глазели из окон: кто смеялся, кто ругался, кто сочувствовал, а кто-то тайком нащептал в телефон, приехала милиция, но тут весь дом встал на защиту: «Вы что, с ума сошли, у человека горе, жену схоронил!» И тут Илья Ефимович вдруг застыл, будто к чему-то прислушиваясь, сказал удивленно: «Умерла!» — и, грохнув баян об асфальт, упал на лавку и залился слезами. Вспомнив это, Козырев начал думать, в чем причина несходства мужской и женской психики, почему мужчины плачут гораздо реже, чем женщины? И почему женщины дольше живут? И почему природа так странно устроила, что мужчина вокруг женщины готов виться, как идиот, часами и

днями — ради, собственно, чего? Ради очень, если подумать, быстрого и нехитрого удовольствия, а скорее — для подтверждения того, что ты еще мужик: к такому выводу Козырев пришел по мере накопления возраста и естественной усталости. А вот Артем вместо того, чтобы отсыпаться, использует считанные часы и в Москве, и в Сарайске, мотается к подружкам и приходит от них утомленный, и сажать его за руль нельзя, поэтому рейс всегда начинает Козырев, каким бы ни было его настроение и состояние здоровья. И это уже не перешибешь: Артем, во многом покладистый (из-за лени сопротивляться), в данном вопросе упирается железобетонно, будто не шашни свои защищает, а саму жизнь. И дрыхнет несколько часов как мертвый на лежаке позади водительского кресла. Этот лежак и закуток европейским нежным «мерседесом» не предусмотрен, они сами его соорудили за счет пассажирских мест — отгородили от салона пластиком на каркасе из никелированных труб, повесили шторку, стало уютно.

А проснувшись, Артем обязательно пройдет по салону и осмотрит женские кадры, прицениваясь неугомонным карим глазом, и кого-нибудь обязательно зацепит легким разговором. А потом, может быть, углубит тему, подсядет к девушке, если одна, что-то начинает говорить мягко и негромко, посмеиваясь, девушка тоже посмеивается — сперва осторожно, потом доверчиво. И часто бывает, что, когда приезжают в Сарайск или Москву, Артем с веселой виноватостью говорит:

— Олег Ильич, мне на часок отлучиться надо...

— Знаю я твой часок. А мне работать?

— Отработаю! Сколько меня не будет, столько за рулем отсижу!

Что ж, Козырев отпускает — если нет срочного ремонта.

Девушек этих было много, на Козырева они не действовали, пока Артем не подцепил блондинку с пышной грудью и всем остальным настолько налитым, что казалось — пальцем надави, и сок брызнет. Козырев раз на нее глянул, другой — и вдруг что-то в нем заворочалось. Не мужская жадность, нет, хотя и она тоже. И не то его привлекло, что подобных девушек у него никогда не было. Этот аргумент Козыреву давно уже кажется неумным. А для Артема он чуть ли ни основной. Было дело, уволок тетку лет сорока, трудовую, в сером плаще и линялом платке, в резиновых сапогах, с морщинистым лицом моложавой старухи.

— Лучше, что ли, не нашлось? — спросил Козырев.

— И не нашлось, и, ты пойми, Олег Ильич, у меня ни разу такой не было. И знал бы ты... — хотел продолжить Артем, но Козырев брезгливо махнул рукой: не знаю и знать не хочу.

И вот, глядя на блондинку, абсолютно при этом типовую, похожую на сотни блондинок из жизни и телесериалов, Козырев вдруг понял, *что*, наверное, чувствует Артем. Хочется до не могу — и именно эту, и чем скорее, тем лучше.

Но он так и ехал со своим желанием, злясь на Артема и на блондинку, которая охотно откликнулась на заигрывания опытного подлеца, а в Сарайске проводил их печальным взглядом и лишь через неделю спросил, будто вскользь:

— Как ты с этой беленькой, дружишь еще?

— С какой беленькой? С Инной?

— А я знаю, как их у тебя зовут? Ну, грудь у нее вот такая, — показал на себе Козырев.

Артем не сразу вспомнил. А потом рассмеялся:

— А, Светка, наверно?

— Наверно, — сердито сказал Козырев.

— Отличная женщина! — с охотой аттестовал Артем, которому было приятно, что дядя в кои-то веки разделил его интересы. — Если хочешь, познакомлю. У нее муж, дочка, но она свободная вообще-то. Я обещал к ней зайти как-нибудь, телефон есть. Познакомить?

— Очень надо... — сказал Козырев. — Ну, познакомь. Не то чтобы понравилась очень, но... Понимаешь, жена болеет... — Козырев осекся, вспомнив, что его жена — Артемова тетка. Но Артем на это не обратил внимания.

— Да нормальное дело, Олег Ильич! — воскликнул он тоном старшего и умудренного.

Козырев стерпел эту наглость, но предупредил:

— Смотри, если кому скажешь...

— Ни в коем случае!

И познакомил племянник дядю с блондинкой, и началась история, которая чуть не кончилась уходом из семьи: были подарки, транжиренье денег, сладкие часы в квартирке, которую Козырев и Артем сняли для таких дел на двоих (что для Козырева было дополнительным паскудством), но хватило Козыреву ума остановиться, опомниться — он рассудил, что ломать семью из-за пусть красивой, но все-таки поблядушки (а кто она еще, если от мужа гуляет?) глупо, потому что наверняка она через год-другой будет и от него гулять. Он прямо сказал об этом Светке. Та плакала, клялась, что любит, но Козырев ей не поверил. Какая любовь, он почти в два раза ее старше! Конечно, приятно, если с тобой по-человечески обходится солидный и обеспеченный мужчина, дарит то духи, то бижутерию, но отношения вольные — одно, а семейные — другое. Очень проблематично будет вместо ожиданий мужа с цветочками и бирюльками, лежа на диване и готовя тело к удовольствию, вести хозяйство, стоять у плиты — а в подобном рвении, кстати, Светка не была замечена.

В общем, закончил Козырев эту канитель достойно, без урона для близких, хотя иногда, глядя на какую-нибудь аналогичную барышню, вспоминал о Светке с легкой грустью, а однажды позвонил, сказал:

— Привет, это я!

— Кто? — спросила она чужим голосом.

— Олег.

— Ну и что?

— Да ничего, — сказал он и швырнул телефон.

Кстати, надо его подзарядить.

И, доставая телефон, Козырев оглянулся на лодку, которая еще не скрылась из виду, а потом — с удивлением — на телефон: он знал, что между лодкой и телефоном есть какая-то связь, что именно через эту лодку с рыбаком выбрал он сложными путями к мысли о необходимости подзарядки, но как это вышло, куда делись промежуточные звенья — не понимал.

## Москва, Павелецкий вокзал

Козырев посмотрел в салон автобуса. Маловато: человек десять—двенадцать.

— Покричи еще! — сказал он через открытую дверь Артему.

Тот поднял громкоговоритель, специально купленный для таких случаев, и стал зазывать:

— Москва—Сарайск, быстро, комфортно! Авиационные кресла, биотуалет, ужин в пути, несравненная цена, самый удобный и самый дешевый транспорт! Отправление через десять минут, автобус находится у центрального выхода вокзала, он же центральный вход! Отправление через десять минут, осталось несколько свободных мест! Отправление через десять минут!

И тут возникла девушка, от которой в сердце Артема сразу же стало горячо.

Он уже настроился на унылую поездку: в автобусе не было ни одной симпатичной женщины. Разве что бледная худая особа лет тридцати с чем-то, из неприступных, которых никто не собирается брать приступом, да ей и не надо, она с мужем, таким же худосочным и бледным. Почему обя-

зательно муж? Потому, что у Артема на это безошибочное чутье. Он всегда понимает, когда девушка или женщина едет с приятелем, когда с другом, когда с любовничком, когда с сожителем, когда с сотрудником, когда с родственником, а когда с мужем, и готов даже назвать примерный стаж отношений в каждом отдельном случае. И уровень отношений тоже понимает.

Бывали у него и замужние, и холостые, и молодые, и не очень, весьма разные, и Артем уверен, что способен уговорить любую или почти любую. Один фактор мешает в дороге — присутствие посторонних. Спереди, сбоку, сзади пассажиры ловят от скуки вялыми ушами что им надо и что не надо. Поэтому дамы не сразу идут на контакт, особенно, как ни странно, те, кому нужнее, — женщины в печальном возрасте от тридцати и выше, все сплошь, как понял Артем, не обласканные, либо обласканные так плохо и неумело, что приходится переласкивать. Проще с легкими и свободными девушками, приезжающими в столицу на честные заработки, а также со студентками. И, к изумлению Артема, сложнее всего оказалось с проститутками, которые, бывает, тоже ездят этим автобусом. Но ездят, как выяснилось, деловитые, хозяйственные, для которых проституция — промысел ради оставленной в какой-нибудь сарайской, или пензенской, или рязанской глуши семьи. Часто у них есть безработный или бездельный муж, смиренно ждущий жену с деньгами и рассказом о тяготах службы официанткой или курьершей, есть любимый ребенок, такие девушки стерегут каждую копейку, поэтому и выбирают автобус, а не гораздо более удобный поезд или, тем более, быстрый самолет. У них, как у колхозниц, вечно сумки, узлы и пакеты, откуда выглядывают плюшевые зайцы, медведи и большие коробки развивающих игр. Но Артем угадывает профессию этих барышень по ровному искусственному загару, который они

для наилучшего товарного вида приобретают в соляриях, по кукольно красивым кроссовкам или туфелькам, обязательно с какими-нибудь вставочками, по бридгам со стразами, стоящими, если брючки иметь в виду, в десять раз дороже проезда (а куда деться, производственная необходимость), а еще по озабоченному взгляду при посадке и по той освобожденной тихой улыбке, которая появляется на их лицах все чаще по мере удаления от постылой Москвы, которую они, однако, любят странною любовью, и приближения к милой родине, из которой они мечтают уехать к чертям собачьим — в ту же Москву, чтобы стать тут — розовая мечта каждой проститутки — риэлторшей: покупать квартиры дешево, продавать дорого, иметь чистую прибыль, а себя давать только по любви. Ну, совсем редко за деньги или, если понадобится, по делу.

Артем видит их насквозь, но все равно любит. Он любит вообще все женское: эти изгибы, бархатистость кожи в одних местах и гладкость в других, переливы голоса, прерывистость дыхания, хрупкость — независимо от телосложения, — эту их доверчивость в моменты близости у самых недоверчивых, это желание доставить радость, всегда немного наивное, как у детей, которые хотят порадовать папу, но еще толком не умеют этого делать. Артем поэтому не может полюбить какую-то одну и предпочесть ее другим — слишком любит Женщину в целом, как вид, как источник вечного счастья, как-то что-то единое и при этом разнообразное. Всегда ему кажется, что он лелеет в одной женщине всех остальных, а себя при этом чувствует единственным мужчиной на свете, способным стать мужем для всех. И даже если бы разрешили завести ему гарем из тысячи жен, на тысяча первый день после тысячной ночи он пошел бы искать тысяча первую, еще неизвестную. Кстати, в неизвестности и есть самое интересное, быть может. И в Сарайске, и в

Москве он любит так организовывать встречи, напросившись с каким-нибудь приятелем в женскую компанию, чтобы никого там не знать, а придя — удивиться и обрадоваться. Что-то есть в этом, словами не выразимое: вот жила она, как звезда, которая очень далеко, ее не увидеть ни в какой телескоп, ее для тебя не было — и вдруг рядом, близкая, настоящая. Она приносит с собой всю свою жизнь, и это Артему тоже интересно, он расспрашивает женщин, вникает, задумчиво слушает, и может быть, именно за это они его больше всего и ценят.

Будучи великодушно неприхотливым, Артем все же особо любит в женщинах две заманчивости: чтобы голос был легким и негромким, почти шепчущим, но без писка, и — живот. Не грудь, не бедра, от чего обычно сходит с ума заурядное мужское население, не пухлые губы — именно живот почему-то волнует Артема больше всего. Точно говоря, не живот, а та часть, не имеющая единого названия, что начинается от изгибов талии и сходится центром красоты во впадинке пупка. Поэтому легко представить, что с ним произошло, когда настала мода топиков, коротких всех этих маечек, обнаживших любимые Артемом поверхности. Козырева же, напротив, это раздражало, и он иногда ворчал, косясь на окружающее безобразие: «Чего уж стесняться, разделись бы совсем!»

И вот, недовольный скудным ассортиментом подобравшегося в автобусе женского пола, Артем сидел на ящике у двери и рассматривал проходящих девушек, мечтая: вдруг эта свернет? Или эта? Или вон та?

Поэтому проморгал момент: живот явился на уровне глаз, прямо перед ним — и ударил, если можно так выразиться, Артема в самое сердце. Он был идеален по всем параметрам: золотист, нежен, ровен, а талия при этом на-

столько тонкая, что, кажется, одной ладонью обхватить можно.

Артем посмотрел выше. Над полосатой (розово-белой) маечкой светилось лицо, которое хотелось назвать личиком: глаза большие, синие, носик маленький, прямой, губы — ну, какие губы, как сказать про губы, когда они не большие и не маленькие, не пухлые и не тонкие, а просто нормальные губы без лишних изгибов, но что-то делает их очень красивыми. Только после этого Артем обратил внимание на то, с чего другие обычно начинают осмотр, — на ноги, которые в значительной мере были открыты джинсовой юбкой. Ноги оказались правильные — не в смысле какой-то геометрической прямизны, а в смысле резонанса в душе Артема. Аккуратные ноги, не тонкие и не толстые, не длинные и не короткие. Оптимальные, можно сказать. После этого Артем вернулся взглядом вверх и, скользнув по груди (тут он был не требователен — лишь бы имелась), уставился на девушкино лицо.

Девушка смотрела на Артема строго и вопрошающе. Он понял, что проморгал не только ее появление, но и вопрос.

— Сколько до Сарайска? — повторила девушка.

— Для вас — ... — Артем назвал цену.

— При чем тут для нас? — Девушка сделала вид, что не понимает шутки. — И я не про это, а — ехать сколько?

— При попутном ветре восемнадцать часов, при встречном десять и еще восемь. И даже меньше.

Молодой человек, спутник девушки, которого Артем тоже видел, но не рассматривал, решил, что пора показать себя мужчиной.

— Вас серьезно спрашивают! — строго сказал он.

— А я серьезно и отвечаю. Семнадцать с половиной часов, если точно. Коротко, как наша молодость.

— Ничего себе, — сказала девушка.

— А я тебе говорил, — сказал юноша.

— Я думала, быстрее. На поезде шестнадцать часов — то же на то же почти получается.

— Поехали на поезде завтра... Или послезавтра.

— Мне надо завтра уже там быть, я же сказала!

— Почему?

— Потому! И где ты денег возьмешь, интересно?

— Найду, только не сразу.

— А мне надо сразу!

Тут затронута была тема интимная, поэтому они отошли в сторонку и начали совещаться. Артем всей душой желал, чтобы они решили ехать автобусом. Спутник девушки не казался серьезным соперником — совсем молодой, лет восемнадцати, драные кроссовки, драные джинсы, линяя драная футболка — то ли по бедности, то ли это мода, сейчас не разберешь, — через плечо холщовая сумка, тоже драная, однако новая, драли ее уже при производстве — значит, все-таки мода. Ноги и руки длинные, лицо розоватое, в веснушках, волосы соломенные, ресницы пушистые, губы развесистые — в общем, теленок теленком. Вот полез в сумку, достал деньги, считает. И девушка роется в своей, тоже тряпичной, сумке.

Тупой же ты, теленок, думал Артем о юноше. Если девушка говорит, что ей где-то надо быть завтра, не надо спрашивать, почему. Возможно, она обещала маме. Но не исключено, что девушка просто забыла покормить любимого котенка. Или по телевизору завтра вечером идет передача, которую она обязательно должна посмотреть. Или даже вообще ни почему, решила, что надо быть завтра — и все тут. Очень уважительная причина, если подумать. При этом девушка гордая: сделала сначала вид, что ее не цена билета интересует, а время в пути.

Конечно, не москвичи они, а из Сарайска. Дело не во

внешних признаках: в Сарайске нет никакого особенного выговора и одеваются точно так же, как в Москве, особенно молодежь, особенно продвинутая, но москвичи, если куда-то соберутся ехать, стараются это делать с максимальными удобствами, они берут с собой деньги в дорогу, вещи. Нет, так не уезжают, так возвращаются. Скорее всего, эти молодые люди решили съездить в столицу — проветриться, прогуляться. Не рассчитали с деньгами, отсюда и проблемы.

Они вернулись.

— Два билета, — сказала девушка, протягивая кипу мятых десяток с редкими сотнями.

— Садитесь, в салоне обилечу, — радушно пригласил Артем.

— Почему не сейчас? — подозрительно спросил юноша.

— Да ладно тебе. Иди лучше, возьми что-нибудь, — велела ему девушка. — Какие-нибудь йогурты, что ли. Автобус ровно в шесть отправляется?

— Ровно в шесть! — доложил Артем, который любил в начале знакомства показывать девушкам, что он послушен и исполнителен.

— Смотри, не опоздай!

Теленок торопливо пошел к вокзалу, девушка поднялась по ступенькам. Артем повел головой, как бы разминая затекшую шею, и увидел то, что хотел.

Возвращая шею на место, чуть не сказал вслух: «Ого!»

## Москва, Павелецкий вокзал

К автобусу торопливо шла женщина, совсем автобусу не подходящая. Нет, в «мерседесах» она может ездить, и даже за рулем, но не в таких, не общего пользования, а в роскошных, черных и длинных. Белые тоже допускаются, главное — чтобы все блестело и сверкало. Женщина была в бирюзовом костюме спортивного типа, облегающем — и было что облегать, ни одного местечка не отыскалось бы, которое не хотелось бы облечь. Она напомнила Артему Светку, только та была чрезмерна, многое в ней выходило за пределы гармонического контура, а у этой все совпадало с идеальными формами, задуманными природой.

Артем оглянулся на Козырева: видит ли? Тот видел. Но лицо осталось спокойным и равнодушным. Артем улыбнулся и встал навстречу бирюзовой красавице.

— В багажном отсеке места есть? — спросила она, не поздоровавшись. Спросила так, будто автобус подали только для ее необходимости.

— Сколько угодно! — обрадовал ее Артем.

Женщина повернулась и крикнула кому-то:

— Подгоняй!

Подъехала «газель», шофер выскочил и стал помогать бирюзовой женщине вытаскивать из кузова тюки и переносить их в багажные ячейки автобуса. Тюков было много. И шофер, и женщина трудились в поте лица. Козырев вышел посмотреть. Артем щелкнул языком, глазами указывая на женщину, но Козырев не отреагировал. Он прислонился к автобусу, закурил.

— Помогли бы, мужики! — обратилась женщина к Артему и Козыреву с грубоватой, но сердечной простотой — так, наверное, она в процессе своего бизнеса общается с капризными грузчиками, складскими рабочими и прочим низовым звеном, с кем не хочется, да надо иметь дело. Козырев остался стоять, лишь стряхнул пепел на асфальт, а Артем медленно подошел, медленно взял один тюк, отнес к автобусу, запихнул — и, пользуясь близостью, осмотрел бирюзовую красавицу во всех деталях.

То никого не было, а то сразу две, думал он. И кого теперь выбрать? Случалось, конечно, он умудрялся подцепить двух одновременно, у одной выпросив номер телефона, а с другой договорившись о встрече сразу же по приезде, но это когда автобус битком и объекты сидят в разных концах. А сейчас пассажиров мало, все на виду. Да еще, не дай бог, бирюзовая сядет рядом с той малышкой...

Наконец мешки были переташены. И Артем, и Козырев поняли: женщина занимается доставкой товара из Москвы в Сарайск и прекрасно знает, что отправлять отдельным багажом или посылками намного дороже, а так вот, в автобусе, хоть и труднее самой ехать, но товар переправляется даром. Таковы условия автобусных перевозок в их компании: за багаж пассажиры не платят, считается, что это входит в стоимость билета. Но ведь и не бывает обычно много багажа. А женщина вот додумалась, использовала прореху. Странно, что они раньше не видели бизнес-краса-

вицу — может, недавно занялась переправкой товаров? Да нет, судя по ухваткам, бизнесменка опытная. Значит, просто не везло — не один их автобус ходит этим маршрутом.

Бирюзовая, расплатившись с шофером и отпустив «газель», вошла в автобус.

Потом прибежал рыжий с йогуртами.

Козырев, глянув на часы, пошел садиться за руль.

Артем потянулся. Сейчас вздремнет от души столько, сколько позволит Козырев. Но не разоспаться бы до темноты, когда все заклюют носом и ни у кого не будет охоты общаться.

Он взял мегафон и прокричал неувлекательным голосом:

— Москва—Сарайск, быстро, комфортно! Авиационные кресла, биотуалет, ужин в пути, несравненная цена, самый удобный и самый дешевый транспорт! Отправление через пять минут, автобус находится у центрального выхода вокзала, он же центральный вход! Отправление через пять минут, осталось несколько свободных мест! Отправление через пять минут!

После этого Артем взял свой ящик-сиденье, чтобы внести в салон — и тут подошли пятеро мужчин.

## Москва, Павелецкий вокзал

Обычные мужики, работяги. Скорее всего, земляки-гастарбайтеры. На всех дешевенькие кроссовки, джинсы, футболки, на головах бейсболки и легкие кепочки. В руках у двоих литровые бутылки с пивом.

— В салоне во время рейса пить запрещается! — предупредил Артем.

— А что тут пить? На пятерых? — удивился молодой мужчина, примерно ровесник Артема, такой же высокий, только потоньше, пожиже, со светлыми нагловатыми глазами.

Второй был с интеллигентным и печальным, как у всех интеллигентов, занимающихся не своим делом, лицом (Артема знал одного кандидата биологических наук, работавшего в Москве на мусороуборочной машине — обеспеченный теперь, кстати, человек): он, входя в автобус, оглянулся на третьего, словно в чем-то сомневался.

Третий негромко сказал:

— Лезь, лезь, другого не будет!

Мужчина этот был крепок, но легок, лицо загорелое, глаза светлые, похож на смелого и остроумного ковбоя из

американских фильмов, при этом ему уже около пятидесяти. Артем хотел бы сохраниться таким в его годы.

Четвертый был без кепки, лысоват и добродушно усмешлив.

— Люкс! — сказал он, входя.

Ну и жизнь у человека, если ему междугородный автобус люксом кажется.

А пятым был совсем молодой парень, лет двадцати с чем-то, наверное, подручный этих работяг, поэтому и встает в очереди привычно последним — за раздачей ли зарплаты, за вечерним ли стаканом водки.

— Все? — спросил Козырев.

— Все, — ответил Артем, входя.

Дверь плавно закрылась, автобус тронулся.

## Павелецкий вокзал — Садовое кольцо

Артем приступил к сбору денег за проезд и раздаче билетов.

Это можно было делать и при входе, но Артем соблюдал свои интересы: при входе глянул на человека (особенно на женщину), взял деньги, отдал билет — и нет его, ушел человек в глубину автобуса, и никакого повода подойти и рассмотреть получше. А тут, пока идешь в проходе, можешь издали оценить всех, кто интересуется, а потом и вблизи, уже набело.

Помимо пятерых рабочих, сгруппировавшихся сзади, в автобусе было шестнадцать человек.

Бирюзовая красавица села впереди, слева — по ходу автобуса, у окна. Это Артема огорчило. Одна из его подруг, психолог и специалист по межличностным отношениям, объяснила однажды, что характер человека проявляется во всем. Например, в кресле у прохода сядет человек осторожный, склонный к мнительности, либо не очень здоровый, он всегда вольно или невольно заботится о том, чтобы в случае чего свободно выйти. Садятся там и люди общительные, которым приятнее чувствовать людей и справа, и слева. К

окнам же стремятся люди более замкнутые, эгоистичные (и таких, видимо, большинство, сделал вывод Артем, потому что все спешат устроиться у окон), но тут надо смотреть, один человек или с кем-то. Если он (или она) с кем-то, значит, спутница или спутник ему изрядно надоели. Отвернешься, уйдешь в себя, и хоть на время один. Но если он или она в одиночестве — это уже особый случай. Желание сесть к окну естественно, объясняла умная женщина, любой человек, если его посадить на пустую длинную скамью, обязательно прибьется к стенке, чтобы иметь защиту хотя бы с одной стороны. Вся соль в том, сядет он к окну левым боком или правым. Если правым, то сердце его, оставшееся открытым, готово к общению, если левым, человек закрывает сердце, не хочет общаться.

Именно так, сердцем к окну сидела бирюзовая красавица, но Артем не стал слишком расстраиваться. Может, бирюзовая просто села, куда пришлось, не зная никаких психологических законов. И умная психологиня говорила то же самое: всегда надо иметь в виду, что кто-то может сесть не на свое место случайно — или элементарно потому, что нет других свободных мест.

— Мадам! — встал над красавицей Артем.

Мадам хмыкнула, но при этом все-таки невольно окинула взглядом стройного молодого человека — чтобы посмотреть, кто это так выражается. Того Артему и надо было. Получив деньги, он элегантно движением руки выдал ей билет и пожелал:

— Счастливого пути!

— Спасибо, — отозвалась бирюзовая, и на душе Артема потеплело.

Далее сидели две тетеньки, как называет Артем женщин подобного рода; таких тетенок очень удобно рисовать детям: прямоугольник, две палочки внизу, две палочки по бокам,

кружок сверху — вот и получилось. Они еле помещались плечами и бедрами, сидя рядом, — и ведь можно же отсесть, места имеются, но тут семейная привычка держаться друг друга, да и не отпустит старшая, которая, судя по всему, мать, младшую, которая наверняка дочь — очень уж похожи. Мать хмуро обмахивается газеткой, дочь во все свои чёрно́ накрашенные глаза откровенно пялится на Артема, но тут же, бросив взгляд на мать, поникает головой и что-то рассматривает под ногами. Строга у нее матушка, наверное, очень строга. За дешевым барахлишком в Москву приезжали, на оптовые рынки, предположил Артем. Билеты на автобус легко окупятся: приличные туфли за триста, а не за четыреста пятьдесят, платье за четыреста, а не за семьсот, куртка теплая на зиму — восемьсот, а не полторы тысячи, на круг наберется тысячи две выигрыша, это уже деньги. Нет, сам бы он, конечно, повесился, если бы пришлось жить под таким гнетом учета, но людей, озабоченных экономией, понимает: жить надо как-то.

Он обилетил тетенок так же вежливо, как и бирюзовую красавицу. Это людям нравится, они, возможно, захотят из-за этого еще раз прокатиться в автобусе — выгода. Те, к кому он только что обращался с подчеркнутой культурностью, полагали, что это лишь для них, а теперь услышат, что и всем такая честь, начнут слегка ревновать — опять выгода. И вообще вежливым и культурным быть намного выгоднее, давно понял Артем, и удивительно, что люди этого не понимают.

Артем обратился налево от себя, где расположился человек в камуфляжной одежде — то ли охотник, то ли рыбак, то ли дачник. При нем всегда рюкзак, а на багажной полке — что-то длинное в мешковатом брезентовом чехле: может, удочки, а может, и ружье. А может, и просто-напросто лопата. Артем знает этого человека: он однажды остановил-

ся у автобуса и стал спрашивать, каким маршрутом тот следует и проезжает ли, например, через село Шумейки? Узнав, что проезжает и оказывается там через три с небольшим часа (учитывая московские пробки), удивился и обрадовался: на любом виде транспорта туда дольше — электрички поблизости нет, нужно сходить на станции и дожидаться местного автобуса, частника нанимать из конца в конец — слишком дорого, а своей машины у него, быть может, нет. Впрочем, не факт: Артем как-то слышал его разговор по телефону, и рыбак-охотник говорил весьма солидно, строго, добавив в конце: «Скажи — Мельчук распорядился!» Нет, все-таки имеются, наверное, и личная машина, и служебная, но хочется иногда начальственному человеку прокатиться в автобусе, простонародно, побродить по лесам и озерам в окрестностях этих самых Шумеек, подумать о жизни. Вряд ли он охотится или рыбачит, потому что, приноровившись к расписанию, он не раз поджидал обратный автобус с тем же полупустым рюкзаком без признаков трофеев. Его охотно подсаживали: свой уже человек и платит вне билета, голой наличностью, как и сейчас заплатил, улыбнувшись Артему.

— Счастливой охоты! — пожелал ему Артем.

— И тебе того же! — пожелал Мельчук Артему с намеком — он знал о его пристрастиях.

За Мельчуком сидела бледная интеллигентная пара.

Мужчина смотрел на Артема довольно приветливо, спокойно, а женщина — со значением. Такие женщины вообще никогда просто не смотрят. Предупреждают, обещают, предостерегают, заранее осаживают, а главное — не позволяют отнестись к себе фамильярно. Но Артем и не собирался фамильярничать. Хотя все-таки слегка наказал бледную женщину — подошел без улыбки, сухо, деловито:

— За билеты, пожалуйста. Спасибо.

И рада бы бледная женщина придрасться — да не к чему. Поэтому она отвернулась к окну. Почти демонстративно. Если люди так реагируют, когда им еще ничего не делаешь, что же с ними бывает, когда что-то им сделать? — размышлял Артем.

Девушка с прекрасным животом и со своим соломенным кавалером сидела почти в конце, это Артему нравилось. Не сразу подойти, а — приближаться, подкрадываться. Тешить себя надеждой.

А пока — очередной пассажир, тоже старый знакомец, мужчина лет сорока: он раз в два-три месяца ездит в Сарайск — наверное, на побывку. Мужчина очень скучный, серый, неинтересный. Если ему позвонят, отвечает: «Привет. Еду. Нормально».

И все, и у спрашивающего иссякают вопросы. А сам этот серый человек никогда никому не звонит — наверное, никто ему не интересен, ни у кого он не хочет спросить, как жизнь, как здоровье, как дела. Разве что подъезжая, вытащит свой допотопный лапоть-телефон и буркнет: «Это я. Скоро буду. Пока».

Серый человек скучно достал свои скучные деньги, скучно получил билет, потом широко зевнул, не прикрывая рта и показывая мелкие желтые зубы, и повернулся к окну, с равнодушием сонной кошки глядя на людей и дома. Да и то у кошки, наблюдал Артем, бывает — вспыхивают глаза, она во что-то внимательно и загадочно всматривается. Охотница от природы. Были у одной девушки такие вот кошачьи глаза — спокойные и жестокие. Большая оказалась любительница полупридушить и позабавляться, да не на того напала, сама оказалась полупридушенной и просила Артема пощадить. Не пощадил, но и не съел, ушел.

После этого Артем с почтением получил деньги от старухи деревенского вида. Он вообще уважал старух — самый

безобидный, терпеливый и незлобивый народ, неприятностей от них никогда не бывает. Год назад одной такой же, как вот эта, — небольшой, скромной, тихой — стало в пути плохо, Артем принес ей из шоферской аптечки валидол, дал воды, предложил остановить автобус, чтобы старушка вышла и проветрилась, а она, часто и мелко дыша, отвечала: «Люdiam ехать надо». Потом ей стало совсем худо, Артем сказал: «Как хотите, бабушка, сейчас приедем в Павловск и отвезем вас в больницу», — но старушка уперлась: «До дома всего ничего, чего я буду в чужом городе делать? Мне только до дома дотерпеть! Я лучше посплю!» И закрыла глаза, и сидела так два часа до самого приезда, а как приехали, выяснилось: не дотерпела, все-таки умерла. Но при этом, поразился Артем, она, похоже, даже мертвая заботилась, как бы не упасть, не напугать и не беспокоить людей.

А вот детей в автобусе нет, и это хорошо. Артем детей, увы, не любит. Вечно шум от них, капризы, плач. Да и женщины с детьми, даже если красивые, — бесполезный вариант, с ними никогда ничего не получалось.

Небольшое приключение: молодой человек начал шарить по карманам и сделал испуганное лицо:

— Вот черт...

За эти секунды Артем успел изучить его. Лет то ли двадцать пять, то ли тридцать, выдавшие виды джинсы, в которых он будто родился, старые, но крепкие кроссовки, рубашка-безрукавка с карманами — и никаких при себе вещей. Таких раньше называли хиппи и панками, Артем же знал более простое и точное слово — балбес. Ездит такой балбес по городам и весям, временно где-то работает, обзаводится иногда временными женщинами, ни кола у него, ни двора, перекаати-поле, и вот уже ему и тридцать, и сорок, а он все мотается туда-сюда, и чего хочет от жизни — непонятно.

Придется с ним расстаться, потому что денег у него, похоже, нет.

— Украли? — весело спросил Артем.

— Похоже, да...

Актер из балбеса был никудышный.

— Вообще-то трудно украсть, чего нет, — заметил Артем.

— Ладно, ты не гони, я говорю... — неправдоподобно завелся балбес, но Артем пресек:

— По-любому, нас это не касается. Мы даром возить не можем. Прошу выйти.

И он повернулся, чтобы крикнуть Козыреву, чтобы тот остановил, но балбес громко зашептал:

— Слушай, будь человеком! Меня в Сарайске встречают, клянусь!

— Встречают?

— Ну! Брат встречает.

— А ты позвони ему. Или телефон тоже украли?

— Всё украли...

— А ты с моего позвони! — протянул Артем трубку балбесу.

Тот растерялся, но тут же сообразил:

— Я наизусть его номера не помню.

Похоже на правду: Артем тоже мало чьи номера помнит наизусть. За исключением некоторых домашних, простых.

— А чей-нибудь домашний? Родителей?

— Нет у меня родителей, — поник головой балбес, делая себя сиротой. Артем чуял, что врет.

Артему бы следователем быть — расколочил балбеса в две минуты, можно с вышвыривать из автобуса. Но ведь сцена развернулась на глазах у синеглазой девушки, показав Артема в очень выгодном свете. И если он сейчас проявит благо-

родство, девушку это в определенном смысле добьет: вряд ли она часто встречается с подобной добротой.

— Ладно, — сказал Артем. — Будем надеяться, что брат не преминет опоздать. — (Он иногда вставлял в речь интересные слова, не вполне понимая, что они значат.)

Ему так понравился собственный поступок, что хотелось к нему еще что-то добавить, и он спросил:

— А что ты жрать-то будешь все это время, если денег нет?

— Да как-нибудь, — махнул рукой балбес.

Эти балбесы, кочевники и странники в самом деле народ выносливый, ко всему привычный, могут, как верблюды, сутками не есть и не пить.

Наконец настала очередь девушки и теленка. Она, к сожалению, тоже сидела левым боком к окну, то есть сердцем наружу от спутника, что утешало, но и от Артема, что огорчало. Артем, взяв деньги у соломенного, аккуратно пересчитывал их, умудряясь при этом видеть колени и прекрасный живот (зрение его умело одновременно фокусироваться и на ближних, и на дальних объектах не хуже искусной фотокамеры).

Девушка за все это время ни разу не взглянула на него. Это могло значить, что она заинтересовалась Артемом и не хочет обнаружить своего интереса. Это могло также значить, что она им не интересуется и демонстрирует свой неинтерес. И третий вариант — это могло ничего не значить.

Остались, кроме работяг, трое: девушка с книжкой, усевшийся боком, с ногами, облом с наглым взглядом и паренек с гитарой в матерчатом чехле — неприметный, можно сказать, никакой. Девушка худенькая, круглоглазая, как Чебурашка, и почти такая же ушастая, хрустит чипсами, доставая их из пакета, и не отрывает глаз от страниц. Студентка, должно быть. Или даже вчерашняя школьница — ездил в Моск-

ву поступать и не поступила. Такие слишком скромные и принципиальные девушки сроду никуда не поступают с первого раза, вечно их обижают, обходят, но они упорно стремятся вперед и в итоге все-таки добиваются своего. А если и не добиваются, не унывают. «Романтички» — называет мысленно Артем таких девушек.

Романтичная Чебурашка сунула Артему деньги, продолжая читать, — не из-за неуважения к нему, а просто увлеклась. Артем не обиделся.

— Ноги опустим, — предложил он облomu.

— Они у меня чище, чем твой автобус! — лениво ответил тот — видимо, заготовленной фразой. Есть люди, которые всегда и во всем ищут конфликт, — облом был, как сразу понял Артем, из таких. Они курят чуть ли не нарочно под табличками о запрещении курить, выходят через дверь, где написано «Вход», а входят через ту, где написано «Выход», они в любой магазин впираются именно тогда, когда там повешена табличка «Перерыв», и громко возмущаются, они на любой работе недовольны условиями и оплатой, короче — вся жизнь кажется им покушением на их свободу, всякая вещь и всякий человек им видятся враждебными, норовят задеть, испортить настроение. И, чтобы не дожидаться от вещей и людей подлости слишком долго, они задевают и задирают сами.

— Чище, не чище, а у нас спальных мест нет, только сидячие, — сказал Артем.

— Я и сижу, — прохладно возразил облом. — Возьми деньги и успокойся.

Деньги Артем взял, но не успокоился.

— Может, за два места сразу заплатим? — предложил он.

— Слушай, ты чего? Автобус пустой!

— А если пустой, тут и бегать можно? — задал вопрос Артем.

— Точно! — Собеседник обрадовался идее. — Вот посижу — и побегаяю. Нельзя, что ли? Где записано?

Диалог зашел в тупик, но тут один из работяг — крепкий, с приятным лицом, которого Артем определил как бригадира, веско сказал:

— Тебе по-человечески говорят, сядь нормально!

— Жену учи! — огрызнулся облом.

Бригадир заиграл скулами и начал было вставать, но сидевший рядом лысый со странной улыбкой тронул его за плечо. Бригадир что-то буркнул и остался на месте.

Какое-то нехорошее предчувствие шевельнулось в душе Артема. Очень уж злыми — привычно злыми — стали глаза бригадира, очень уж презрительно смотрел он на облома: как на таракана, которого собираются раздавить. Хорошо, что у работяг ничего нет, кроме пива. Лишь бы на остановке не побежали за водкой. Такое бывало уже. Облом, кстати, тоже прихлебывал из пивной бутылки, а из сумки, стоявшей на полу, высовывалось еще несколько горлышек...

Паренек с гитарой то держал приготовленные деньги в руке и смотрел на Артема, то отворачивался, делая вид, что ему все равно. Знает Артем таких: прежде, чем сказать «здравствуйте», подумает, каким из возможных ста способов это сделать. Сомнительный человек — в том смысле, что много сомневается и любое действие, даже вот деньги отдать и билет получить, для него становится событием.

Артем облегчил его участь, обошелся с ним просто, вежливо. А то будет всю дорогу думать, чем он не понравился водителю-билетеру.

За работяг заплатил один, который интеллигентного вида. Видимо, он у них общественный кассир.

Артем пошел к водительской кабине.

— Что там? — спросил Козырев.

— Все нормально.

— Вались спать. Я за тебя всю дорогу ехать не буду.

Артем полез на лежак, удивляясь, как охота дяде говорить то, что и так ясно.

Он улегся на мягкий матрац, потянулся. Закрыв глаза, увидел воображением бирюзовую красавицу и девушку с прекрасным животом. Обе хороши, даже не знаешь, с какой начать. Эти мысли вызвали в нем прилив крови к определенному месту, Артем подумал о нем с гордостью и любовью, но это могло помешать заснуть, поэтому он постарался переключиться на что-нибудь другое. Обычно помогало воспоминание о том, как он, катаясь с пацанами на льдинах, на весеннем пруду, что был неподалеку от их окраинных новостроек, упал в воду. Солнце в тот день грело сильно, он даже был без шапки, да еще упарился, толкая в дно шестом, плюхнулся разгоряченный, дыхание перехватило от холода, он хлебнул воды... Если бы не товарищи, мог бы утонуть. Умереть навсегда. А я вот живу, уже задремывая, подумал Артем, и от этой мысли опять прилила кровь, но не настойчиво, а приятно — не мешая засыпать.

## Москва, Нижегородская улица

Козырев любил свой автобус больше, чем многих людей (и никому другому, кроме Артема, не позволял на нем ездить). С людьми сплошные противоречия: ты ему одно — он тебе другое, ты нажал — он упирается, ты, наоборот, отступил — а он на тебя лезет. Скажешь — не слушают, попросишь — не дают, а главное — живут все как-то вперебой. То есть — я быстрее, другие медленнее. Или я спокойнее — ты нервно. А третий суматошно, а четвертый как попало, а пятый с переменной скоростью, вот и сшибаются то и дело, и аварий гораздо больше, чем на обычной автомобильной дороге. Машина же послушна, отзывчива и живет с тобой в согласии, если вести себя правильно. Нажал на газ — прибавила скорость, нажал на тормоз — остановилась, переключил передачу — работает в другом режиме. При этом, конечно, характер у любого автомобиля есть. Надо и под него приспособиться и, не давая баловать, под себя приспособить. Будешь машине потакать, она станет капризничать, но если ее насиловать, она так может взбрыкнуть, что мало не покажется — и себя убьет, и тебя. По одной только прихоти, по злорадству. Поэтому Козырев ухаживал за своей «мерседес-

кой», называя ее в женском роде и не подозревая, что Мерседес — именно женское имя, перед рейсом нежно, как за невестой, но в рейсе обходился с нею строго, как с женой.

Ах, жена, жена... Хорошая, добрая женщина. Виноват перед нею Козырев, но как-то безвинно виноват и даже приятно виноват. Нет, в самом деле, ему даже иногда хотелось перед нею похвастаться, что у него почти год была молодая любовница, — чтобы жена порадовалась за него и погордилась им. Однажды по пьяному делу — еле удержался.

Светка вспоминалась все реже, чему Козырев был очень рад. Встречались похожие на нее, но не тревожили. А сегодняшняя бизнесменка — зацепила. Что-то в ее глазах совсем Светкино. Значит — не отпустило еще.

Но ничего не будет. Не хочется уже. Не надо этого. Пусть Артем занимается.

Да еще села неудачно: панорамное зеркало, предназначенное для обзора салона, показывало ее близко, увеличенно. Будто она рядом. Хочешь не хочешь, а иногда посмотришь. Отвлекает.

И Козырев, дотянувшись рукой, повернул зеркало. Нечего сегодня в салоне рассматривать: пьяных нет, подозрительных нет. Обычный будет рейс, как большинство предыдущих — чего Козырев себе всегда желал. Однажды, когда еще их фирма была наполовину государственной и, то есть, доступной для прессы, явилась журналистка с целью написать очерк о благородном и тяжелом труде водителей междугородных автобусов. Выспрашивала, какие бывали интересные случаи.

— Да никаких, — ответил Козырев.

— Совсем?

— А вам что имеется в виду? — поинтересовался он.

— Ну... Может, бандиты напали? Или кто-то рожал прямо в салоне? Или кто-то познакомился, а потом была

свадьба, и они, например, пришли к вам с благодарностью, потому что в вашем автобусе познакомились. Не было такого?

— К счастью, девушка, не было.

Журналистка была разочарована. Что за счастье такое, если ничего не происходит? А Козырев давно уже понял: происходить все должно только в личной жизни. И, желательно, одно лишь хорошее. А на работе — нет уж, ничего не надо, кроме самой работы.

На самом деле, конечно, не все так просто. Он не смотрит тупо на дорогу, он все время думает, иногда что-нибудь очень интересное, правда, не всегда отдает себе отчет в своих мыслях, да это и не нужно. Едешь, особенно в хорошую погоду, смотришь на леса, поля, проезжаешь села и города — и на душе спокойно, равновесно.

## Москва, Нижегородская улица

А пассажиры постепенно впадали в обычное дорожное оцепенение: медленно текло время, менялись за окном городские пейзажи, клонило в дрему. Многие чувствовали что-то вроде умиротворения. Дорога ведь чем хороша? — она освобождает тебя от насущных и привычных забот. Обычно ходишь в магазины, на работу, да надо такого-то числа платить за квартиру и телефон, да навестить больного родственника, да починить машину, сходить на день рождения, срочно кому-то позвонить, что-то написать, с кем-то встретиться — много у человека дел. А в дороге все отлетает, отпадает в прошлое или откладывается на будущее. На все звонки отвечаешь почти злорадно: «А меня нет, я в дороге!» Тревожные мысли о не сделанных делах превращаются в спокойную констатацию: да, не сделаны, но сейчас-то все равно сделать нельзя.

Поэтому в дороге, замечено, люди, как правило, добрее. Особенно в самолете, пассажиры которого становятся братством, рискующим жизнью. В поезде, если не плацкарта, разделяют отсеки купе, но маленькие братства, купейные, тоже часто образуются. Дружат же люди семьями, почему не дружить дорогой?

Девушка с прекрасным животом откинулась в кресле, прикрыла глаза. Старушка клевала носом. Мягким, рассеянным стал взгляд человека в камуфляже... Впрочем, зачем называть безымянно, пора нам с пассажирами познакомиться — это необходимо ввиду будущих событий, тех долгих и, скажем прямо, страшных часов, которые нам придется с ними провести.

Начнем в том же порядке, что и Артем.

Бирюзовую красавицу зовут Елена, выглядит она на двадцать пять — двадцать семь, на самом деле ей тридцать четыре. Бывший преподаватель музыки (фортепиано), бывшая жена красивого, талантливого во всем и кромешно при этом легкомысленного мужа, бывшая нежная и ласковая дочь добрых родителей (папа умер, а мама теперь больна), бывшая любительница прихотливых отношений с мужчинами — с размышлениями о том, что он сказал, как сказал, почему сказал, и что мне теперь говорить, как говорить, бывшая приверженица книг на эзотерические темы, мать десятилетней дочери — это уж не бывшая, это самое настоящее, что у нее есть. Лишившись поддержки, Елена сперва растерялась, а потом взяла себя в руки. Набрала кредитов, купила квартирку в центре, на первом этаже, и устроила там детский магазин со входом с улицы. Времена быстро менялись, торговые площади дорожали, к Елене то и дело подкатывали с предложениями продать помещение, она отказывалась. По совпадению, полуслепая и полуглухая старуха с верхнего этажа два раза подряд заливала ее магазин горячей водой — ночью, когда последствия успевали стать катастрофическими. Елена затратилась, сделала специальный потолок с водоотводами, но много товара пропало, приходится экономить на всем, вот она и ездит сама, старым челночным способом, за мягкими игрушками. Живет с дочкой

одна. Мысль о том, что в квартире может появиться чужой мужчина, ей неприятна. Елена вообще после развода поняла, что прекрасно может обходиться без мужчины вообще. При этом одевается ярко, смело, соблазнительно. А пусть помучаются.

Те, кого Артем обозначил тетеньками: Любовь Яковлевна Белозерская и дочь ее Арина. Любовь Яковлевна работает в маленьком кафе — и готовит, и торгует, и посуду моет, и полы убирает, когда увольняется из-за низкой оплаты очередная уборщица. Хозяин ценит ее за безотказность, сама себя она называет в укор дочери и прочему тунеядствующему человечеству «ломовой лошадей». Они ездили в Москву не за барахлишком, ошибся Артем, а делать Арине аборт. Можно бы и в Сарайске, но, во-первых, Любовь Яковлевна боялась огласки, во-вторых, у Арины плохая сворачиваемость (свертываемость?) крови, а в Москве двоюродная сестра гинеколог, сам бог велел подстраховаться. Но счет Любовь Яковлевна виновнику аборта выставит, он его оплатит, зараза, только бы понять, кто он. Дочь молчит, упорствует.

Арине нехорошо. У нее до сих пор слегка кружится голова от потери крови. Время от времени она закрывает глаза и представляет, как родила бы ребенка. Муки те же, а результат другой. Она хотела его оставить, но понимала — против матери не попрешь, как она скажет, так и будет. Уехай в другие края — найдет, кричи хоть неделю подряд, что не хочешь аборта, — не послушает. Строгая она. Верующая — но как-то по-своему. В церковь ходит раз в год, постов не соблюдает, а иконами обвесила весь дом, молится на них, а когда выпьет, может и на колени встать. Скажи при ней что-нибудь откровенное о религии — может и в морду дать. Она и раньше верила, но не в бога, а в какие-то другие вещи, однако верила твердо, убежденно. Например, когда

Арина была маленькой и обнаружилось, что у нее неправильное сращение языка, от этого дикция будет невнятной, нужно сделать операцию, Любовь Яковлевна отказалась наотрез: «Обойдетесь, она вам не собачка для опытов!» Кто-то ей сказал, что нельзя позволять детям во рту операции делать, потому что при операциях врачи что-то там высасывают шприцами и используют для науки. Не для того она дочь родила, чтобы ее наука использовала!

Поэтому Арина говорит не очень ясно, а когда волнуется — и совсем неясно. Ей это не мешает, Любви Яковлевне, понимающей ее с полужука, — тоже, а некоторые другие не сразу вникают. Но со временем, если привыкнуть, тоже никаких трудностей нет. Арина вообще девушка очень хорошая, добрая, неглупая, в нее даже был влюблен в восьмом классе лучший парень их улицы, жалко — разбился на мотоцикле.

Человек в камуфляже, Илья Сергеевич Мельчук, похожий на охотника или рыболова, на самом деле не охотник и не рыболов, просто было бы странно, если б он в обычной одежде бродил по лесам и оврагам. Ему почти шестьдесят, за плечами — тридцать пять лет административной работы, тридцать четыре года совместной жизни с одной и той же супругой, два взрослых сына. И полное к настоящему времени благополучие с постепенным предуготовлением к пенсии. Уважение жены, подчиненных, начальства, соседей. Хорошая квартира, неплохая машина, живи и радуйся. Но однажды Мельчук ехал в поезде из командировки, и в купе с ним оказались охотники. Они умеренно, аппетитно выпивали и закусывали, рассказывали о своих приключениях и подвигах. Мельчук никогда не испытывал интереса к охоте и рыбалке — уже потому, что это связано со множеством неудобств: питание не вовремя, ночевки где

попало, сырость, вода из речки... И все ради того, чтобы лишить жизни какую-нибудь живность. Но, странное дело, охотники эти частенько ему вспоминались, и он в один прекрасный день задал себе вопрос: а почему? Почему он запретил себе даже и думать о том, чтобы поохотиться? Ведь это может оказаться очень занятным делом. Его уже лет десять ничто всерьез не волнует, не беспокоит, не интересует. А тут одна мысль о возможном приобретении необычного занятия взбудоражила, навела на душу тревожный неуют. И пусть — все лучше равномерного житья, которое уже прискучило. И, движимый этой странной идеей, он вступил в общество охотников, получил право на приобретение ружья, купил его — замечательное, очень дорогое, красивое. Карабин «Сайга». При этом был почти уверен, что не будет из него никого убивать.

Жена его не понимала. Сыновья тоже удивлялись. Мельчук не вдавался в объяснения. Он порасспрашивал сведущих продавцов и покупателей в магазине «Охота», где самые глухие места — чтобы не очень далеко от Москвы. Они ответили: есть такие места, например, у Шумеек, но там почти ничего не водится, да и сезоны сейчас такие короткие, что охота превратилась в издевательство: только приедешь, расположишься, войдешь в настроение, а уже пора назад — сезон кончился. На Урал надо ехать или в Сибирь, там вольготней. И сезоны длиннее, и пренебречь ими можно при желании.

Мельчук повадился ездить в Шумейки. Ночевал у одной бабушки в деревенской избе, что отдельно нравилось, с утра бродил по лесистым окрестностям, в полуденное время обедал сухим пайком, размышлял о разных вещах, а потом прикреплял к толстому стволу бумажную мишень, привезенную с собой, и производил серию выстрелов — всякий раз метче.

А недавно, месяца два назад, бродил вот так, бродил — и добродился до мысли: а что если взять да и застрелиться? Он не столько испугался этой мысли, сколько удивился. Абсолютно ничего не дает ему повода к самоубийству. И семейная жизнь нормальная, и работа устраивает, и пенсионное безделье не пугает, и дети хорошие, да и сам он человек приличный, даже иногда веселый. С чего же вдруг эта мысль?

Он не понимал. Он вновь и вновь приезжал в Шумейки, прохаживался знакомыми уже тропками и пытался понять: с какой стати зародилась в нем эта чушь? И не только зародилась — живет. Причем не в форме рассуждения, а, так сказать, визуально: то и дело Илья Сергеевич видит себя словно со стороны — как садится он степенно под дерево, обедает, собирает все бумажки и обертки, сует в рюкзак, чтобы не мусорить в лесу, а потом, попив чаю из термоса, не спеша расчехляет ружье, вставляет дуло в рот — и...

Откуда, почему, с чего, зачем?

Непонятно.

Но Мельчук надеется, что когда-нибудь поймет. И тогда — два выхода: либо он с этой фантазией согласится, угрев в ней резоны, которых пока не видит, либо наконец расстанется с нею, забудет — и продолжит жить дальше так, как и прежде жил.

Бледная интеллигентная пара имела историю семейно-романтическую. Про преданную любовь — не в смысле предательства, а в смысле преданности.

Наталья Стрекалова, женщина умная, тонкая, одаренная. Актриса. Работала в двух государственных театрах Сарайска, потом в муниципальном, а потом — в театре-студии. Ее это не удовлетворяло. Уровень режиссуры, уровень партнерства, уровень драматургии — все не то. Тут явился в Сарайск бывший ее сокурсник, теперь московский режис-

сер при одном из крупных театров, когда-то в нее влюбленный. А у Натальи был к той поре муж Леонид Курков, художник широкого профиля: занимался и станковой живописью, и графикой, работал и по металлу, и по керамике, брался за оформление ресторанов и магазинов, малевал даже гламурные картины для уличной продажи — с нагими красавицами, парусниками в бушующем море и барсами, пробирающимися по заснеженным скалам. Короче, трудился в поте рук, что позволяло Наталье творчески гореть и годами обходиться без работы, пребывая в плодотворной рефлексии и готовясь к новому витку.

Режиссер соблазнил Наталью перспективами роста и реализации, она уехала с ним. Сыграла одну роль в одном спектакле знаменитого академического театра и безразлично ушла: уровень театра вблизи оказался феноменально низким. Потом ей удалось получить две роли в сериале и одну, третьего плана, в кино. Готовилась она к каждой серьезно, подвергала образы действенному анализу, часами рассуждала о них с сожителем-режиссером (брак они не регистрировали), тот терпел и едва удерживал зевоту — ему повезло, его взяли на телевидение для съемок четырех двадцатисерийных блоков двухсотпятидесятисерийного сериала, но при этом он очень уставал. Сериальных ролей Натальи никто не заметил, а в снятом кино эпизод с ее участием вообще выкинули. Наталья оскорбилась. Засела дома, читала умные книги и все чаще выпивала.

Тут сожитель-режиссер привел молодую особу и сказал: «Извини, Наташа — вот. Она будет со мной. Я тебя не гоню, две комнаты все-таки, живи, сколько хочешь».

Положение было ужасным. И жить так нельзя, и возвращаться в Сарайск не к кому: она продала свою квартиру, родители умерли, других близких не осталось. Наталья продолжала пить, играя в одиночестве не сыгранные роли,

а когда появлялся режиссер с молодой возлюбленной, доказательно объясняла ему, какое он ничтожество, а ей — какая она стерва. Возлюбленная не терпела правды, поэтому пригрозила режиссеру, что уйдет.

Режиссер, человек, надо отметить, милосердный и даже щедрый, снял для Натальи квартирку, предупредив: плачу вперед за полгода, найди за это время работу и брось пить. Не найдешь и не бросишь — извини.

Наталья не нашла и не бросила. Хозяйка квартиры за неделю до истечения срока предупредила, чтобы Наталья съезжала.

Тут и явился Леонид Курков, любивший ее по-прежнему.

Двое суток он говорил с Натальей, объясняя, что он не собирается входить второй раз в одну и ту же воду, а просто предлагает временно пожить у него, в Сарайске. Наталья, выпивая, заносчиво отвечала, что ее не отпустят: два театра умоляют сыграть главные роли, два кинопроекта просто встанут без нее. Потом, немного протрезвев, объяснила: в Москве у нее есть шансы, а в Сарайске никаких. Потом, совсем трезвая, зато похмельная, сказала, что она готова на все при условии, что Леонид даст ей выпить. Леонид согласился с условием: в Сарайске.

И Наталья решила ехать с ним. Она расплакалась, призналась, что чувствует себя перед Леонидом виноватой, сказала, что он еще будет ею гордиться, что она стала совсем другим человеком. Торопливо собралась: уезжаем немедленно! На вокзале, узнав, что автобус уходит на два часа раньше поезда, объявила: хочу автобусом. На возражение Леонида, что поезд будет в Сарайске раньше, ответила:

— Я хочу не раньше приехать, а раньше уехать, неужели непонятно?

В автобусе замолчала, замкнулась.

Поймав тоскующий взгляд, который она бросила на две бутылки с пивом в руках появившихся работяг, Курков нахмурился. Запасной вариант у него был, но не хотелось к нему прибегать.

Скучный мужчина лет сорока — Тепчилин Анатолий. Он детдомовец и сирота, но человек при этом правильный, склонный к домашности. Долго работал на заводе газового оборудования, ему дали сперва комнатку, а потом квартирку. До тридцати лет не женился, выбирал женщину по характеру. Баловство ему претило. То есть, он бы не прочь, если с порядочной, но в том и проблема: порядочные баловством не занимаются, а непорядочными он брезгует. Как ни крути, жениться все-таки надо. Женился он старинным обычаем — через сваху. Была женщина у них в доме, о которой шел слух, что она сводит мужчин и женщин в возрасте. Не через газеты или какой-то там Интернет, что зазорно и паскудно, а живым способом. Тепчилин раз пять с нею особенным голосом поздоровался при встрече и, проведя эту подготовку, явился к ней в одиннадцать часов вечера (чтобы соседи не заметили) и попросил помощи. Соседка обрадовалась. Не прошло и месяца, как Тепчилина познакомили с Варей Шикуновой. Она ему не понравилась: старовата, за тридцать, глаза как у сектантки, черные и непроницаемые, чего-то там себе видят и думают, фигура так себе и на щеке большое родимое пятно, похожее очертаниями на остров Мадагаскар. Но зато Тепчилин увидел в ней готовность к послушанию. Качество редкое, почти исчезнувшее. И он решил жениться.

Варя оказалась, действительно, послушна и даже угодлива.

Однако насладиться семейным счастьем жизнь не дала — завод обанкротился, Тепчилин потыкался туда-сюда, потом наткнулся на объявление о выездной работе для

сварщиков в Москве, а он, было дело, когда отремонтировали завод, освоил и газовую, и электросварку, получил соответствующий квалификации документ. Тепчилин пошел на собеседование, его взяли. И вот ездит уже седьмой год, работает в Москве, живет в общежитии от строительной фирмы, в комнате на двоих, но один, приплачивая за второе место. Очень уж не любит посторонних и разговоров с ними. Выпить тоже, когда захочется, предпочитает в одиночку. По выходным спит, гуляет, смотрит телевизор. Два раза вызывал проститутку и с любопытством ими попользовался, но остался неудовлетворен. Девушки, конечно, готовы были подчиняться, но за деньги, а ему нравилось подчинение бескорыстное, от души, как у его Вари. К тому же, девушки норовили попить чаю или кофе, поболтать, он же хотел от них быстрее избавиться — как от свидетельниц его бесстыдства. Потому что на самом деле Тепчилин безнравственность презирал.

Раз в два-три месяца он скучал по Вале, ехал в Сарайск и проводил там с удовольствием несколько дней, но с не меньшим удовольствием и возвращался, предвкушая одинокий уютный отдых в своем втором доме, где все под рукой: вот чайник, вот пульт от телевизора, вот маленький холодильник, а за окном дерево — пусть высохшее, всего несколько листочков произрастают из последних сил, но все-таки природа...

Старуха деревенского вида, Лыткарева Татьяна Борисовна, ездила к сыну в тюрьму. На самом деле она давно уже городская, в восемнадцать лет уехала и уже вот скоро будет ей семьдесят два. А сын у нее, Валера, был хороший, но слабохарактерный. Первая жена попалась халда, сама порядок не держала ни в доме, ни в детях, и Валеру испортила: он, не чуя над собой дисциплины, гулял и пьянствовал. Вторая

была поосторожнее с мужем, зато не чуралась погулять. Третья же — полная погибель. Всегда полон дом гостей, а гости все какие-то незанятые, могут и утром прийти с бутылкой, и днем, и ночью. Вот и подбили Валеру на глупое дело — взломать заднюю дверь магазина. Взломали. А там сторож. Сторожа стукнули, убили. И на Валеру все свалили. Другим кому два года, кому три, кому вовсе условно, а ему аж восемь лет в колонии строгого режима. Один год отсидел, вдруг новость: будто бы Валера зарезал кого-то в тюрьме, опять будут судить, новый срок давать. Суд состоялся в городе Дмитрове — туда и пришлось матери поехать. Сидела, слушала, ничего не слыша, смотрела, ничего не видя, плакала. Свидание дали, оно было коротким, мать только спросила: «Как же так, Валера?» А он ответил: «Теперь будут на меня всех собак вешать».

И Татьяна Борисовна поняла: не виноват он. Как начали, действительно, вешать — видят, что человек податливый, простой, так и будут давить его до конца жизни. Горе, горе...

Тот молодой человек, кого Артем беспощадно назвал балбесом, таковым, конечно, не был. Напротив, он считал себя умным и даже мудрым. Он жил с девизом, известным многим: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». По крайней мере, надо пытаться. Без билетов нельзя ездить? А если попробовать? Димон много раз ездил — очень даже получалось. Без денег не проживешь? И это возможно. Прожить вообще можно без ничего, хотя желательно, конечно, с чем-нибудь. Насчет покурить особенно. Перед поездкой у Димона как раз и была проблема: купить ли законно билет или на те же деньги у знакомых привокзальных лиц — несколько щепоток травы. Он решил вопрос в пользу травы. Домой ехать — надо. А покурить — хочется. Есте-

ственно, любой человек, выбирая между «надо» и «хочется», предпочтет второе.

Не ехать нельзя: мать заболела, просит. Да и сарайских друзей давно не видел. Подруг тоже. И вообще. Может, даже и работу придется найти, потому что хоть и весело ездить с места на место, но месяц назад вдруг так прострелило где-то в области печени, что он два дня лежал, не мог разогнуться. Все-таки двадцать девять лет уже.

А выгнали бы из автобуса — электричками доехал бы, бегая от контролеров. Сеть электричек в России такая, что ими можно вообще добраться аж до Владивостока, Димон еще не пробовал, но знающие люди рассказывали.

Всегда есть выход. Вот и здесь, в автобусе, на задней двери приклеена надпись «Выхода нет», чтобы пассажиры шли только через переднюю дверь, не ломились, куда не просят, но все знают, что выход тут есть. Там же, где и вход, что интересно.

Одно жаль — закурить сейчас нельзя, придется ждать остановки. Почему не придумают, размышлял Димон, те, кто борется с курением (независимо от того, кто что курит), простейшее устройство: там, где в панели над креслом лампочка и зарешеченный кружочек кондиционера, встроить еще такую выдвигающуюся трубку с чем-то вроде маски, но побольше, чтобы поместилась и рука с сигареткой. Ты в нее уткнулся, покурил, в салон дым не идет, весь высасывается наружу — и тебе хорошо, и пассажирам дышать не мешает. Нет, не умеют у нас заботиться о людях, подумал Димон.

Девушку с прекрасным животом звали Вика, а юношу с соломенными волосами — Тихон. Прозорливый Артем угадал наполовину: девушка была из Сарайска, а юноша — из Москвы. Вика была семиюродной сестрой Тихона, дальней родственницей, приезжала поступать куда-нибудь, но по-

ходила по приемным и отборочным комиссиям, потолкалась среди абитуриентов и сказала:

— Нечего мне тут делать. Куда я хочу, там бешеный конкурс или деньги, а куда я не хочу, мне туда и даром не надо.

— Да брось ты, — успокаивал Тихон, успевший влюбиться в красивенькую родственницу. — Останься здесь, я тебя подготовлю. Жить у нас будешь.

Мать Тихона, слышавшая этот разговор, сказала очень мягко и интеллигентно:

— Тиша, я, возможно, не против, и отец, возможно, тоже, но надо бы все-таки посоветоваться.

— Да нет, я сама уезжаю! — торопливо сказала Вика. — Мне завтра надо в Сарайске обязательно быть, у меня там... В общем, я поеду. До свидания.

И тут же вышла.

Тихон выскочил за ней.

— Как ты поедешь, ты же сказала, что ждешь от родителей перевод с деньгами?

— Это не значит, что у меня совсем денег нет. Забыла твоей маме спасибо сказать за гостеприимство, ты уж передай.

— Обиделась? Зря.

— Зря, не зря — не важно. Все, я поехала.

— Проводить-то можно?

В метро ехали молча. Тихон стоял рядом, касаясь то рукой, то краем одежды, и понимал, что не хочет ее отпускать. Конечно, она может еще приехать или он приедет к ней, но что-то подсказывало ему — на потом откладывать нельзя. Надо уже сейчас. Но — что сейчас? Замуж ее позвать?

Они приехали на вокзал, Вика просмотрела расписание поездов.

— Поезд только вечером.

— Тогда погуляем пока?

Тихон даже не обратил внимания, что Вика не взяла билет.

Они прошлись по улицам, Тихон пригласил ее выпить кофе, Вика отказалась:

— У меня денег в обрез.

— При чем тут у тебя? Я угощаю.

— У меня принцип — угощений не принимать.

Тихон удивился: ему случалось уже водить Вику в кафе и расплачиваться за двоих, она не протестовала. И вдруг — принцип.

Обиделась все-таки...

И опять ходили, ходили по улицам, оказались в каком-то скверике, посидели, Тихон неловко пытался затеять какой-нибудь веселый разговор.

Вдруг Вика встала:

— Все, пока. Не провожай, сама доберусь.

— Но поезд же вечером!

— На проходящий сяду какой-нибудь. Через Сарайск полно проходящих.

И тут Тихон взял ее за плечи и сказал все, что хотел. Что влюбился, что никто ему так не нравился, что он на все готов и на все заранее согласен, что уезжать не надо, что она может жить у него, как невеста, причем полная свобода гарантируется — если не хочет стать невестой в действительности, он переживет.

— Нет, — сказала Вика. — Спасибо, конечно, ты мне тоже нравишься, но мне надо ехать.

— Тогда я еду с тобой! — заявил Тихон.

Вика пожала плечами:

— Как хочешь.

На вокзале выяснилось — на поезд, даже не плацкарту, денег не хватает. Тихон сказал, что может позвонить друзьям, привезут. Вика отказалась: ни у кого она одалживаться

не хочет. Вон там автобус на Сарайск стоит, должно хватить, на автобусе поедем.

На автобус хватило, и вот они сидят — Тихон слегка растерянный от своей смелости (никогда не совершал таких неожиданных поступков, не огорчал мать и отца), но счастливый, а Вика с легким недоумением (так и не поняла, нравится ли ей Тихон) и некоторым злорадством: видите, гордые москвичи, что получилось? — поманила пальчиком вашего сына, и он тут же сорвался! Урок вам на будущее, лучше разбираться надо в людях. В своих детях, в том числе. И не надо было принимать Вику за Золушку только потому, что она не москвичка. У себя в Сарайске она, может, вообще золотая молодежь, ей один человек машину хотел подарить — не за то, за что можно подумать, а просто так, из уважения. Она отказалась — потому что тоже хочет себя уважать. Да и что машины — ей, не исключено, вообще загородные коттеджи будут дарить за один ее ласковый взгляд. Свое будущее Вика представляла блестящим, богатым, самостоятельным, хоть и не знала еще, каким конкретно образом это осуществится.

И было ей то весело от мысли, что увезла Тихона от родителей, то немножко неуютно: а что она с ним в Сарайске будет делать?

Девушка с книжкой, которую Артем назвал «романтичкой» и «Чебурашкой», ехала домой на каникулы. Занятия в юридической академии, где она успешно училась и успешно сдала сессию, кончились раньше, но еще месяц она работала курьером. Эта работа тем хороша, что, пока едешь в метро, можно читать, а Нина Ростовкина — как ее звали — очень любила читать. Особенность при этом: ей нравится практически все. И классика, и современные серьезные книги (за исключением очень уж переусложненных), и детективы, и любов-

ные романчики, и даже книги о здоровье и домоводстве, если попадались ей в руки. Бывают люди, которым все равно, что читать, лишь бы буквы, но Нина вполне отличает, какая книга настоящая, а какая так себе, — просто она умеет в любой, даже самой плохой книге, находить что-то интересное. И очень уважает всех авторов: ей вот при всей ее сообразительности и неглупости, при том, что она довольно грамотно пишет, сроду никогда ничего не сочинить. Она умеет думать и писать только о том, что есть, что она хорошо знает. Поэтому никакой истории выдумать не сможет. А для книг о здоровье и домоводстве нужно знание. Правда, иногда Нине казалось, что у некоторых авторов — и сочиняющих, и пишущих о домоводстве — тоже нет ни особенной фантазии, ни знаний, но есть зато качество, отсутствующее у Нины — творческая наглость.

Сейчас она читала купленный на вокзале роман «Слепая любовь». Незрячий саксофонист Стив любит музыку и женщин. Женщины тоже его любят: он ведь оценивает по голосу, по гладкости кожи, по другим параметрам, которые способен оценить на ощупь. Есть же много таких, у кого и голос красивый, и гладкая кожа, а внешность не удалась. Всё без каких-то особенных недостатков, а общего впечатления красоты почему-то нет (как у меня, отметила Нина). И вот Стив влюбляется в скрипачку Дафну, недавно пришедшую в оркестр. У нее роскошная фигура, прекрасные волосы, умные карие глаза (как у меня, опять-таки отметила Нина), правильный нос, хрупкая шея, и при всем при этом она считает себя дурнушкой, да и другие придерживаются этого мнения. И нос хороший, и глаза, все хорошо, а вместе — не разыгрываются. Загадка. (Это действительно загадка, думала Нина вместе с автором и Дафной: у них вот есть на курсе общепризнанная красавица Ася — нос великоват, губы длинноваты, глаз вообще

почти не видно, но посмотришь на нее в целом и сразу возникает впечатление — красавица!) И так, Стив влюбляется в Дафну, для него это проходной эпизод, но Дафна не идет навстречу. «Тебя, может быть, некоторые любили из жалости, — жестоко, но честно говорит она Стиву, — а я считаю, что ты нормальный человек, без скидок». Стив после этого начинает любить ее по-настоящему. У них возникают серьезные отношения. Но у Стива была подруга, она взревновала и стала говорить Стиву, что Дафна уродина. Но он только смеялся и не верил. И вот у Дафны и Стива первая ночь.

*Несмотря на трех мужчин, которые были у Дафны за ее тридцатилетнюю жизнь, она была совсем невинной. Она стеснялась себя, стеснялась обнаженного мужского тела, находя его отвратительным, особенно в физических признаках страсти, рассматривание мужских гениталий всегда вызывало у нее тошноту. Она всегда требовала выключить свет. Но Стив ведь все равно не видел, поэтому она почувствовала необыкновенную свободу. Она поняла, наконец, что привлекало в Стиве женщин помимо его остальных достоинств: он не видит их изъянов, неловких движений и поз. Она поняла, что может ходить обнаженной и совершенно этого не стесняться, хотя обычно стеснялась сама себя. Поэтому она после ванной пришла к Стиву не в халате, не завернувшись в полотенце, а в костюме праматери Евы — лучшем из всех женских нарядов. Стив ждал ее, протягивая руки. Только руками он может ее увидеть, и Дафна позволила ему это.*

*Никогда она не испытывала ничего подобного. Руки путешествовали по телу. Пальцы, ласковые теплые змеи, ползли по бедрам, по животу, по груди, приближаясь к средоточию страсти, но, когда они еще были на пути, Дафну вдруг пронзило, как электрический разряд, острое и почти*

*мучительное блаженство. Что же будет дальше, подумала она, если уже сейчас так хорошо?*

*Она закрыла глаза, ей хотелось тоже быть слепой. И тут руки исчезли — и вдруг...*

Автобус так дернуло и качнуло, что Нина чуть не ударилась лбом о спинку переднего сиденья. Посмотрела в окно. Еще Москва. Слышно, как водитель вслух обижается на кого-то за неправильную езду и учит его правилам дорожного движения, хотя нарушитель, скорее всего, не слышит.

Господи, какие глупости.

И она опять углубилась в чтение, бросив предварительно взгляд на мужчину у противоположного окна автобуса: вдруг он по выражению лица догадался, о чем она читает. И подумает что-нибудь не то. Нина ведь знает за собой этот недостаток: читаемое слишком отражается на ее лице — веселое растягивает губы в улыбке, страшное морщит лоб, а такое вот делает глаза напряженными и любопытно-стеснительными. Однажды в метро она читала вот так, читала, подняла голову: молодой человек напротив смотрит на нее с изумлением. Нина тут же сделала лицо простым и деловитым — будто читает учебник.

Так поступила она и сейчас.

Кстати, именно поэтому Нина выбирает место в автобусе всегда подальше, чтобы никто за нею не подглядывал. Но в самом конце сидеть не любит, там укачивает. И сегодня остановка была бы идеальной, если бы не ввалившиеся в последний момент работяги. Они расположились за спиной и чудится, что тайком заглядывают в книгу.

Меж тем ни работяги, ни тот, кого Артем назвал обломом, ею не интересовались.

Работяги сидели молча, устало, передавая друг другу пиво и отпивая, а облом был занят своими мыслями.

Вернее, не мыслями, а ощущениями, потому что мысли у Юрия Желдакова существовали именно в виде ощущений. Даже о погоде он думал не так: «Морозно, снег идет», а так: «Мне холодно, и гадостью посыпает». Желдакову никогда не нравилось работать ни умственно, ни физически, но без работы не проживешь, а жульничать или воровать он не хотел, сообразив, что это тоже труд, только опасный. Он сменил много профессий — был палубным рабочим на прогулочном речном трамвайчике, грузчиком в порту, там же — водителем электрокара, потом охранником от фирмы, помощником завхоза, экспедитором, ремонтировал квартиры, строил дачи, торговал на вещевом рынке — и так далее, и тому подобное, и каждая работа быстро приедалась, а потом ему крупно повезло: умерла тетка, у которой он был единственным близким родственником, оставила ему квартиру. Желдаков, не будь дурак, не продал ее — сдает внаем и живет на эти деньги, не превышая лимита жизненных потребностей.

Есть у него и еще занятие: находить одиноких женщин от сорока до пятидесяти, обеспеченных, с квартирой, и подживаться у них. Надолго его не хватало — женщины утомляли так же быстро, как и работа, но месяца три-четыре выдерживал. Пил, ел, одевался за счет влюбленной бабы (а они влюблялись немедленно — не потому, что он был хорош, а очень уж им хотелось любви), утешаясь сознанием того, что денежки за квартиру остаются в целости и сохранности, копятся. И когда-нибудь он купит, наконец, хорошую машину — машину, которая всегда казалась Желдакову идеалом автономного пространства. Неважно, куда ты едешь, главное — никакая тварь не покусится, не влезет, если он того не захочет, а с милицией он будет общаться через приоткрытое окошко...

Недавно встретил приятеля Семиркина, и тот рассказал, что, работая таксистом в Москве, встретил богатую тетку, та

поселила его за городом, никому не показывала и, как выразился приятель, сексуально издевалась. Одевала в идиотские наряды с обязательно голым торсом, поила французским вином — умеренно, чтобы не потерял форму, заставляла жрать устрицы, сырые яйца — какой человек выдержит? Вот Семиркин и не стерпел, объявил, что удаляется. Тетка выла и рвала волосы, обещала купить автомобиль, Семиркин — ни в какую. Жизнь дороже.

Дурак, сказал ему Желдаков. Не в свое дело полез, это моя специальность.

И взял телефон тетки, и поехал в Москву с минимумом денег (ибо сколько возьмешь, столько и потратишь, известный закон), позвонил тетке, сказал, что привез большой привет от Семиркина и маленький презент от него же.

Рассчитал правильно: тетка захотела встретиться.

Вариант был даже лучше, чем предполагал Желдаков: всего лет сорок пять, полновата, но лицо свежее. Однако глаза тусклые и на Желдакова не зажглись. Юрий передал словесный привет (которого не было) и вручил презент: керамический квадратик с петелькой для вешания на гвоздик, на квадратике — виды города Сарайска. Она даже не посмотрела на сувенир, спросила:

— Что еще сказал?

— Что очень сожалеет.

— Почему сам не позвонил?

— Не может. Уехал. В Сибирь. Куда-то там на заработки, — соврал Желдаков.

— А привет передал, а эту фиговину — как?

— Перед уездом.

— Ясно. Больше ничего не говорил?

— Ничего. Удивляюсь я. Такая женщина, а он... Не понимаю иногда мужиков, — вздохнул Желдаков, предавая своих собратьев по мужскому полу.

А сидели в ресторане. Тетка взяла пепельницу, покачала ее в руке и сказала:

— Сейчас вот как уфигачу, урод, будешь еще ко мне подъезжать. Скотина.

И встала, и ушла, и пришлось Желдакову расплачиваться, а цены в московских ресторанах известно какие, поэтому он и тащится в этом поганом автобусе.

Обидно...

Не имея своих идей, Желдаков зато впитывал чужие — пусть немного, но накрепко. И таких идей было целых две.

Первую он узнал от сторожа в дачном поселке, где строил кому-то дачу. У сторожа в подворье была банька, которая славилась своей правильностью, хорошим паром. Стояла над прудом, с деревянного мостка можно было плюхнуться в холодную воду — очень освежает. Сам сторож был вида диковинного: с редкой, висящей вялым клинышком бородкой, в очках, он напомнил бы Желдакову писателя и политика Лимонова, если бы Желдаков знал, кто такой Лимонов, — а он ни интересовался ни политикой, ни, тем более, литературой. Как потом выяснилось, сторож был махровый интеллигент, бывший преподаватель техникума, бросивший свое поприще ради покоя и свежего воздуха. Так вот, однажды Желдаков парился в бане со сторожем, третьим был красный, толстый дядя, который азартно охаживал себя веником, ухая и крякая. Нахлеставшись, он вывалился в предбанник, а сторож сказал:

— Между прочим, из столицы сюда приезжает. У него тут братик, а сам он олигарх. Денег миллиарды, дома, предприятия. Но заметь, Юра, вот он сидел с нами и точно так же парился. И это для него было лучше всего, если сравнить с другими делами. Он сам так говорит. Чистое удовольствие. Я к чему? Я к тому, что вот он олигарх, ты дачи строишь, я

сторож, а удовольствие — одинаковое. Независимо от материального положения. Понимаешь?

Желдаков понял мгновенно. Действительно, как ты ни крутись, а удовольствия — те же. Попариться, например. Выпить. Покушать. С женщиной размяться. На машинке прокатиться. Телевизор посмотреть. Просто поваляться. Вроде, есть разница — смотря что выпить, что покушать, с какой женщиной и на каком диване поваляться. Но телу-то практически все равно! — открыл Желдаков. Когда тело хочет кушать, то и кильки в томате за ананас сойдут. Когда телу надо женщину, то все равно, с кем, как бы это выразиться, получить результат от трения одного о другое — Желдаков, мужчина опытный, знает, что *это* у них отличается весьма незначительно. Как однажды удачно сказал напарник по охране: «Если она вся в золоте, это не значит, что у нее там медом намазано!»

Следовательно, минимальными способами можно получить если не максимальное, то такое же удовольствие, как у богатых и знаменитых, — эта идея Желдакова успокоила навсегда.

Второе открытие произошло лет пять назад, когда Желдаков с выпившим другом ехал к знакомым женщинам на частнике, и частник пересказывал содержание вечерней передачи, в которой объяснялся какой-то новый закон. Частник азартно злился и после многословной критики подвел черту:

— А я на все — закон там или что, или хоть смена там строя, или там партии какие-то, выборы или чего-то — я на все смотрю так: что это дает *мне*? Ничего? Тогда идите нах!

Друг Желдакова лишь посмеивался, а Желдакова пронзило.

Прав частник! В самую точку попал! Действительно, сколько времени потратил впустую Желдаков, нетрениро-

ванным умом кумекая, что вокруг хорошо, что плохо, что надо, что не надо, а частник приговорил, как отрезал: что мне хорошо — то и хорошо, что мне плохо — то и плохо.

И вовсе не искал Желдаков конфликтов, неверно понял его Артем, не было никакого другого умысла в действии Юрия, когда он положил ноги на кресло, кроме как доставить себе отдых и удовольствие. И поступил он — для себя — несомненно хорошо. А если у кого-то есть другое мнение, что ж, он готов при соответствующем настроении и поспорить. А будут настаивать или применять меры — ну, и уступит. Потому что в некоторых случаях упрямыться себе дороже. То есть мне, Желдакову.

Сомневающийся паренек с гитарой удивился бы, если б узнал о характеристике, данной ему простым водителем, — не потому что тот ошибся, нет, как раз Артем подумал о Ване Елшине довольно точно, — однако Ваня Елшин считал, что обычным людям недоступен человековедческий анализ, себя же как раз считал проницательным и умным, несмотря на юность возраста. Ваня действительно был человеком постоянных сомнений. Закончив школу, он поступил на исторический факультет университета, проучился год, но до сих пор не уверен, что сделал правильный выбор. Увлёкся сочинением песен под гитару, но не понимал, зачем ему это нужно. Он никому их не пел, даже друзьям. Но считал, что в этих песнях проглядывает новое направление, отличное от того, что делают барды, поющие травянистые песни водянистыми голосами. И он решился на поступок, который совершил бы не всякий смельчак: разузнал телефон, а потом и адрес автора-исполнителя Мутяйкина, которого не уважал, но от которого мог получить поддержку, и двинул в Москву. Мутяйкин по телефону объяснил ему, что он не консультант и не продюсер, прослушать Ваню не может, до свидания.

— Хотя бы одну песню! — просил Ваня, нагледя и удивляясь этому.

— Извини, дружок. Пока.

Ваня приехал к его дому, дождался Мутяйкина и встал перед ним, когда тот шел к машине.

— Это ты? — удивился Мутяйкин.

— Я. Одну песню...

— Прямо здесь?

— Почему нет?

Мутяйкин сел в машину, оставив дверцу открытой, закурил и сказал:

— Ну, давай.

Это было смешно и странно: стоять перед машиной и петь. А кругом люди ходят. И из окон смотрят.

Но Ваня, выдрав гитару из чехла, повесил ее на шею и забренчал, запел.

Выслушав два куплета, Мутяйкин кинул окурок на асфальт и сказал:

— Ну, нормально, молодец. Действуй в том же духе.

И захлопнул дверцу, и уехал.

Ваня сначала очень огорчился, а потом обрадовался.

Конечно же Мутяйкин не будет ему помогать — зачем ему конкуренция? Но он вынужден был похвалить — и это дорогого стоит. Надо вернуться домой и работать, работать, работать, веря в себя.

Автобус выбрался из Москвы, всем стало веселее. Пока были в Москве, все еще казалось, что не поехали, а только собираются. И вот теперь едут по-настоящему. И скорость прибавилась, и виды за окном сменяются быстрее.

— Командир, а когда ужин будет? — крикнул Желдаков.

Козырев усмехнулся. Всякий раз кто-нибудь задает этот вопрос.

Он придвинул к себе микрофон на гибком держателе:

— Какой ужин?

— А твой напарник обещал! Ужин в пути!

— Он имел в виду: в девять часов остановимся у кафе «Родник», место приятное, цены нормальные, кто хочет, может поужинать.

— А я думал, тут дадут!

— Ага, дадут! Догонят — и добавят! — засмеялся один из рабочих, молодой и веселый.

Желдаков, впрочем, что-то в этом духе и предполагал, спросил просто так, для проформы.

Ехали гладко, быстро: субботний вечер, машин немного.

Послышалась вдруг милицейская сирена. Звук нарастал сзади, потом поравнялся, потом обогнал, и автобус начал тормозить. Пассажиры отодвигали занавески, выглядывая, но никто ничего не увидел.

— В чем дело? — спросил Мельчук.

— А шут их знает, — ответил Козырев.

— Не останавливайся! — запоздало крикнул один из ребят.

Но Козырев с милицией шутить не любил, да и не видел необходимости. К тому же, белая машина с синей полосой, обогнавшая автобус, была не дорожно-патрульной, а общего милицейского образца. Следовательно, какая-то проверка.

Он открыл дверь.

В автобус поднялся милиционер с короткоствольным автоматом на ремне.

— Ничего страшного, граждане пассажиры, ничего страшного! — бодро сказал он. — Все в Сарайск направляемся?

— Все, — послышался нестройный, но дружный ответ.

— Террористов ищите? — пошутил Димон, запихивая какой-то пакетик в щель между сиденьем и стенкой.

— Все может быть...

Милиционер пошел по салону, оглядывая пассажиров. На мужчин смотрел внимательнее. Помешкал возле Мельчука, достал из планшетки какие-то листки, поворошил их. Спросил у Мельчука документы, тот предъявил паспорт.

Милиционер посмотрел, пролистал, вернул.

Проверил он также документы у Димона, Тепчилина, Куркова, Желдакова. Дошел до конца.

Спросил:

— Больше никого?

И тут пассажиры заметили, что работяги исчезли. Но куда? Только в туалет, больше некуда. Но зачем все вместе?

Милиционер, видя их недоумевающие взгляды, сорвал автомат с плеча, подошел к туалету, попробовал открыть. Не получилось.

— Работает?

Козырев, наблюдавший за действиями милиционера, ответил:

— Конечно.

— Значит, кто-то там есть?

— Там были вообще-то еще пассажиры... — сказал Козырев с некоторым намеком.

Милиционер намек понял, коротко и сильно ударил ногой по двери, наставив автомат.

В крошечном туалете, впритирку друг к другу, вытянувшись, подняв головы, словно были по горло в воде и боялись утонуть, стояли четверо.

Не спуская с них глаз и ствола, милиционер потянулся к рации. Но тут что-то снизу метнулось, поднялось, навалилось, ухнуло.

Милиционер упал — вниз, где были ступеньки к задней двери. А нападавший прятался в закутке между спинками последних кресел и стеной туалета — там Козырев аккуратно размещал ведро, щетки и тряпки для мытья и чистки салона.

Нападавшим был тот, кого Артем посчитал бригадиром и почти не ошибся: он был главным, он в последний момент сообразил, что нужно сделать, scomандовал всем забраться в туалет, а сам спрятался в засаде. План, возможно, не самый умный, но сработал.

— Это что такое происходит? — растерянно спросил Козырев.

— Молчи, брат! — ответил главный. — Закрой дверь!

И направил на Козырева автомат.

Козырев потянулся к кнопке, посмотрев через стекло на милицейскую машину, где находился водитель. Ему хотелось дать какой-нибудь знак, обратить внимание на себя, но водитель сидел спокойно, расслабленно, не оборачиваясь. Видимо, это была для него не первая проверка.

Главный догадался, что Козырев мешкает неспроста, быстро подошел, выглянул из-за его плеча, увидел машину.

— Ты! — подозвал он к себе того, кто показался Артему веселым и бойким. Артем, кстати, спал, будто в обмороке, и ничего не слышал.

Бойкий подошел, главный что-то шепотом сказал ему. Бойкий начал упрячиться, главный ткнул его стволом в подбородок.

— Вы что делаете? — строго спросила Елена. — Если это вас ищут, вы других не впутывайте! Уходите из автобуса!

— Смелая девушка, — похвалил ее главный.

А бойкий пошел назад. Некоторое время возился там и появился в форме, которая оказалась ему маловата.

Они с главным выскочили из автобуса и побежали к милицейской машине.

Водитель, ничего не понимая, сбитый с толку милицейской одеждой на незнакомом человеке, вышел, растерянно смотрел пару секунд, потом нагнулся, чтобы схватить что-то в машине. Главный подскочил и ударил его автоматом, потом еще раз и еще.

Вдвоем они запихнули водителя на заднее сиденье. Открыв багажник, главный нашел длинную веревку, осмотрелся, увидел на обочине бутылку, схватил ее, разбил об асфальт, разрезал острым краем веревку и приказал бойкому связать водителя, а сам со своим обрезком побежал к автобусу.

А милиционер в автобусе оказался жив.

Он зашевелился, застонал.

— Вам помочь? — прошептал Ваня.

Милиционер открыл глаза. Обнаружил, что он в футболке и трусах. Поднял руку к поручню, чтобы подтянуться. Рука сорвалась. Ваня бросился к нему, но его схватил и отшвырнул лысый. А тут и главный вернулся. Стащил с милиционера футболку, обмотал ему рот, потом связал его и предупредил:

— Будешь дергаться — пристрелю.

И побежал вперед, к Козыреву.

Оттуда весело осмотрел всех и объявил:

— Граждане пассажиры! Для вас ничего не меняется! Мы продолжаем следовать по пути следования, да еще в сопровождении милиции! Единственное требование: шторочки все задернули — и не выглядывать. А то солнышко напекет!

— Ужас какой-то, — сказала Татьяна. — Неужели это всерьез?

— Похоже, да, — пробормотал Леонид.

Главный в это время заметил сбоку от водительского кресла стопку табличек. Схватил их, увидел надписи: «Служебный», «Вахта», «Выборы», «Tourist», «Конференция», «Дети».

— Ага! — сказал он. — Очень удачно!

Снял с лобового стекла табличку «Москва—Сарайск» и поставил — «Дети». Нашелся и знак-треугольник с изображением детей, который он поместил рядом.

Бойкий парень в милицейской машине увидел это и поднял большой палец.

— Вот теперь мы поедем спокойно! — сказал главный. — Вперед!

Козырев закрыл дверь.

Милицейская машина тронулась, автобус двинулся за ней.

В автобусе некоторое время все молчали, боясь даже переглядываться. Все вышло слишком быстро, неожиданно, страшно.

Наконец Нина, которая меньше боялась реальности, потому что путала ее с книгами (и наоборот), спросила:

— Извините, а вы кто?

Этот вежливый вопрос рассмешил лысого мужчину. За ним засмеялись и другие работяги — то есть, теперь понятно, что не работяги, — бурно, нервно. Неожиданно хихикнул и Димон. Засмеялась и Нина, а за нею Вика, Вике вторил Тихон, Ваня прыскал носом, сдерживаясь. Лишь Козырев крепился до последнего. И не удержался, хохотнул — как раз, когда все уже отсмеялись, то есть это прозвучало в тишине и было так неожиданно, так смешно, что произвело еще один взрыв хохота. Казалось, даже милиционер на ступенях трясется не от выбоин дороги, а от смеха.

Пока утихает смех, можно вкратце рассказать, кто же в действительности были эти работяги, появившиеся на Павелецком вокзале за пять минут до отхода автобуса.

Их всех привезли из различных мест заключения в Москву на пересуд или, как это называется официально, для предъявления новых обвинений по вскрывшимся фактам и дополнительным обстоятельствам, либо для пересмотра дел в связи с апелляциями осужденных и их адвокатов.

Снисхождение никому не светило.

Бойкому парню Петру Кононенко, профессиональному угонщику, который сейчас сидел за рулем милицейской машины, намеревались вменить в вину еще полдюжины украденных автомобилей и одного изувеченного при этом автовладельца.

Бывший олигарх Андрей Алексеевич Федоров (человек с интеллигентным лицом) должен был фигурировать как свидетель, а потом и обвиняемый на процессе с участием своего наконец уличенного в злодеяниях сотрудника, который чистосердечно покаялся в своих преступлениях и дал заодно показания о недоказанных ранее преступлени-

ях Федорова, за которые тому теперь следовало получить еще лет пять, если не больше, к имевшимся восьми.

Бригадир, он же главарь, Игорь Романович Маховец сидел за дела серьезные — и разбои, и убийства, причем действовал он независимо, вне бандформирований и группировок, временных шак и т.п., сам по себе, то есть, не являлся авторитетом криминального мира, но снискал себе там уважение как матерый волк-одиночка. Ему тоже собирались впясть новый срок по трем эпизодам с его теперь доказанным участием.

Евгений Притулов — тот, который лысоватый и с усмешкой, — был, возможно, самым страшным из всех, поскольку числился по разряду маньяков (с чем он, конечно, не был согласен), за душой у него имелись пять зарезанных и изнасилованных (именно в таком порядке) женщин, а теперь прибавятся еще две найденные недавно в подмосковном лесу. Самый молодой, Сергей Личкин, в отличие от прочих, был преисполнен надежд. На последних месяцах службы в армии он узнал, что его невеста Татьяна вышла замуж. Вернулся в поселок, выслушал от родителей подробности, узнал, что Татьяны и Вовки-мужа нет, уехали. Выпил водки и лег спать. Утром поднялся рано и пошел по соседям.

— Здравствуйте! — приветливо говорил он. — А Татьяна моя замуж вышла!

— Вышла! — отзывались с сочувствием, но и с облегчением, видя, что обманутый жених посмеивается и, значит, воспринимает все как факт.

— Ну и ладно! — добродушно посмеивался Сергей, слегка дергаясь то ли от смеха, то ли еще от чего. — А вы то на свадьбе были?

— Да были.

— А разве не знали, что она моя невеста?

— Знали, Сережа. Но раз у них все решилось с Володей, как не пойти? По-соседски.

— Ну получите тогда. По-соседски, — говорил Сергей, выхватывая нож и ударял им тех, с кем беседовал.

Так он обошел несколько дворов, застав и порешив пятерых человек, а потом его скрутила вызванная милиция с помощью соседей. Соседи хотели убить его на месте, да милиция не дала.

Теперь он надеялся: адвокат, которого наняла мать и который очень толково объяснил ему про состояние аффекта, выручит, докажет, что виноват не Сергей, а этот самый аффект. И его отпустят, и он завершит свое дело, то есть зарежет и Татьяну, и Вовку, потому что нет ему без этого ни сна, ни покоя. А не отпустят — сбежит.

Конечно, если бы они готовили побег заранее, у них вряд ли получилось бы. Все вышло случайно, благодаря извечной российской безалаберности. Их должны были перевезти из следственного подмосковного изолятора в Бутырский СИЗО поодиночке или, в крайнем случае, двумя партиями под строгой охраной, что и намеревались сделать. Но сломалась машина, вторая была в ремонте, наконец нашли (одолжили в соседнем районе) «воронок» на базе автомобиля «ГАЗ-51» чуть ли ни сорокалетней давности, с обитым жестью фургоном. Внутри — типовая клетка и отсек для двух охранников, все надежно.

Однако надежность оказалась мнимой: и решетка закрывалась снаружи всего лишь засовом, и дверь кузова болталась, замок еле держал ее. Прапорщик-сопровождающий обругал водителя, тот сказал, что ни при чем.

— Да ладно, ты все равно внутри с ними будешь, устоишь, — успокоил он. — А второй кто?

— Второго нет, — хмуро сказал прапорщик.

Привели под строгим конвоем заключенных — четверых в наручниках, а Петра без них (не потому, что послабление, а не нашлось пятой пары). Усадили, заперли решетку, обмотав засов проволокой. Прапорщик захлопнул дверь, закрыл, подергал. Вроде, держится.

Он сел в кабину к водителю, тот удивился:

— Не положено!

— Не положено, а я положил! — ответил прапорщик.

Он не собирался объяснять водителю, что у него с недавних пор открылась болезнь, которая для тюремного работника, пожалуй, хуже всех прочих, ибо может лишить профессии, — клаустрофобия. Прапорщик терпел, понимая: как только он обратится к врачу, его комиссуют. А он ничего другого не умеет в жизни — и куда деваться? В помещениях, даже закрытых, он выдерживал, а в лифт уже не мог заходить, фургон же «воронка» для него был хуже гроба. Поэтому он под любыми предложениями отказывался от сопровождения, но сегодня один был болен, второй жутко страдал с похмелья, находился в нерабочем состоянии и честно в этом признался, третьего услали в командировку — короче, прапорщик остался один. Начальство все это знало, но докладывать выше, прося подмоги, не сочло нужным, боясь выволочки. Да и зачем перестраховываться? — сотни раз доставляли заключенных, за пятнадцать лет не было ни одного побега из перевозки.

Эта череда случайностей, на первый взгляд — чрезвычайных, на самом деле — вполне обыденных продолжилась, когда в дороге замок открылся, дверь распахнулась. Ни водитель, ни прапорщик этого не заметили в предутренней серой хмари.

Маховец сразу понял, что это шанс. Велел Петру открыть засов, и тот сделал это без труда, просунув сквозь прутья профессионально гибкие пальцы и размотав проволоку.

— Вы с ума сошли? — спросил Федоров.

— Молчи громче, — ответил Маховец. — Знаешь, кто нам дверь открыл? Судьба. А от судьбы не отказываются. Или вы все свои срока собираетесь сидеть? Тут же меньше пяти ни у кого нет, так? А будет больше!

Возможно, с ним не все были согласны. Но тут Маховец добавил:

— Уходим все. Потому что кто останется, тот заложит, где соскочили. Я этого не позволю, поняли меня?

Таким образом побег для сомневающихся Федорова и Петра Кононенко получился как бы вынужденным, что облегчило им принятие решения, а Евгений Притулов и Сережа Личкин были рады возможности вырваться.

Тут как раз машина остановилась на перекрестке, кого-то пропуская, узники спрыгнули и ушли подворотнями.

Они отыскивали глухое место в каком-то дворе, за гаражами. Неподалеку были мусорные баки. Петр, пошарив в них, нашел какие-то железки и проволочки и демонстративно умело открыл всем наручники.

— Скоро нас начнут искать, — сказал Маховец. — Надо что-то думать.

— Всем разойтись, — предложил Притулов.

— Нет. Вы лохи. Вас поймают, выведете на меня. Уедем вместе.

— На чем? — поинтересовался Личкин.

— Есть мысли. — Маховец помнил рассказ одного бывалого сидельца об исчезновении из Москвы двух рецидивистов, сбежавших на обычном рейсовом автобусе, взяв пассажиров в заложники. Правда, их довольно быстро поймали, но не обязательно же все кончается неудачами. Лучше бы, конечно, обойтись без заложников, переодеться, смирно взять билеты, но где взять денег?

— Деньги нужны, — сказал он.

И тут Федоров вынул деньги — и даже довольно много.

— Ого! — удивился Петр. — Откуда?

— Личный запас.

— Шмонают же!

— Для шмона вот, — показал Федоров свернутые в трубочку купюры, хранившиеся в отдельном кармашке.

— Так они и то отберут, и то! — возразил Личкин.

— Если отберут и то, и то, в следующий раз не будет ни того, ни другого, — спокойно объяснил Федоров.

— Вот гады! — восхитился Притулов. — Отработали схему!

— Рискнем, — решил Маховец. — Кто-то один идет на вещевой рынок, есть тут, я знаю, барахолка поблизости, покупает всем одежду. Простую, дешевую. У разных продавцов, чтоб чего не подумали. А потом действуем дальше. Как тебя зовут? — обратился он к ловкоруюкому угонщику.

— Петр.

— Иди ты, ты сообразительный.

— Не унесу.

— Пацана возьми, — кивнул Федоров в сторону Личкина.

Так они обзавелись обувью, одеждой, кепками и бейсболками.

Познакомились, подкрепились продуктами, которые Петр и Личкин прихватили на рынке.

Потом пробрались к Павелецкому вокзалу.

Про автобус в Сарайск Маховец знал — ездил на нем однажды. Ездил не в Сарайск, а в поселок Дюлево, где он не оставил следов, но есть зато женщина, которая его примет и спрячет.

Они сели в автобус, купили билеты, поехали.

Все шло хорошо.

Никто не ожидал, что операцию по перехвату и поимке

организуют так масштабно. Надо было выбираться из Москвы еще утром, запоздало сожалел Маховец. Но знал он и то, что выбраться не вопрос, главное — уехать как можно дальше от столицы. И тут угоны машин и прочие трюки не проходят, самое верное — использовать что-то обычное, неприметное, тот же пассажирский автобус.

## Москва — Липовцы

— Так! — обратился Маховец к пассажирам. — Первое, значит, что сейчас сделаем: отдали все телефоны!

— Вы для этого на нас напали? Чтобы телефонами разжиться? — весело спросил Димон — он отошел от первого испуга и даже находил в ситуации нечто занятное.

Но никто его юмора не оценил.

Притулов пошел по салону, собирая телефоны. Маховец не приказывал ему, это была инициатива самого Притулова, но Маховец кивнул, одобряя.

Притулов шел медленно, стараясь не засматриваться на женщин: дисциплина взгляда необходима человеку его убеждений и интересов. Он еще наглядится на то, что его больше всего волнует, но не сейчас, чтобы не спугнуть, а потом.

Бирюзовая Елена протянула ему телефон брезгливо, держа двумя пальцами, и тут же отвернулась.

Любовь Яковлевна отдала свой телефон и дочери, понимая, что против силы не попрешь, но предупредила:

— Отдадите потом!

Мельчук отключил телефон и сказал:

— Глупости вы делаете. Вам надо в лес уйти.

— Ну-ну, помалкивай! — прикрикнул Маховец.

Все отдавали телефоны — Наталья презрительно, Курков хмуро, молча, Анатолий Тепчилин торопливо и почти угодливо, Димон весело (нашелся-таки у него телефон, обманул он Артема), Вика с вызовом, Тихон с достоинством, Желдаков как-то по-свойски, словно желал примкнуть к компании, Ваня Елшин просто положил телефон на соседнее кресло, найдя способ не унизиться, а у старухи Лыткаревой телефона не было. Замешкалась Нина Росточкина, которая вечно забывала, куда засунула телефон. Она рылась в рюкзачке, Притулов ждал.

И вдруг все вздрогнули — телефон Нины зазвонил.

Она нашарила его на дне рюкзака и хотела ответить, но Притулов вырвал трубку.

— Вы что? — закричала Нина. — Это отец звонит, если я не отвечу, вы знаете, что будет? У него сердце большое! Я всегда отвечаю! Отдайте! Скажите ему! — обратилась она к Маховцу, как к главному. Тот не отреагировал.

Притулов вернулся с добычей. Достал телефоны из карманов и побросал на переднее свободное сиденье. Маховец и подсуетившийся Личкин отключили все телефоны, кроме одного — Маховец решил оставить связь на всякий случай.

После этого забрали телефон у Козырева, а потом Притулов постучал по ноге спящего Артема.

Тот пребывал в крепком сне без сновидений — очень уж устал накануне. С трудом открыл глаза — настолько сонные, что казались пьяными. Артем даже не понял, кто его будит.

— Чего еще?

— Телефон дай, — сказал ему Козырев.

— Зачем?

— Надо.

Артем залез в карман, протянул Козыреву телефон и тут же заснул еще крепче.

Козырев передал трубку Притулову.

— Молодец парень! — отозвался Притулов об Артеме. — Все бы так. Спали бы и спали.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Мельчук.

— Ехать, — ответил Маховец. — У нас сопровождение, все тихо, спокойно. Ничего страшного не произошло.

— Вы милиционеров захватили! — возразил Мельчук. — И машину милицейскую.

— Милиционеров отпустим, машину вернем, — пообещал Маховец с доброй улыбкой. — Если хочешь, сам ее им и отгонишь.

А в милицейской машине заработала рация, донесся голос:

— Экипаж три, экипаж три, вы где?

Кашляя, Петр ответил:

— Работаем, проверяем!

— Простудился, что ли, Сережа?

— Да.

— На вашем направлении вряд ли они будут, но проверяйте всех. Особенно с иногородними номерами, по сводке три машины угнали сегодня, не исключено, что они. Номера запиши.

И голос продиктовал номера.

Ага, порадовался Петр, насчет автобуса ничего не говорят. Уже хорошо.

— В самом деле, — негромко спросил Федоров, — дальше что? Какой план?

— План простой, — объяснил Маховец. — Отъедем подалее, а потом разбежимся, кто куда.

— Это и в Москве можно было сделать.

— Я же сказал: там вас поймали бы. А здесь — просторы родной родины. Леса, поля, овраги. У них сил не хватит отыскать.

— Наши фотографии уже везде. Нет смысла.

— Кому нет смысла, может сразу сдать в милицию, — посоветовал Маховец.

— Вот именно, — зевнул Притулов, с завистью глядя на спящего Артема. — Согнать бы его, поспать бы. И жрать охота.

— Без проблем, — сказал Маховец. — У них возьмем, — он кивнул на пассажиров.

— Не трогали бы вы их, — посоветовал Федоров.

Маховец удивился:

— Почему это — вы? А ты сбоку, что ли? Не с нами? Ты людей никогда не трогал, не обижал? Голубь сизокрылый!

— Грабежом и убийствами, по крайней мере, не занимался, — ответил Федоров.

— Да неужели? Ясен пень, другие занимались и тебе в клювике таскали. Как матке в улей. Не грабил он. А сейчас будешь грабить!

— Не буду.

— Будешь! — Маховец ткнул жесткими пальцами Федорова под ребра.

Тот задохнулся от боли.

Через некоторое время выговорил:

— У меня печень!

— А у меня селезенка, — ответил Маховец. — И запомни: не вы, а мы, понял? И ты с нами. И будешь делать, что я скажу. Сережа, иди с дяденькой и собери урожай.

— Я помогу, — вызвался Притулов.

— Помоги, помоги. Народ! — громко сказал Маховец пассажирам. — Мы хотим покушать. И выпить, если у кого найдется. Поделитесь по-христиански! А не поделитесь, все

равно возьмем. Так что вы сами приготовьте, чтобы вас не шмонать.

— А сами голодными будем? — сердито спросила Любовь Яковлевна. — У меня дочь больная!

— Так не всё же! — утешил ее Маховец. — Я же говорю: поделиться, а не отдать!

Елена резким жестом достала из сумки пакет кефира и булочку — единственное, что у нее было из еды, — и швырнула на кресло рядом с собой.

Это подсказало другим схему действий: доставали имевшиеся продукты и клали на свободные сиденья. Личкин собирал торопливо, поглядывая по сторонам, будто чего-то опасался, Притулов брал спокойно, как свое, а Федоров пробирался боком (чтобы не видеть хотя бы половину пассажиров), и вид у него был если не виноватый, то минимально заинтересованный, с намеком: мне это ни к чему, но обстоятельства вынуждают. Когда он оказался возле Куркова, тот торопливо и заговорщицки шепнул:

— Это бессмысленно, вы понимаете?

Федоров промолчал.

Это, наверное, убедило Куркова, что перед ним возможный союзник.

— Возьмите у него автомат, — сказал он нагибаясь и будто поднимая что-то с пола, — а мы поможем.

— Ты за других не говори! — вдруг раздался громкий голос Тепчилина, который сидел сзади Куркова. — Я еще жить хочу! Пусть люди доедут спокойно!

— Что такое? — тут же насторожился и подошел Маховец.

— Да ерунду предлагает! — обиженным голосом сказал Тепчилин (он обижался на вероятный ущерб себе, своему здоровью и самой жизни). — Отнимем, говорит, автомат! Стрельбы нам еще тут не хватало!

— Это ты предлагал? — спросил Маховец Куркова.

Художник смотрел перед собой, не считая нужным отвечать.

А Федоров медленно пошел вперед с набранными продуктами. Да, предложение поступило, но он ни при чем — он ничего не ответил.

Проводив его взглядом, Маховец отвел руку и кулаком, с маху, ударил Куркова по лицу.

Лыткарева запричитала:

— Ой, ой, ой, что вы делаете? Ох, беда, беда!

Нина вскрикнула.

Желдаков непроизвольно выругался.

Ваня Елшин с трудом сглотнул нервную слюну.

Если до этого нападение на милиционера было неожиданным и поэтому его никто толком не успел осознать, если дальнейшие события были хоть и насилием, но относительно мирным, то теперь всем вдруг стало ясно, что шуток не будет. Очень уж жестоким, хлестким, звучным был удар Маховца. И голова Куркова мотнулась, как неживая, и кровь сразу потекла из носа и изо рта.

Маховец на это и рассчитывал. Он мог ткнуть художника, как Федорова, рукой или стволом автомата, но многолетняя практика тюремных и вольных драк научила его: удар, адресуемый не только ударяемому, но и другим для поучения и острастки, должен быть явным, эффективным, с кровью.

— Вы урод! — закричала Наталья, прижимая к себе голову Куркова (этим делая ему только больнее).

— Да конечно же, урод! — весело закричал Маховец. — Я же и хочу, чтобы вы поняли, граждане пассажиры! Я урод — и все мы тут уроды! И поэтому не надо пробовать ничего! Я ведь и отстреливать начну! Или не верите? Кто не верит?

Маховец оглядел всех и понял, что верят все.

— Ну? — спросил он Куркова. — Ты тоже понял меня или ударить тебя? И скажи бабе своей, чтобы молчала!

— Я не баба! — закричала Наталья. — Стреляй, гад!

— Да молчи ты, в самом деле! — рявкнул на нее Курков. — Тебе надо их дразнить?

— Вот именно, — поддержал Маховец. — Не дразни нас. А ты, бородатый, — посоветовал он Куркову, — больше не шепчись.

## Липовцы

Через Липовцы проехали быстро, при этом захватчики внимательно смотрели на пассажиров, чтобы те не вздумали открывать занавески и кому-нибудь сигналить.

И лишь когда выехали, решили перекусить.

## Липовцы — Драницы

Добыча оказалась не обильной, но сносной: кроме кефира и булочки Елены, были тут копченая колбаса, хлеб, конфеты, йогурты, всякие газировки и напитки и прочее по мелочам — сигареты, в частности. На радость беглецам нашлась водка — у Мельчука, нашлись две бутылки пива — у Куркова (тот взял их на случай, если Наталье будет совсем плохо и она начнет просить), еще пиво и бутылка водки оказались у Желдакова, а Тепчилин вез жене бутылку вина, которую ему презентовал месяц назад сосед, сам он вина не пил.

— Тормозни, иди сюда, закусим, — пригласил Маховец Петра по милицейской рации. И приказал Козыреву: — Остановись и отсядь от руля пока. Мы без тряски покушать хотим. И вы тоже покушайте! — предложил он пассажирам.

Но аппетита ни у кого не возникло.

Димон свернул закрутку и задымил.

— В автобусе не курят! — сердито сказала ему Нина.

— А куда мне деваться, если не выпускают?

Закурили и другие, кто были курящие, автобус напол-

нился дымом, чему Димон был рад — не учуют, что у его дыма особый запах.

— Плохо вытяжка работает, командир, — укорил При тулов Козырева.

— Движения нет, вот и не работает. Можно форточки открыть.

— Ага, — согласился Маховец. — Стоит автобус, написано, что дети, а из окон дым идет. Ничего, потерпим. Лучше стаканы дай, если есть.

Козырев дал им упаковку одноразовых пластиковых стаканчиков.

Петру хотелось выпить, но он никогда не пил за рулем. Поэтому, чтобы избежать соблазна, взял кое-что из еды и пошел из автобуса.

— Стоять опасно, на ходу покусую, — сказал он. И предупредил Козырева: — Не отставай.

— Куда я денусь? — хмуро ответил Козырев, садясь обратно за руль.

Он чувствовал себя очень скверно. Не раз приходилось ему в жизни ходить под чьим-то началом, быть в каком-то смысле подневольным человеком, но в таком положении, когда полностью зависишь от кого-то, он никогда не оказывался.

И это возмущало его свободную от природы душу.

Пассажирам было не лучше.

Елена понимала, что, выпив и закусив, преступники могут захотеть того, чего мужчинам обычно хочется, когда они сыты и пьяны. Она с омерзением об этом думала. Защититься нечем — разве что маникюрными ножницами. Но и они тоже оружие. Елена не выдержит, не стерпит. Она и нормальных-то мужчин давно к себе на подпускает (нормальных — условно, по сравнению с этими), а представить,

что полезет кто-то из них... Выхвачу ножницы и выколю глаза, решила Елена. И пусть убивают.

Любовь Яковлевна думала о том, как быстро в жизни все меняется. Когда умер муж, казалось, не будет горя больше, а — затерлось, зажилось, ушло в прошлое, почти не болит. Когда дочка выяснилась душой с последующим абортom, с беспокойством за нее теперешнюю и за нее будущую (и это жгло в мозгу, как язва) думалось, что не может быть горя и боли острее — а теперь и аборт ее (который, может, зря и сделали-то), и все, что с нею произошло, кажется житейским пустяком, почти мелочью по сравнению с тем страхом, в котором они оказались. Убьют же, паразиты, и не почешутся. Или изнасилуют всех подряд. Они там оголодали в тюрьме, вон как жрут и пьют. И терять им нечего. Ужас — и непонятно что делать!

Арина же, как ни странно, почти не боялась. Такая у нее особенность — она всегда словно не вполне понимала, что с нею и вокруг происходит. В школе учителя ругали, а она не могла в толк взять, за что. Как может, так и учится. Или с беременностью этой... Сошлись компанией, выпили, и она выпила, почему не выпить, если все пьют? Потом Аньку ее парень повел в одну комнату (на даче дело было), Ольгу повел другой, а третий повел ее, Арину, в мансарду. Нормальное же дело, они парни, мы девушки. В первый раз должно когда-то это случиться. Это не плохо, не хорошо, а жизнь так устроена, рассуждала Арина, вернее, даже не рассуждала, а чувствовала всем существом. Во время близости не испытала ни особой боли, ни особой радости. Встречалась еще потом с Геней раз пять — не потому, что влюбилась или хотелось удовольствия, а просто: есть у всех парни, вот и у нее теперь парень. И родить собира-

лась по той же причине: женщина беременеет, значит, надо родить, потому что — почему бы и нет? Арина не видела в этом ни греха, ни достоинства, а только порядок вещей, какую-то извечную необходимость, которой она не вправе распоряжаться, поэтому сердилась на мать, когда та решила вмешаться. Но послушалась ее. И теперь отчасти злорадствует: ты этого хотела, так получи неприятность! Арина восприняла нападение преступников как следствие того, что произошло. Не настояла бы мать на аборте — не поехали бы в Москву. Не поехали бы в Москву — не оказались бы в этом автобусе. Вот пусть она в следующий раз и подумает, надо ли вмешиваться в то, что идет само по себе!

Мельчук чувствовал себя униженным. Не так уж долго ехать до Шумеек, выйти бы там, как всегда, пойти по лесу, а — не дадут, не выпустят. Илья Сергеевич принадлежал к категории тех людей, кто распоряжается, а не выполняет распоряжения (только если свыше, от начальства), поэтому ему было вдвойне противно. К тому же, он помнил о ружье, лежащем над ним на багажной полке. Они пока не обратили на него внимания, но могут обратить. И у них будет два ствола. А если — вскочить, схватить, пальнуть? И — свободен. И другие тоже. Мысль глупая, не успеет. Пока вскочишь, пока расчехлишь, да еще и магазин с патронами надо вставить, он всегда у него отдельно...

Наталья и жалела Куркова, и была на него обижена: утаил от нее пиво... Будто она алкоголичка какая-то. А выпить сейчас не мешало бы — просто чтобы уменьшить напряжение, потому что и страшно, и стыдно бояться этих сволочей. Стыдно уже потому, что ты заведомо выше их, умнее, образованнее, талантливее, а они...

А Курков мучился: болела щека, болел зуб, почти вышибленный ударом Маховца, болела душа. Одна из любимых тем Леонида в разговорах с друзьями-художниками была — экспансия быдла, толпы и тех подлецов, которые с радостью делают быдло еще быдлее, а толпу еще толпее. Он всегда твердил о необходимости сопротивляться моде, не подчиняться ей хотя бы в тех вещах, что делаешь для себя. Да, он тоже выбрасывает на рынок китч — но китч издевательский, пародию на китч, он смеется, что его принимают за чистую монету и покупают. Но вот однажды один губернский босс, мерзавец, о котором все знали, что он мерзавец — и Курков об этом неоднократно публично говорил, — попытался заказать Леониду, одному из лучших портретистов города, свое изображение. За хорошие деньги. Курков отказался. Мерзавец не понял и увеличил гонорар вдвое. Курков все равно отказался и объяснил друзьям, удивлявшимся его упорству: «Важно понимать о себе, что есть хотя бы некоторые вещи, которые не сделаешь ни за какие деньги!» И очень гордился этой фразой, неоднократно ее повторял, и она его подвигла на несколько других очень принципиальных и совестливых поступков, он даже на время отказался поставлять гламурные картинки базарным торговцам. Курков чувствовал, что меняется в лучшую сторону, — и вот это быдло, хамло, это плебейское, почти животное мурло бьет его по хारे, по морде, по физиономии, делая его тоже быдлом, и он — что? Да ничего. Утерся.

Но пусть только попробуют еще хоть пальцем тронуть. Курков еще не знал, что он сделает, но был уверен — не смолчит и не утерется.

— Леня, у тебя еще есть? — спросила Наталья.

Курков хотел рассердиться на нее, но подумал, что и самому не помешает хоть немного расслабиться.

Он достал третью бутылку — не скрываясь, почти демонстративно, приставил ее пробкой к металлической окантовке панели столика, вделанного в спинку переднего кресла и сейчас закрытого, резко ударил кулаком (тоже почти демонстративно, но пирующие негодяи не обратили внимания), отпил несколько глотков и передал Наталье. Она тоже приложилась. Курков неожиданно подумал, что если губы их давно уже не соприкасались, то хоть вот так — через горлышко бутылки...

Тепчилин хотел домой, к Варе. Только бы не вздумал никто поднимать сейчас бунт — выйдет боком. Тепчилин человек грамотный, учил в школе физику и помнит, что действие равно противодействию, поэтому лучше не провоцировать. А еще он всегда знал, что не надо связываться с дураками: им ничего не докажешь. Дураков же в этом мире повальное большинство, поэтому Тепчилин ни с кем не связывался, подразумевая дураком каждого. А еще гадко сосало под ложечкой, думалось о желудочной язве, о возможном приступе, который сейчас совсем ни к чему — и без него худо. Если уж быть в заложниках, то здоровым, сделал Тепчилин неожиданный, но логичный вывод, из которого еще логичнее следовало, что быть раненым или даже убитым, если до этого дойдет, тоже лучше в состоянии здоровья.

Старуха Лыткарева, глядя на преступников, думала: вот с кем приходится общаться ее доброму и мягкому Валере, вот кто его гнет, подбивает на гадости, вот кого пришлось убить ее смирному сыну — наверное, ради защиты. И за это его судить? Да благодарность ему вынести, что одним гадом стало меньше! И вообще, тюрьма для настоящих преступников (не таких, как ее Валера, попавших случайно, как попадают в бе-

ду, а закоренелых) — одно баловство. Стрелять их надо без суда и следствия. Стреляли бы — не напали бы они сейчас, не жрали бы чужую еду, не наводили бы страх на людей...

Димон, изрядно покураживший, совсем перестал бояться. Он угадал в свертке Мельчука ружье и сейчас выстраивал план, как оказать сопротивление. Подговорить кого-то выбить из рук главного бандита автомат, повалить его. Пока тот будет вырываться, схватить ружье и — бац, бац, бац. Меткими выстрелами наповал их всех. В милиции Димону дадут грамоту и разрешение на бесплатный проезд. А также удостоверение внештатного сотрудника, которое запрещает его обыскивать. Оно же разрешает беспрепятственно проникать в любые притоны. Дилеры будут откупаться, но он денег не возьмет. Он возьмет натурой... Составляя свой план, Димон не собирался выполнять его. Чем хороша благодать, которую несведущие люди называют «дурью»? Тем, что воображаемые действия переживаются настолько реально, что нет никакой необходимости совершать их. Обычный, заурядный человек лежит на диване и думает: надо пойти и сделать то-то и то-то. Идет, делает — и что? А то самое — возвращается опять на исходную позицию, на диван! Человек же с расширенным сознанием может не вставать с дивана, минуя промежуточный примитивный этап, получая результат сразу и непосредственно.

Вика и Тихон, сидя довольно далеко от преступников, шептались, по очереди принося губами к ушам друг друга.

— Тут у меня написано: при аварии вытащить шнур, выдавить стекло, — сообщила Вика, кивая на окно.

Украдкой глянув на эту надпись, Тихон ответил:

— На ходу выскакивать? Не сможем. И пока будем тащить и выдавливать, сто раз заметят.

- А что делать?
- Подождем, посмотрим.
- Боишься?
- Более-менее.
- А не надо было из дома убежать.
- Я не жалею.
- Ты не храбрись, ты думай, как отсюда выбраться!

Но Тихон не мог об этом думать. Ухо Вики рядом, он шепчет в него — и это, оказывается, интимней и даже, возможно, приятней, чем целоваться. Потому что целоваться — это, как бы сказать, страсть, охота, а так вот шептаться — доверительность. И еще Тихон думал, что у него есть редкий шанс защитить Вику. Это гады могут пристать к ней. А он будет драться. Конечно, его избыют, но убить не посмеют. Зачем им новые преступления? Они вон даже милиционера не убили, а только связали. Это обнадеживает.

Нина была вне себя: ей не позволили поговорить с отцом. Но одновременно что-то мешало ей воспринимать происходящее как безусловное. Казалось, сейчас эти люди рассмеются и скажут, что они пошутили, разыграли всех. Потому что такие сюжеты разворачиваются только в книгах, в действительности Нина с ними не сталкивалась и сомневалась, что они возможны. А в книгах всегда находится какой-то выход, хотя там действуют негодяи почище этих. И говорят грубее, злее. Обязательно кто-то что-то «процедит», другой «ослабится», третий «рявкнет»... Эти же не cedят, не склабятя и не рявкают. Ударили, правда, человека, но как-то просто ударили, скучно и глупо. Надо переждать, подумала Нина. Все должно решиться само собой. Надо ждать, перелистывая минуты так, как перелистываешь страницы книги. Вспомнив о книге, она решила читать дальше и этим успокоить себя.

*Иногда Дафне казалось, что Стив зрячий, а она нет. Например, они шли по улице и Стив говорил:*

*— Какие замечательные цветы!*

*— Где?*

*Дафна оглядывалась и только сейчас замечала уличного торговца цветами, мимо которого прошла, не обратив на него внимания. А Стив сориентировался по запаху, остальное же вообразил. Или он восторгался:*

*— Какое сегодня голубое небо!*

*Дафна поднимала голову и, действительно, видело небо ослепительной голубизны.*

*— Как ты узнал? — спрашивала она.*

*— Я чувствую это по состоянию воздуха.*

*Дафне хотелось понять, что ощущает Стив, поэтому она в ближайший уик-энд устроила себе эксперимент: закрыла все шторы в квартире, завязала себе глаза и ходила, осязая вещи на ощупь. За полчаса она набила себе множество шишек и синяков, но вскоре с удивлением поняла, что ориентируется все уверенней, даже может иногда оторвать руку от стены, зная, что тут — дверь, тут — диван, а тут — ваза с цветами.*

*Она поймала себя на мысли, что, пожалуй, не отказалась бы стать слепой, лишь бы Стив любил ее. И, может быть, любовь их даже станет сильнее оттого, что они будут находиться в одном пространстве, на равных. Она заси-  
яет в темноте!*

Дура, подумала Нина о героине и закрыла книгу. Но тут же опять открыла. Делать все равно нечего, если не читать, придется жить происходящим, а этого ей не хотелось. К тому же, глупость героини да и самой книги — еще не повод, чтобы не получать от текста удовольствия. Читая дурацкий текст, человек чувствует себя умным, сложные же книги,

чересчур художественные, чрезмерно психологичные и излишне стилистические дают тебе понять, как ты не развит и не умен, а это мало кому нравится. Вот в чем причина того, что популярны именно дурацкие, а не умные книги. Хорошие книги вообще редко имеют успех, знала прилежная читательница Нина, а если имеют, значит, в них какая-то хитрость, которую читатель не видит и считает себя умным несмотря на то, что книга умнее его.

Желдаков был слегка смущен. Он, мужчина крупный, сильный, наглый в разумных пределах, чувствовал себя в этом автобусе чем-то вроде царя горы, пока работяги не превратились в захватчиков, в тюремных рецидивистов. И теперь он вместе с остальными пассажирами — жертва. В этом есть какая-то несправедливость. Желдаков, хоть и не ощущал себя потенциальным преступником — уже потому, что с преступлениями связано слишком много неудобств и хлопот, — все-таки тайно уважал грабителей, воров и аферистов: считал их людьми смелыми; они плюют на общество и его законы, и это Желдакову близко, он сам ни в грош не ставит общество, а законы таковы, что дунь — и отлетают, как пух. Нет у них ни защитников, ни ревнителей, держатся они только на слабости и трусости людей, которым лень или боязно эти законы нарушать.

И Желдаков не столько боялся, хотя боялся, конечно, понимая опасность положения, сколько досадовал, что оказался в роли жертвы, не являясь жертвой.

А Ваня Елшин — боялся. Презирал себя, негодовал на себя, но чувствовал страх даже физически — спазмами в животе, перехватами дыхания, биением сердца. Неужели я такой тепличный? — с укоризной думал он о себе. Неужели мое сознание так легко переключается?

Ваня ведь несколько минут назад был влюблен или почти влюблен. Это с ним не первый раз — он мог, мельком увидев красавицу в пролетающем автомобиле, симпатичную продавщицу, просто девушку на улице, думать о ней неделями, вспоминать, жарко мечтать, представлять и проигрывать варианты. Вот и сейчас — только увидел входившую в автобус Вику, тут же затосковал, заметался глазами и душой, замечтал, зафантазировал. Потом появился ее парень. Ваня и не сомневался, что так будет: он влюбляется как раз в чужих и недоступных. Есть же в автобусе еще красавица, причем красавица несомненная, зрелая и при этом свободная, но Ваня ее появление воспринял равнодушно, оценив ее красоту спокойным посторонним взглядом. И та девушка, что с матерью, тоже, в принципе, ничего. Нет, обязательно влюбиться в ту, к кому нельзя даже подойти. Обидно.

И тут Ваня вдруг понял, что боится не напавших преступников, а себя. Боится, что, когда они станут бесчинствовать дальше, в чем Ваня почти не сомневался, он не выдержит, не сможет остаться в стороне, ввяжется — и ввяжется робко, трусливо, и все это увидят... Вот от этого предчувствия и дрожит все в теле, от этого заранее тошно. У него ведь впереди учеба, творчество, слава. Неужели он будет этим рисковать неизвестно ради чего? Из-за девушки — да, стоит, она его оценит, но зачем Ване ее оценка, если он будет к тому времени мертвым, что не исключено?

Странно, очень странно было Ване. Словно где-то на войне он лежит перед наступающими вражескими танками и боится, причем уверен, что боится больше всех, но все или почти все могут убежать, а он почему-то — не может.

И тут Ваня обратил внимание, что милиционер, лежавший в скрюченной позе внизу, на ступеньках, кивает ему, на что-то показывает, скосив глаза.

Ваня посмотрел и увидел рядом с дверью красную кнопку, помещенную в застекленную коробочку, и надпись: «EMERGENCY DOOR OPENER».

Что предлагает этот милиционер? Разбить стекло, нажать на кнопку? Дверь откроется — возможно, а возможно и нет, потому что не факт, что в отечественных автобусах такая кнопка работает. То есть автобус не отечественный, но ходит-то он по нашим маршрутам, а у нас всякие мудреные штучки выводят из строя заранее, чтобы не вывели из строя пассажиры или не воспользовались, когда не надо.

Милиционер закивал активнее, зашевелил плечами.

Он хотел этим сказать: не хочешь сам нажимать кнопку, приподними меня, я изловчусь, разобью стекло лбом или носом, нажму на кнопку, дверь откроется, я выкачусь и...

Милиционер Сергей Коротеев не знал, что будет потом. Может, расшибется о землю. Но, может, и уцелеет. Убежит в лес, оторвется от преследователей, потом наткнется на какой-нибудь населенный пункт. Главное — оказаться на свободе любой ценой, исчезнуть из автобуса, из того места, где он был опозорен, где попался, как первогодок, — скорее всего потому, что никак не ожидал попасться. Сергей служит уже восьмой год, но ничего подобного с ним не случилось. Были служебные приключения, были задержания, стычки, два раза приходилось стрелять — один раз по колесам угоняемой машины, другой раз в темном переулке, в человека с ножом. Попал удачно, в руку, человека не убил, но обезвредил. Но вот так беспощадно, лицом к лицу с преступниками, да еще сразу же оказавшись беспомощным — не доводилось.

А мальчишка трусит, не хочет помочь. Должен же сообразить, что если он, Сергей, убежит, то у пассажиров есть

шанс, а если останется в таком положении, может произойти что угодно. И Сергей продолжал сигнализировать глазами.

Ваня посмотрел на него, потом на бандитов.

И встретился глазами с Притуловым, который, как оказалось, в этот момент наблюдал за ним. Ваня тут же неосторожно метнул взгляд на милиционера, что Притулов тоже заметил.

Встал, подошел. Осмотрелся, увидел кнопку, все понял.

— Командир, у тебя аварийная кнопка работает?

— Нет, — ответил Козырев.

— Я проверю!

— Проверь.

Притулов, встав на сиденье, каблуком разбил стекло коробочки, потом ткнул в кнопку.

Не сработало.

— Что, родимый? — спросил он Сергея. — Мечтаем? Не надо мечтать. И тебе тоже, — обратился он к Ване.

И пошел обратно, по пути задев плечо Арины, отчего та заметно вздрогнула.

Притулов усмехнулся.

## Драницы — Мокша

Ему было заранее хорошо. Знакомое предчувствие радости. И, конечно, праведного гнева. Он не знал, как это сосуществует в его душе, да и не очень над этим задумывался — радость, доходящая до восторга, и одновременно гнев, доходящий до ярости. Ради этого он жил, этого его лишили, но сегодня он обязательно наверстает. Семь женщин в автобусе, целых семь, и все они — женщины! Притулов не делил, как некоторые, особой женского пола на молодых и старых, красивых и некрасивых. Само существование женщины на земле — провокация. Читая какую-то книгу, Притулов наткнулся на слова, подтверждающие его давнишние мысли. Он запомнил их накрепко, так как имел фотографическую память — поэтому, кстати, четко помнил всех, от кого избавил этот мир. Слова такие: «Что есть жена? Сеть прельщения человеком. Светла лицом, и высокими очами мигающая, ногами играющая, много тем уязвляющая, и огонь лютый в членах возгорающая. Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола!»

Радость Притулова все разгоралась и разгоралась, поэтому он даже не очень рассердился, когда раскрыл беспомощную попытку милиционера бежать.

— Молодец, Евгений! — похвалил его Маховец. — Опытный ты человек, я смотрю. За что пострадал?

— За характер, — уклончиво ответил Притулов.

Маховцу ответ понравился, он рассмеялся.

— Наш человек! А ты куксишься, кипиталист! — он хлопнул по плечу Федорова, зная, что ему это не понравится. И слово «капиталист», без того поганое, он нарочно испортил — дразнил.

Федоров скривился.

— А ты за что, Сережа? — спросил Маховец Личкина.

— За убийство, — солидно ответил Личкин.

— Неужто? Кто бы подумал! Тоже на пересуд везли?

— Да.

— Всех, я смотрю, на пересуд, — вывел Маховец. — А чего ждать? Мы и тут пересуд устроим.

— Это как? — с любопытством спросил Притулов.

Маховец, не объясняя, встал и обратился к пассажирам.

— Граждане присяжные! — и умолк, ожидая вопроса. Вопросы не поступило. — Что, никому не интересно, почему вы присяжные? Ладно. У нас тут такое дело, мы сейчас устроим пересуд. А вы будете, как в суде, присяжные. Мы грустим, граждане, мы тоскуем! Вот вы нас или приговорите, или освободите. Как решите, так и будет. А мы вам — всю правду. Годится?

Пассажиры молчали, не понимая, какую забаву им предлагают.

— Кто начнет? — спросил Маховец.

— Ты уже начал, — откликнулся Притулов.

— Да? Ну, ладно. Значит, так, граждане заседатели и судьи, — приступил Маховец к рассказу, подпуская для смеха в

голос некоторую как бы жалобность, интонацию несправедливо обиженного человека. — Что указывает нам наш жестокий, но справедливый уголовный кодекс? Он указывает, что надо учитывать смягчающие обстоятельства и личность подсудимого. А вы не учили, когда в прошлый раз разбирались!

— Это не мы разбирались, — не выдержала Елена.

— Не мешайте, девушка, — попросил Маховец, прижав руки к груди. И продолжил: — Мое смягчающее обстоятельство — это вся моя жизнь! Папа мой был алкоголик и воспитывал меня кулаками. Хотелось мне ответить или нет? Хотелось. Но я не мог. Потому что — папа. И я отвечал другим. Но кто виноват, я или папа? Я виноват, согласен. Но папа тоже виноват, граждане присяжные! Почему ему от моих двенадцати не отломить годика хотя бы два? Он умер? Так мы ему посмертно! Награждать посмертно, можно, а осуждать нельзя? Несправедливо! Пойдем дальше. Мама моя была хорошая женщина. Но она была без образования, даже среднего. А могла бы получить. И могла бы меня тоже приучить к образованию, а не могла, потому что ничего в этом не понимала. И я в результате ее примера тоже бросил школу. Надо ей хотя бы полгодика дать за это? А? Я спрашиваю...

— Надо! — отозвался Желдаков — не подличая, а поддерживая юмор, который вполне разделял. Но перестарался — Маховец это принял как издевку.

— А тебя спрашивали?

Он медленно пошел к Желдакову. Все замерли, Желдаков напрягся.

— Ну, я просто... Нет, но ты же спросил!

— Если я спросил, это ничего для тебя не значит! Другие есть умные ответить! Ловкий ты — моей маме полгода давать, сволочь! А своей сколько дашь? А? Дашь своей маме года два тюрьмы? Она живая у тебя?

— Нет...

— Неважно! Дашь или нет?

— Ладно, я же пошутил...

— Сказал бы я тебе, если б не женщины! Даю твоей маме два года — согласен? Согласен?

Маховец стоял совсем близко. Желдаков понимал, что если он не согласится, тот ударит. Но и трогать память матери не хотелось.

— Ты лучше дальше расскажи, — ответил он примирительно.

— Согласен или нет?

И тут Желдаков придумал ответ:

— Да ладно, не жалко, ей все равно не сидеть, она лежит уже!

Маховец глядел на Желдакова в упор.

Вот-вот — и...

Но он вдруг улыбнулся.

— Хитрый, зараза! Ну, живи пока!

Он вернулся на прежнее место.

— На чем мы остановились? На маме. Маме полгодика, папе два, вот уже девять с половиной осталось. Едем дальше. Три эпизода мне вменяют, а теперь еще навесить хотят. За что? За три убийства при ограблении. Разберемся. Начет первого сначала. Не хотел я этого человека убивать. И грабить не хотел. Я шел по улице, граждане заседатели. Вечером. А он шел из ресторана пьяный. Если вы скажете, что напиваться — это нормально, я соглашусь. Скажете?

Никто не сказал.

— Вот! Все знают, что напиваться ненормально. Теперь вопрос: что сделать с человеком, который позволил совершить убийство на его глазах? Который не остановил преступную руку?

— Ты кого-то при нем, что ли, шпокнул? — поинтересовался Притулов.

— А как же! Его самого и шпокнул! Идет, понимаете, в дорогом костюме, пьяный. Я ему: товарищ! Это в советское время еще было, все были товарищи. Товарищ, дайте закурить. Я вежливо обратился. А он меня обозвал матом. Статья первая административного кодекса, между прочим. Считаем! — Маховец начал загибать пальцы. — Напился — раз! Матом обозвал — два! Не оказал противодействия преступлению — три! Сколько ему за это?

— Год! — выкрикнул Личкин.

— Мало, — не согласился Маховец, но тут же передумал: — Ладно, год. Итого, минус еще год из моего срока, получается восемь с половиной. Пошли дальше. Затянули меня плохие дружки в историю. Пойдем, говорят, к одному барыге, к спекулянту, к фарцовщику, тоже в советское время было, пойдем, говорят, в гости. Ну, пришли. А он не радуется. Несправедливо? У нас что на лозунгах было написано? Человек человеку! Ну ладно, мы стерпели. Он не радуется, но выпивку поставил. Мы выпивку выпили и говорим: еще хочется. А он говорит: идите куда подальше и там пейте. Мы не против, но просим взаймы денег. А он говорит — нету! Пришлось посмотреть. И что оказалось? Какое там нету, еще как есть! Не только на выпивку, а на все, что хочешь! Три тысячи рублей у него нашли! А он начал на нас бросаться. Вазу хрустальную схватил. Ну, я его в порядке самообороны этой вазой... Виноват? Не отрицаю, но смотрите сами. — Маховец опять начал загибать пальцы. — Если бы он не спекулировал, мы бы к нему не пришли, это раз. Если бы он нам сам денег дал, мы бы ушли, это два. И если бы он сам не напал, я бы его не тронул. Что получается? Ему за спекуляцию, за жадность, за нападение надо срок навесить или нет?

— Надо! — приговорил Притулов.

— Еще как! Три с половиной года ему для ровного счета! И остается у меня восемь с половиной минус три с половиной — пять!

В этот момент Козырев посмотрел на свое лицо в зеркало и увидел заинтересованность и любопытство. То есть, он невольно заслушался историей, забыв, кто рассказывает. Такое своеволие собственного ума Козырева обидело, даже оскорбило, он сделался мрачным и стал смотреть прямо на дорогу, стараясь не слушать разглагольствования Маховца. Но получалось не вполне.

— Третий эпизод — это вообще смешно, граждане заседатели. — Там даже ограбления не было. То есть оно было, но по факту убийства. Никого я не собирался грабить, а сидел и нормально выпивал. А в ресторан пришел прапорщик с женщиной. С такой, сами понимаете. Я ее пригласил танцевать, она пошла. Прапорщик обиделся, повел меня на улицу. С хулиганскими намерениями. Что мне было делать? Я его обезвредил. Он упал. А вокруг же люди ходят. А люди — это кто? Это те же преступники, но которые не совершили преступления! То есть он честный человек — ну, там, слесарь или кандидат наук. Он идет и не хочет никакого преступления. Но вдруг перед ним лежит мертвый прапор. И он может захотеть снять с него форму с ущербом для советской армии и забрать у него все деньги. Чтобы этого не допустить, я сам раздел прапорщика, а потом обнаружил в нем, то есть в его форме, сумасшедшие деньги. И мне зачислили грабеж. За что? Если бы я его выслеживал в гостинице, увидел, что он с наличными деньгами приехал на покупку, кстати, нелегальную, автомобиля для своего командира, он деньги в номере побоялся оставить, пошел с ними, но я же этого не делал, в номер не лез, не следил за ним. А проститутка эта, извините? Короче, что я его убил, он сам виноват, а что я его ограбил, он тоже виноват, потому что не было бы денег и грабить было бы нечего. Поэтому проститутке — полгода, прапорщику за нелегальную покупку, провокацию убийства и ограбления — как минимум, два.

— Все равно у тебя два с половиной остается, — посчитал Притулов.

— А ты не спеши! Теперь мне еще один эпизод присваивают! Нашли, видите ли, тело моей бывшей сожительницы. Мертвая закопана оказалась в своем собственном саду на даче. Но доказательств нет, граждане присяжные! Следов преступления нет, кроме пролома на голове, а кто пролом сделал, неизвестно! У нее там не один я был, так что — предъявите экспертизу! Нет экспертизы — нет доказательств. Но вам, граждане присяжные, я признаюсь. Между нами. Да, убил. Но почему? Вот смотрите сами. Она же со мной жила, и она же мне вдруг вечером один раз говорит: ты животное!

— И вы обиделись? — догадался Личкин, которого несколько месяцев тюрьмы еще не отучили называть старших на вы.

— Я? Да ни за что! Животное не хуже человека, а даже лучше!

— Согласен! — поддержал Притулов.

— Животные разные бывают! Лев — животное, тигр — животное! Орел!

— Орел не животное, а птица, — заметил Личкин.

— Иди учись опять в школе! — возразил Маховец. — Все, что живое, называется — животные! Короче, ничего обидного. Но животные — они же не знают жалости! Поэтому я ее спрашиваю: я точно животное? Она говорит: точно. Я говорю: тогда я тебя могу убить, потому что животное ничего не понимает, для него убить не грех, а просто жрать охота. Жрать я тебя не буду, хотя ты жирненькая, а убью запросто. Потому что, раз ты меня животным считаешь, ты мне сама разрешила фактически тебя убить. Тут она начинает брать свои слова обратно.

— Бабы — они такие, — кивнул Притулов.

— А я говорю — нет, поздно, раз я животное, то и буду вести себя, как животное. Ну и повел. Теперь вопрос, граждане присяжные: если животное, лев или тигр, убивает, его разве судят? Это абсурд! — воскликнул Маховец, хвастаясь редким словом.

Вдруг послышалось:

— Их стреляют!

— Чего такое? — не поверил Маховец.

— Их стреляют! — твердо повторила Наталья, выпрямившись спиной.

Она, подкрепившись пивом, почувствовала себя гораздо лучше — у нее всегда это бывало с первыми глотками любого спиртного напитка, даже самого слабого. Первый хмель, длящийся минут десять-пятнадцать, был вообще самым приятным, на нем бы и остановиться, однако Наталья, как правило, продолжала и, по мере продолжения, сначала даже словно трезвела, становилась активной, бурной, энергичной, а потом резко пьянела, но прекратить уже не могла — пока не упадет.

Маховец подошел к ним — к Наталье с Курковым — и сказал Леониду:

— Ну-ка отсыдь.

— Слушай, женщина нервничает, естественно, она... — начал было объяснять Курков, но Маховец схватил его за шиворот и потащил в проход, там повалил на пол, а сам уселся рядом с Натальей, поставив на Куркова ногу и направив на него автомат.

— Значит, расстрелять меня надо? — улыбнулся он Наталье.

— Вы спросили про животных. Я про них и сказала. — Наталья не хотела показать, что боится, ответила довольно твердо, хотя голос все-таки дрогнул.

— Нет, женщина, вы не надо! Вы меня имели в виду!

— А хоть бы и так! Потому что я... Потому что так нельзя! Вы сбежали откуда-то, вам надо уехать, ну, и езжайте, а люди при чем? Что вы над нами-то издеваетесь? Если не хотите или не можете нас отпустить, то хотя бы относитесь по-человечески! А вы тут цирк устроили! — выкрикивала Наталья не в глаза близко сидящему Маховцу, это было слишком неудобно, почти смешно — на таком расстоянии не кричат, она кричала наискосок, обращаясь не только к Маховцу, а к его товарищам. И к пассажирам.

— Вот именно! — послышался голос сзади.

Это крикнул Ваня.

— В самом деле! — присоединилась и Любовь Яковлевна, всегда готовая поддержать справедливость, если получала сигнал извне.

— А взрослые мужики! — укорил Мельчук, постаравшись, чтобы в его укоризне не было ничего обидного.

— Действительно! — добавила Вика.

— Как будто их трогают! — тонко крикнула Нина.

Тут все или почти все, но преимущественно женщины, которые в таких ситуациях смелее, потому что считают, что их не тронут, загомонили, заговорили, возмущаясь и обвиняя.

Но тут же смолкли — как только Маховец встал.

— Молчать! — снисходительно приказал он.

И вернулся к друзьям, а Курков сел на место, отряхиваясь и мысленно оправдывая себя тем, что под дулом автомата не очень-то попрыгаешь.

— Продолжим конференцию! — повернулся Маховец к пассажирам. — То есть, наше заседание суда. Никто над вами не издевается, у вас помощи просят! Вот я вам все рассказал по чистой совести. А теперь решайте, оправдать меня или нет? Все в ваших руках!

И Маховец понурил голову. Но тут же поднял ее и посмотрел с такой откровенной злобой, с такой ненавистью,

будто перед ним сидели те, кто испортил ему жизнь и посадил его в тюрьму.

— Но только так, — сказал он. — Если кто проголосует против меня, пусть он объяснит, в чем я виноват. И если он мне это не докажет, тогда я сам буду его судить. Устраивает? А хоть бы и не устраивает, я сказал — так будет. Голосуем — кто за то, чтобы меня оправдать?

Димон первый поднял руку, весело озираясь.

— Жалко вам, что ли? — сказал он, намекая, что это игра, что это понарошку.

И до многих его намек дошел.

Начали подниматься руки.

Но не у всех. Решили вытерпеть и не поддаться Наталья, Курков, Нина, Ваня и Вика с Тихоном. Елена собиралась тоже воздержаться, но решила, что нет смысла и, отвернувшись, чуть приподняла руку — ровно настолько, чтобы видел Маховец и не обратили внимания другие.

— Сколько вас! — удивился Маховец количеству недоброжелателей.

— Все равно большинство за! — крикнул неглупый Димон, подсказывая Маховцу примирительный выход.

Но тот не захотел им воспользоваться. Он начал с конца: подошел к Ване и ударил его кулаком по голове, сверху. Ваня упал, оглушенный. После этого Маховец ударил Нину по щеке. Она заплакала, уткнув лицо в колени, в книгу.

Маховец подошел к Тихону и Вике.

— Ну, ты, хватит! — приподнялся Тихон и тут же получил тычка в живот, отчего согнулся, а отшатнувшуюся Вику Маховец достал рукой издала, мазнув ей ладонью по лицу.

Наталью и Куркова не тронул, решив, что им хорошо досталось в прошлый раз.

— Сволочь! — крикнула Вика. — Мы проголосуем, но это силой, понял?

— Мне не надо силой, — ответил Маховец. — Сейчас поднимем ручки еще раз. Без всякой силы, ясно? Каждый голосует по совести, от души. Кто за мое полное и безоговорочное оправдание, господа присяжные?

На этот раз руки поднялись у всех. Насилие было очевидным и дало поэтому возможность подчиниться без ущерба для совести.

Только Ваня не поднял руки, потому что после удара Маховца остался лежать на полу.

— Э, парень, ты чего? — спросил Желдаков. — Ты не загнулся там?

Он обеспокоился по-настоящему, понимал — если паренек умер, события могут развернуться быстрее и страшнее, и он не успеет придумать, как спастись, не присоединиться к другим жертвам.

— От одного удара не умирают! — успокоил Маховец. Но все же пошел посмотреть, что с пацаном: незапланированных трупов ему не надо, он и в мирной жизни убивал только тех, кого хотел убить.

Маховец приподнял голову Вани, приоткрыл пальцами веко, потом пощупал пульс на шее, на руке.

— Живой, только без сознания.

— Ментовской удар! — запоздало оценил Притулов. — В самое темечко!

— У них и научился! — сказал Маховец. — Ничего, оклемается. Спасибо, граждане присяжные! Не дали погубить мою жизнь!

— И не надоест... — прошептала Наталья.

— Чего?

— Да нет, я так.

— Если так, то ладно, — разрешил Маховец.

Он устал.

## Драницы — Мокша

Эти бараны даже не понимают, как важно ему было сказать то, что обычно не дают сказать на казенном суде, как важно было увидеть их поднятые руки. Пусть он сам это все организовал, не в этом суть. Суть в том, что Маховец действительно считал себя невиновным.

Конечно, все было немного не так, если по форме, но дело не в форме, а в корне. Отец Маховца не был алкоголиком, это он придумал для смеха. Многие придумывают про своих отцов и матерей, но хорошее — Маховец этого никогда не понимал. Какая разница вообще? Родители сами по себе, человек сам по себе. Отца Маховец не помнит, был отчим, который его не бил, но постоянно угнетал, читал нотации, пока Игорь (ему было уже лет пятнадцать), не сказал: «Отвяжись!» — а когда отчим, оскорбленный, потянулся к нему, чтобы схватить за ворот, ударил его по скуле, да так, что вывихнул палец. А мать была... Ну, мать, как мать. Как все матери. Работала, вечером варила суп, в выходные ходила с мужем в гости или принимала гостей, выпивали, пели песни, иногда плясали (тогда еще плясали на праздниках, дробно долбя пятками пол городских квартир

и головы нижних соседей). Игорь пропал после школы и вместо школы на улице. Там была его стихия, там было ему хорошо.

Но еще интереснее Маховцу было бы поведать не о том, за что его осудили, а о другом, более важном.

Вот поздний летний вечер, пацаны сидят на пустыре за домами, в бурьяне, развели костер, пекут в золе картошку, курят, разговаривают. Из темноты вдруг появляется Ляпа, которого все знали, а кто не знал, тот обязательно о нем слышал. Ляпа садится, вынимает изо рта одного из пацанов сигаретку, курит, чмокая губами. Он пьян. Бросает окурок в костер, поднимает голову, оглядывает всех.

— Вот ты! — показывает на Симона (Симонова).

— Чего?

— Того! — передразнивает Ляпа. — Уха моего! Иди сюда, я тебя дрёбну!

— За что? — канючит Симон.

— Дрёбну, потом скажу, — обещает Ляпа.

Симону не хочется, но за Ляпой такая слава, такой авторитет, что сердить его он боится. Подходит.

— Ближе.

Симон делает шаг.

— Ближе.

Симон делает еще шаг.

— Нагнись.

Симон нагибается.

Ляпа резко выбрасывает руку, но Симон отшатывается, рука не достает.

— Сучок! — орет Ляпа. — Убью! Ниже нагнись!

Симон нагибается ниже, получает свою плюху и идет на место.

Спросить, за что, он забывает, а Ляпа тем более забыл, что он собирался ему объяснить.

— Закурить, — говорит Ляпа.

Подают сигаретку.

Ляпа курит и вдруг начинает бессвязно повествовать о том, как он стал главным на «Техстекле» — это район был вокруг одноименного завода. Эту историю все знают, но впервые слышат ее от главного героя.

— Стоим. Зика. Друзья, хоё-моё. Ну, ла-ла, туда-сюда. Он наглет. Зика, ты че? Ну, базар. Все стоят. Он одного, другого. Все молчат. Я говорю: Зика, кончай. Понял? Я говорю: кончай. Все молчат. А я говорю: кончай. Он идет на меня. Ты чё? Я говорю: ничё, мы нормально тут с пацанами. А ты кончай. А то в дребало. Кто, ты? Ну, я. А все молчат, ты понял? — спрашивал Ляпа всех, как одного. — Все молчат. Я понял: или я, или он. Он говорит: ты чё? Ничё, все нормально. Ты тянешь? Нормально всё. Нет, ты тянешь? Ну, тяну. Тянешь? Тут я его дрёбс. Еще. Он упал. По яйцам дрёбс. По роже. Ты понял? Почему? Не надо ждать. Понял? Бей сразу, потом будет поздно. Понял? И все. Где Зика? Я об него окурки вытираю. Понял? Почему? Я сказал: бей сразу, потом будет поздно. Иди сюда, — указал Ляпа теперь на маленького Масю (Масина Лешгу).

— У меня голова болит, — неожиданно ответил Мася, чем рассмешил всю компанию. Но Ляпа не смеялся. Он не понял юмора.

И дал Маса по больной голове.

Потом стал подзывать к себе всех — по очереди.

Наверное, это было смешно: подростки один за другим встают и идут к раздаче зуботычин, ударов по скулам, носам, лбам, под дых — куда захочет попасть пьяная рука Ляпы.

Настал черед Маховца. Игорь подошел.

— Стой спокойно! — приказал Ляпа. — Нагнись.

А у Игоря в животе жгло. Он сначала думал, что страх, а потом понял — нет, не страх. Другое. И, нагнувшись, уда-

рил Ляпу кулаком в зубы. Потом выяснилось, что содрал кожу на мослах, но тогда этого не ощутил. Он бил и бил Ляпу, пока не оттащили. Он не помнил себя, чувствовал только азарт, наслаждение.

Через день Ляпа пришел с друзьями его бить.

Игорь вызвал его один на один. Ляпа согласился — он был выше и сильнее.

Дрались страшно, хоть и без камней, без палок, без ножей. Игорь применял и голову, и зубы, и коленки — все, что мог.

Так обнаружился его талант — драться.

Он в итоге уложил Ляпу, возил его лицом по земле. И, встав, сказал:

— Еще сунешься — убью.

Но Ляпа не мог стерпеть — сунулся, пришел с ножом. Ударил Игоря в бок, но Игорь схватил его руку, выхватил из себя и из его руки нож и тоже ударил Ляпу в бок, два раза. Оба выжили, хотя оба лежали в больнице. А потом Ляпа пропал. Он не мог быть вторым, а первым Игорь уже не позволил бы.

И он стал главным на «Техстекле», получив прозвище Маха — от фамилии, но Игорю нравилось думать, что кличку дали еще и за умение «махаться», то есть, драться на языке тогдашнего времени.

Вскоре случилось первое убийство в драке, колония, потом тюрьма. И началась взрослая жизнь.

Не раз сидевший в тюрьме, Маховец преступником себя не считал. В его понимании преступник — это тот, кто нарочно хочет украсть, ограбить, строит планы. Маховец презирал эти планы, в жизни любил все только естественное. Он презирал и гражданский, и тюремный люд, всех этих воров в законе, шестерок, свистунов, сексотов, мужиков и прочую сволочь. Все пытались установить какие-то

законы и правила, а Игорь ненавидел законы и правила. Законом и правилом для него было только то, что он узнал еще от Ляпы: бей сразу, потом будет поздно. Бей — чтобы никто над тобой не посмел властвовать.

Маховец подчинялся не расчетам, а порывам, которые очень любил. Эти порывы были чем-то вроде приступов болезни, но приятных — кровь играла в такие моменты, как шампанское.

А еще он очень любил моменты, когда уже знал, что будет с человеком, которого он решил сделать мертвым, а человек еще об этом не ведал. Так было с тем самым выпившим мужчиной в костюме, у которого Маховец попросил закурить. Человек дал охотно — и сам закурил, сел на лавку рядом с Игорем. И принялся рассказывать о том, какой он уважаемый человек, как без него все дело стоит, как любит его одна женщина. Игорь кивал, а потом глянул на него и вдруг понял, что сейчас этого дурака убьет. Не потому, что злитесь на его благополучие, завидует его костюму и запаху одеколona. Не потому, что хочет ограбить. Неизвестно почему. Однажды он услышал обычную городскую историю: шла женщина по тротуару, молодая, красивая, ехал мимо грузовик, на полной скорости отлетело колесо, он выскочил на тротуар и наехал на женщину. «Судьба!» — многозначительно отозвался кто-то на этот рассказ. Игорь подумал, что он тоже — судьба. Он внезапен и всемогущ. Если подумать, жизнь почти любого человека, кто встречается на его пути, зависит от него. Хочет — казнит, хочет — милует. Это его цель, путь, долг.

Он и впрямь чувствовал что-то вроде долга, когда готовился убить пьяного хвастуна в костюме. Чтобы тот понял, как плохо напиваться и хвастаться постороннему. Пусть перед смертью, но понял бы.

И он его даже пожалел, не стал мучить, а просто, огля-

нувшись, достал нож и всадил ему очень точно в сердце. Наверное, тому даже было не больно. Только глаза удивленно расширились, и он спросил:

— Что это?

— Ничего, ничего, — сказал Игорь, укладывая его на лавку, чтобы не упал и не ударился об землю. И при этом испытывал к нему братские чувства, почти любовь — за то, что дал возможность так приятно себя прирезать.

Кстати, ему, не имевшему сестер и братьев, часто снился странный сон, что у него все-таки есть брат и он, хоть смертельно его любит, все-таки его почему-то убивает. Маховец недоумевал, откуда этот сон, но однажды посмотрел по телевизору старый фильм «Спартак», который видел еще подростком, — тот эпизод, где Спартак закалывает мечом друга, чтобы того не распяли, — и понял: вот откуда.

Еще Маховца интересовал момент смерти, вопрос смерти. Как это? — вот человек живой, а через мгновение он точно такой же, но уже мертвый! Загадка!

Он и фарцовщика того убил не ради его поганных денег, хотягодились, а из любопытства. Никаких товарищей с Маховцом не было, он принес фарцовщику золотые серьги, доставшиеся по случаю, фарцовщик задешево купил и стал провозжать, показывая всем своим видом, что он с этого момента Маховца знать не знает. Маховцу стало обидно и интересно: ну-ка, а если тебя пырнуть сейчас, станешь вежливым и добрым? И он пырнул — не до смерти. Фарцовщик сполз по стенке, завыл, заплакал. Ему было очень жалко себя. Ему хотелось назад — всего за несколько секунд до этого он был цел, без ужасной раны, откуда текла кровь.

— Скажи: извините, дяденька! — велел ему Маховец.

— Извините, дяденька! — взмолился фарцовщик.

— Поздно, — вздохнул Маховец. — Но ты теперь понял свою ошибку? Понял?

— Понял! — искренне сказал фарцовщик.

Маховец закрепил просветление умирающего, добив его.

И с прапорщиком так же: он был таким живым, таким румяным, свежим, будто младенец, добрым и к женщине, что была с ним, и к подсевшему за столик Маховцу. Игору захотелось посмотреть, как уходит такая живая жизнь, как он сделается мертвым. И он удовлетворил свое желание.

О женщине и говорить нечего — женщину всегда есть за что убить, потому что она раздражает своими желаниями, капризами и уверенностью, что, если мужчине с ней хорошо, он на все готов. Он придумал, будто женщина обозвала его животным, иначе его бы просто не поняли. То есть называла ласково зверем, откуда и возникла придумка, но не более. Он убил ее потому, что очень хорошо к ней относился, почти любил, а до этого убивал людей посторонних, чужих. Вот ему и стало невтерпеж попробовать убить того, кого любишь. И это оказалось лучше всего, что он испытывал прежде.

Кроме эпизодов, раскрученных и доказанных следствием, у него было много тайных приключений, о которых не знал никто. При этом он не был маньяком, вроде Притулова, то есть психом, заикленным на идее. Идеи Маховец не имел. Он убивал бескорыстно, даже когда злился на того, кого убивал. Но чаще было чистое вдохновение. Как-то в Самаре он шел по набережной вечером, а навстречу шагала ничего не подозревавшая девушка. Да он и сам не подозревал, что захочет ее убить, — понял, когда поравнялся с нею. Подумал: вот она идет, ничего не боится, а я — как дерево, которое падает на проходящего под ним человека, как сосулька зимой с крыши, и нет в этом ни моей вины, ни прихоти, убить эту девушку не плохо и не хорошо, а просто — сосулька упала, дерево упало, нож возник, это равные ве-

щи. И Маховец, сделав молниеносный выпад, убил ее, не дав возможности понять, что произошло, как не дает понять сосулька или дерево.

Он был доволен своей жизнью, даже когда сидел в тюрьме, доволен собой, но не давало покоя то, что другие считают его злодеем, никак не могут уразуметь, что он всего лишь следует логике жизни, в которой нет никакой логики. Жил-жил человек да помер — какая тут логика? Приходит смерть, ее никто не спрашивает, за что, а если кто спросит, никогда не получит ответа, почему же Маховец должен отвечать? В каком-то смысле не он убивал людей — смерть убивала, он только посредник между смертью и человеком, так сказал бы он, если бы умел.

Вот почему захотелось устроить пересуд.

Правда, Маховец остался не вполне доволен — все свелось к тому, что он будто бы нуждается в оправдании, а ему этого не требуется. Но все-таки стало веселее — еще и оттого, что все оказались трусами и подлецами, это подтвердило уверенность, что люди являются такими на сто процентов.

## Драницы — Мокша

— Давай, — сказал Маховец Личкину. — Теперь твоя очередь.

Притулов ожидал, что Маховец предложит держать речь ему, как ближайшему другу и единомышленнику (таким он себя видел в создавшемся положении) и обиженно отвернулся. Маховец хлопнул его по плечу, Притулов обернулся, увидел его усмешку и догадался: Маховец поступил правильно, оставил его на сладкое, когда все окончательно разогреются. И усмехнулся в ответ, давая понять, что все понял.

Личкин встал перед пассажирами.

— Мне как для суда или по правде? — спросил он Маховца.

— А для суда у тебя что?

— Адвокат говорит: невменяемость.

— Не надо. Говори по правде.

Это совпало с желанием Сережи, и он начал, невольно подражая Маховцу:

— Граждане присяжные!

И тут же сбился.

— Ну, как вам... В общем, у меня была невеста. В одном классе учились с шестого класса. Ну, и я, как сказать... Я только с ней ходил, больше ни с кем.

— Подвиг! — похвалил Притулов.

— А то! Хотя мне другие нравились. Я тоже некоторым. Вот... Ну, что еще? В общем, мы решили пожениться. И я тут пошел в армию. Нет, а как? Денег у родителей нет, чтобы там, ну, в военкомате договориться, здоровье нормальное, а поселок маленький у нас, куда спрячешься? Это в городе можно. А тут — на улице повестку при свидетелях. Ладно, отслужу.

— Надо служить! Надо любить Отечество! — заявил Притулов, сам никогда не служивший, но Отечество любивший от души.

— И я, в общем, пошел в армию.

— Я знаю, что дальше будет, — сказала Елена.

— Да? А что?

— Ты служил, она замуж вышла. Так?

— Не порть парню рассказ! — предостерег Маховец.

Но было поздно — Сергей сразу сник, объял, ему стало неинтересно. В этих очень простых словах: «Ты служил, она замуж вышла», — для него были вся соль и вся боль истории.

Он сел, сказав:

— Не хотите, мне не надо.

— Нам интересно, давай! — исправилась Елена.

Сергей, помешкав, опять встал.

— Ну, я пошел служить. На Южном Урале служил, мы там дорогу строили.

— Стройбат? — уточнил Димон.

— Нет. Но вроде того. То есть общевойсковые, но строили. Вот. Ну, письма пишем, она пишет, я пишу. Потом я в госпитале лежал, она приезжала. Ну, все нормально. Потом мне два месяца осталось. Она не пишет. Я позвонил: ты че-

го не пишешь? Она: ну, то, се, времени нет. Потом написала: выхожу замуж. Я опять звоню: ты чего, сразу не могла сказать? Она, вроде того: не хотела расстраивать. Ладно, а сейчас ты чего не подождешь? Два месяца осталось. А она: через три дня свадьба. Я говорю: я не против, но ты подождать можешь или нет?

— Зачем? — спросила Елена.

— Как зачем? — удивился Сергей. — Поговорить надо или нет? Объяснить.

— Что объяснить? Почему она тебя разлюбила?

— Ну, хотя бы. Про свою подлость. То есть, по-человечески, а не так: бац, я замуж выхожу.

— Другая бы вообще промолчала, а она сказала честно, — пожалала плечами Елена. — Не понимаю, какие у тебя претензии?

— Сама такая, что ли? — спросил Притулов.

А Сергей заволновался:

— Как это, какие претензии? Она за кого замуж собиралась? За меня. Поговорить надо или нет с человеком, кого замуж хотела? Надо!

— Обязательно! — подтвердил Маховец, веселясь и баляясь: на самом деле он так не считал. Кто хочет, тот может, поступает по своему разумению и ни у кого спрашиваться не обязан.

— Ну вот! — обрадовался Сергей поддержке. — Если хотела за одного, а не дождалась и вышла за другого, получается предательство.

— А если она его полюбила? — спросила Елена.

— Как это — полюбила? — недоверчиво усмехнулся Сергей. — Я что, хуже, что ли? И мы же договорились, как вы не понимаете? Мы договорились же! Поэтому ты сначала объясни, — обратился он к воображаемой невесте, — а потом замуж выходи, если хочешь.

— Она разве по телефону не объяснила? — Елена продолжала не понимать.

— По телефону не разговор! — с досадой разъяснял ей Сергей. — Мы лично договаривались, что мы поженимся, значит, должны лично договориться, если что не так. А то я там служу, а она там за меня все решила!

— Почему за тебя? — упорствовала Елена. — Она свою жизнь устраивала, за себя и решала. Полюбила другого, он ее — это их теперь дела, а не твои.

— Ну ни фиги себе! — возмутился Сергей. — Он-то, Вовка этот Дерюгин, он же тоже знал, что я с ней! Все знали вообще!

— Так что было-то? — спросил Притулов, которому надоели теоретические споры.

— Я же говорю: она говорит, что ждать не будет. Меня завело, само собой. Я хотел даже сбежать. Только сообразил, что все равно не успею, — пока до города доберусь, пока на поезд сяду, а как, если денег нет? Короче, не успеваю. Ладно. Я стал терпеть. Дослужил, пришел. Ну, и...

Сергей замолчал.

— И что? — ласковым голосом подбодрил Маховец. — Невесту прикончил? Жениха?

— Нет, они в отъезде были. Я по другим пошел. Другие же знали, что я с Татьяной был, все знали. А если знали, получается предательство. Они не должны были на свадьбу ходить. А один вообще свидетелем был, хотя был мой друг. Какой это друг, если он у другого свидетелем был?

— И ты его убил? — догадался Димон.

— Ну да. За предательство. И еще там некоторых...

— Сколько? — поинтересовался Притулов.

— Пятерых...

Маховец одобрительно присвистнул. И встал рядом с Сергеем.

— Вы всё слышали, граждане судьи, то есть присяжные! Как вам кажется, осудить его или оправдать?

И он посмотрел на Елену как на главную возможную противницу оправдания.

Но Елена подняла руку. Происходящее становилось полным уже идиотизмом, а идиотизму сопротивляться бессмысленно.

Это поняли и остальные, поэтому тоже подняли руки. Кроме Вани, который очнулся и сидел, потирая голову, — никак не мог прийти в себя.

Выглядело это не очень серьезно, Маховец хмыкнул.

— Ясно, — сказал он. — Сережа, ты доволен?

— Вполне, — ответил Личкин: он не желал зла этим людям и понимал, что, если обнаружит недовольство, Маховец начнет с ними что-нибудь делать, как в прошлый раз.

На самом деле, конечно, никакого довольства он не испытывал.

20.40  
Мокша

Сергей не раз уже рассказывал свою историю, и она неизменно вызывала сочувствие, его поступок оценивался с одобрением. Он ожидал, что одобрят и тут, однако видел по глазам многих — не только не одобрили, но даже не поняли. А эта красавица вообще взялась спорить. Может, защищала общую женскую подлость?

Нет, не так он все рассказал, не только ведь в ней, в Татьяне дело, в ее предательстве, хотя, само собой, все-таки в ней, ничего бы не случилось, если бы она не предала.

В том ведь еще вопрос — кого предала. Человека, который работал в нечеловеческих условиях, под дождем и снегом, который думал о ней каждый день и каждую ночь, который после первых трех месяцев службы, когда замордовал его взъевшийся неизвестно за что сержант Никитичев, готов был застрелиться и еле удержался от этого, да и то помогло, что накануне поранил ногу, отдыхал в вагончике (у них вагончики были вместо казарм), от караульной службы был освобожден.

Как им, кстати, расскажешь об этом вагончике, где их было двадцать человек в два яруса? Оставят иногда на убор-

ку, войдешь с ведром воды и тряпкой — тут и одному-то не разбежаться, не повернуться, моешь пол и ушибаешься об углы, как же они все вместе помещаются? Ничего, помещались, жили в этой тесноте, в духоте, которая давила и летом, и зимой, зимой даже больше, потому что командиры следили, чтобы лишний раз не открывали форточки: личный состав может простудиться и не выйти на работу, а спрос не с солдат, а с командиров. Работа была, как твердило начальство, важная и нужная: строили в глухом лесу глухую дорогу, ведущую неведомо куда, к какому-то военному объекту.

И никогда не бываешь один, нигде и никогда, и томит множество с виду необходимых, а на самом деле бессмысленных занятий. Те же караулы, охрана пяти вагонов, стоящих за сто километров от ближайшего жилья, на которые напасть никогда не соберется — зачем? Надо, устав караульной службы подразумевает. А есть еще устав строевой, в соответствии с которым солдаты после тяжелой работы маршируют на ближайшей поляне (в двух километрах от дислокации части) под командой свежего, не уставшего офицера. Для чего? Ну, во-первых, для исполнения самого устава, который нельзя не исполнить. Во-вторых, может нагрнуть проверка и, если обнаружится неумение солдат продемонстрировать навыки строевой подготовки, командирам будет втык. Имеются еще уставы гарнизонной службы, дисциплинарный, все надо знать, все обязательны. И это не как в школе, где отсидел уроки и свободен до завтра, — здесь быстро понимаешь, что свобода не скоро, хочется каждый день отметить какими-то зарубками, некоторые пытались это отразить в письмах, но и письма пишешь прилюдно, каждый может заглянуть тебе через плечо. Никитичев однажды, проходя мимо, ухватил безошибочным на подлость взглядом слова «роднуса моя», написанные Сергеем с нежностью, и заорал:

— Роднуса моя! Роднуса, я усрუსя! Дай письмо, я подот-  
руся!

Он собирался и дальше фантазировать на эту тему, но Сергей вскочил, толкнул его — и был, конечно, бит сержантом и двумя его товарищами, бит зверски, однако при этом, надо отдать должное, рук и ног не ломали, потому что командиры строго предупредили старослужащих: дисциплину поддерживайте, но из строя не выводите, не то под трибунал или сами будете работать. Старослужащие боялись трибунала, а еще больше — работы: они, то есть деды и дембеля, по уставу негласному, не менее обязательному к исполнению, чем уставы писанные, последние месяцы службы выполняли функции надсмотрщиков, ловко действовали окриками и зуботычинами, и пользы приносили больше, обеспечивая должную производительность, чем если бы сами работали лопатами и кирками.

А еще Сергей вспомнил, как его мучили понятные ночные мысли и желания, которые не в силах была убить никакая работа, хотелось освободиться, облегчить участь, но как — если все рядом, ноги к ногам, головы к головам, до всех можно дотянуться рукой. Иногда кто-то все-таки рисковал побаловать себя нехитрым юношеским удовольствием, и вот Кузьма, Кузьмичев, добродушный парень, выждал, когда все уснут (несколько раз окликал, никто не отозвался), и приступил, не зная, что один из дедов лежит с коварной улыбкой, сообразив, зачем Кузьма проверяет, спят ли товарищи.

Вспыхнул свет, одновременно солдат разбудил дикий вопль:

— Глянь, глянь, глянь!

Рука Кузьмы еще металась по инерции под одеялом, как пойманная мышь, и это все увидели.

— Ах ты, гад! — возмутился Никитичев и кинул в Кузьму сапогом.

Другой дед, дотянувшись, ударил Кузьму по роже. Тут и другие вскочили и начали месить Кузьму по чем попало, и Сергей месил со злостью и обидой: всем хочется, но все терпят, терпи и ты! А кроме обиды была еще радость: не меня застукали, не меня!

Кузьма после этого, полежав с недельку в вагончике (в госпиталь отправляли только серьезных больных), неосторожно был назначен в караул, где и застрелился, после чего солдатам некоторое время не выдавали боевых патронов, объяснив, что, хоть устав караульной службы и важен, но жизнь человеческая еще важнее, потому что она нужна родине и строящейся дороге. Впрочем, и про нужность этой жизни оставшимся на большой земле родным и близким майор Веденеев тоже говорил:

— Они вас ждут, приятно будет им узнать, что их сын и брат погиб на мирных учениях в мирное время? Потому что про ваше геройство, если кто так думает про самострел, они не узнают, потому что кто же им скажет? Они же могут подумать про армию то, чего нет, а это является клеветой. Поняли меня?

Все поняли.

Сергей с мечтой думал о нормальной армии и нормальной казарме, о нормальной столовой, о возможности служить, учась стрельбе и другим боевым делам, он был уверен, как и многие другие, что им просто не повезло, везде лучше, веселее и правильнее. Единственная передышка выдалась Личкину: попал в госпиталь с переломом ноги и двух ребер (неосторожно оказался под падающим деревом) в большой город Челябинск, хоть и видел его только из окна. И туда приехала Татьяна. Ее пустили только на третий день и только на два часа. Она пришла в палату. Все деликатно вышли. Татьяна плакала, Сергей сам немного поплакал, потом пригнул к себе Татьяну, чтобы хотя бы обнять ее и поцеловать-

ся с нею, как следует (далее этого они до его призыва в армию так и не дошли), и тут увидел, как в стеклянной двери, до половины замазанной белой краской, торчат головы — намного больше, чем было людей в палате.

Вот это все — как им расскажешь?

Или про то, как дорога, углубляясь в неизвестность, почти наткнулась на деревню, вернее, оказалась от нее всего в семи километрах, и ребята из второго отряда (так назывался один из вагончиков) смотались туда, получили самогонку и добыли двух женщин. Отправилась туда ночью и группа смельчаков из отряда, где был Сергей. Он пошел со всеми — был готов куда угодно, лишь бы оторваться от надоевшего уклада. Нашелся, в самом деле, самогон. Были, действительно, и женщины, ожидавшие гостей в избушке на окраине. Счастливые солдаты гоготали, выходя оттуда, Сергей полюбопытствовал глянуть: женщины, одна под сорок, другая под пятьдесят, ему не понравились, он вышел, кто-то из товарищей спросил:

— Чего так быстро?

— Я не ежик, в каждую норку лазить, — гордо ответил Сергей, считая, что он не изменил Татьяне из-за любви к ней.

Он вообще в это время уже заматерел, сам стал почти дембелем, сам учил молодых солдат уму-разуму. И вовсе при этом не вымещал на них обиду, как любят писать некоторые злорадные газеты, — он просто попрос и разглядел, что в армию, к сожалению, из-за недостатков в воспитании и физической подготовке, приходят хлипкие заморыши, из которых надо быстро сделать людей — чем скорее, тем лучше для них же. А беседовать с ними не будешь, для этого нет времени и на это есть командиры, поэтому закон такой: «Два раза объясняю, третий раз бью». То есть, Сергей, в отличие от многих, все-таки пытался сначала пронять слова-

ми, но тупость новобранцев, их упрямство, их какая-то самоотверженная говнистость были беспредельными, приходилось полировать им скулы, отчего молодежь становилась только крепче.

Как расскажешь о том страшном письме, которое он получил, — и шел, ослепнув, по лесу, ветки хлестали по лицу, было больно, но зато немного легче, как наткнулся на ручей и захотел утонуть, лег в ручей, но оказалось мелко, даже голова не помещалась, он все равно вжался лицом в илистое дно, чтобы задохнуться, не выдержал, вскочил, пошел обратно, понимая, что страшен от грязи и радуясь этому. Встретившийся офицер Кравченко окликнул:

— Личкин, в чем дело?

— Уйди, лейтенант, убью! — заревел Сергей, бросаясь на него.

Лейтенант убежал, Сергей пошел в вагончик, там был только убирающийся дневальный, Сергей сшиб его ногой, тот упал, закричав:

— За что? — а спрашивать в армии, за что, как известно, не положено и просто даже неприлично: всегда есть за что, а если не за что, то впрок, ибо кто сегодня не виноват, завтра обязательно провинится. И Сергей, взбеленившись, начал лупить его по бокам:

— За то! Сейчас поймешь, за что!

Ворвавшиеся солдаты во главе с Кравченко, схватили его, скрутили. Потом, связанному, дали стакан водки. Потом Кравченко, хоть и командир, сидел с ним рядом на полу и — вот человек, дай бог ему здоровья! — похлопывая по плечу, грустно говорил:

— Сerez, успокойся. Жизнь долгая, все у тебя будет нормально.

— Она гадина! — рыдал Сергей от водки, от жалости к себе и от страшной любви к Татьяне, которая, он чувство-

вал, уходила, уходила из его жизни, из него, как кровь быстро и невосвратимо уходит из человека, — он видел это, когда одному из солдат трелевочным тросом перешибло горло.

— Ну, и гадина, — успокаивал Кравченко, — и что дальше? Хочешь буяннить, чтобы тебя под трибунал? Хочешь застрелиться? Так она только рада будет!

Это были умные слова.

В тот момент Сергей и понял, что и как надо сделать.

Рассказывая, он немного изменил показания, как говорят в суде. Он не звонил Татьяне, да и неоткуда было, командиры не позволяли пользоваться служебной связью, а мобильная, сотовая в этих краях не работала. Он не хотел с ней говорить раньше времени. Не ответил на письмо. Он хотел высказать все при личной встрече.

А встречу мечтал устроить так: он спокойно приглашает Татьяну и гада Вову в самый шикарный ресторан, говоря, что все простил, он угощает их по высшему разряду, заказывая лучшее шампанское, черную икру, фрукты, коньяк... что там еще бывает в ресторанах? И, когда они успокоятся, он скажет им: «А теперь объясните мне свою подлость и что мне с вами теперь сделать?»

Музыка в это время зарыдает какую-нибудь старинную музыку с плачущей и воющей скрипкой, Сергей спокойно возьмет блестящий нож — не ресторанный, они все там тупые, а тот, что принесет с собой, и скажет: «Ну? Давайте, объясните мне свою подлость, и что мне теперь делать?»

Народ вокруг испугается, кто-то убежит, кто-то отсядет подальше, кто-то, возможно, крикнет, что не надо, но Сергей строго посмотрит на него, и он заткнется, а Сергей спросит, задумчиво глядя на лезвие ножа: «Давайте, давайте, объясните свою подлость, и что мне теперь с вами делать?»

А будет он при этом в дорогом костюме, на руках дорогие часы, дорогой мобильник с инструктацией (смешно ска-

зал башкир Ялаев, видевший такой телефон у супруги лейтенанта Кравченко, приехавшей к нему на неделю, больше не выдержала), то есть, с инкрустацией драгоценными камешками, то есть, он будет выглядеть красиво и, можно сказать, благородно, и нож будет, конечно, не столовый, а настоящая финка, которая четко и убедительно шелкнет, когда выскочит лезвие.

«Ну? — спросит он. — Будем говорить или я буду действовать?»

И Вовик упадет на пол, и поползет к его сверкающим ботинкам из крокодиловой кожи...

Однако выяснилось, что Сергей не в состоянии купить ни ботинок из крокодиловой кожи, ни телефона с «инструкцией», ни даже угостить предателей в ресторане. Он ведь надеялся на те деньги, которые должны были выдать за долгую работу, — об этом командиры постоянно говорили, обещая, что каждый получит кучу денег и будет благодарен, что оказался не в обычной армии, а в той, где солдатам позволяют заработать на мирную жизнь. Сергей расписался в ведомости за пятизначную цифру, не веря своим глазам: там было, он запомнил это навсегда, восемьдесят шесть тысяч рублей. На руки же ему выдали, по другой ведомости, двенадцать тысяч, что, конечно, тоже деньги, но не такие, какие предполагались.

— Почему? — спросил Сергей.

Майор, сидевший рядом с кассиршей, девушкой в военной форме, вежливо объяснил, хотя мог бы и наорать, что остальное пошло на вычеты за дополнительное питание, не предусмотренное общеармейской нормой (Сергей смутно припомнил шоколадку и апельсин, розданные солдатам под Новый год), за порчу имущества (Сергей вспомнил сломанную лопату и пару дюжин стертых до дыр рукавиц), за выбранные не за наличные, а под расписку лакомства в пере-

движном магазине-кафе, то есть фургоне, приехавшем раз в два месяца (Сергей вспомнил какие-то пирожные и несколько бутылок «Байкала»)...

Он молча повернулся и ушел. Заглянул к прапорщику Веревкину, мужику в возрасте, но понимающему, сказал, что хочет устроить всем праздник перед дембелем. С хорошим вином и хорошей закуской.

— Можно, — покладисто сказал прапорщик, зная, что, если запретишь солдатам организованную пьянку, неорганизованная будет хуже. — Давай гроши, завтра же все добуду.

И Сергей отдал ему все деньги, оставив себе только на проезд и на карман.

Как об этом расскажешь? Это свое, личное. Его, конечно, можно выразить словами, но все они будут казаться неправильными, потому что никаким словом не опишешь со-сущую пустоту в мозгу или когда душа скручивается в судороге, причем ты даже не знаешь, где она, эта самая душа, но уверен, что она есть, — иначе что так болит без видимости внешней боли?

А как поведаешь о жестоком разочаровании, которое испытал Сергей, узнав, что Татьяны и ее новоиспеченного мужа нет? Конечно, можно было дожидаться, но он не сумел, не вытерпел — учитывая, что остальной мир, позволивший предательству совершиться, тоже достоин наказания. И, может, большего, чем жених и невеста. У Татьяны с Вовкой все можно оправдать хотя бы физиологией, коряво размышлял Сергей, тем, что их друг к другу тянет, то есть, они не совсем в себе, но другие-то — они же не ушиблены этой тягой, они в здравом уме и трезвой памяти, то есть, знали, что творили!

Или — как рассказать об одном из самых счастливых моментов в жизни Сергея, перед которым был день, когда к ним заехал войсковой священник и вел беседу, стоя на ступеньках штабного вагончика, а солдаты расположились кру-

гом на пеньках, на траве, на бревнах. Они слушали, стесняясь и исподтишка переглядываясь, некоторые боялись рассмеяться — очень уж странным и даже нелепым казалось то, о чем говорил батюшка в этой обстановке, не располагавшей к высокой духовности, говорил тем, кто в большинстве своем о религии не имел никакого понятия, говорил, что Бог есть любовь, смущая солдат этими словами, а майор Веденев сидел сбоку и строго следил, чтобы никто ни ухом, ни рылом, как он любил выражаться, не позволил себе усомниться, что Бог есть именно любовь, а не что-то иное, и это так же непреложно, как строевой или гарнизонный уставы.

А на следующее утро, перекуривая, греясь под последним, быть может, осенним солнцем, Сергей посмотрел на березу, на ее белый с черными полосками ствол, на желтые листья и подумал о Татьяне, и вдруг ясно понял, что между этими желтыми солнечными листьями и Татьяной, и им, Сергеем, есть какая-то связь, и, наверное, она и есть та самая любовь, про которую твердил поп. Не будь этой любви, он бы, возможно, и не обратил внимания на эти листья, а сейчас вот рассматривает, как зачарованный, и чуть не плачет от счастья, возникшего не по какой-то причине, как привык Сергей видеть все возникающее в его жизни, а неизвестно откуда, из ничего. А это ничего, невидимое и неосязаемое, но рождающее любовь, и есть, наверное, Бог.

— Ты чего? — спросил его Ялаев, оказавшийся рядом.

— А чего? — не понял Сергей и тут почувствовал, что лицо у него — мокрое. — Соринка попала, — сказал он, усилено моргая глазами.

— Не три, хуже будет. Промаргивайся.

— А я что делаю? И ты иди работай! — заорал на Ялаева Сергей. — Будет он тут советовать!

Рация в милицейской машине неожиданно затрещала, захрипела, и громкий голос спросил:

— Коротеев, вы куда это заехали? Алё! Вас чего за Мокшу понесло? Возвращайтесь, усильте восьмой километр, там нет никого! Слышите меня?

Петр Кононенко молчал. Он не растерялся, он размышлял.

Далеко шагнул технический прогресс: милиция ставит на свои машины спутниковые системы слежения. Эти системы сильно испортили Петру жизнь, когда появились на дорогах иномарках, а потом даже и не на очень дорогих. Главная проблема — найти кнопку, чтобы систему выключить. Казалось бы, Петр всему уже научился, справлялся с любыми замками, с любой сигнализацией. Он любил эту веселую работу, но при этом терпеть не мог иметь дело с людьми. Жизнь заставила — из-за этой самой кнопки. Люди, обеспечивая свое железо защитой, делают беззащитными себя. То есть: дан заказ на такую-то машину, машина найдена, одно существенное *но* — проклятая кнопка может оказаться где угодно. Под водительским креслом, под деко-

ративной накладкой на приборной панели, в кузове, под капотом. Без водителя на ее поиски может уйти час, а то и больше, а надо ведь уже ехать, уводить машину за город либо в гараж-отстойник, но как это сделать, если сигнал включен и твой маршрут прекрасно виден всем, кому не лень? Поэтому угонщики вынуждены применять силовые схемы: подстеречь, когда владелец выйдет из дома, чтобы сесть в машину, либо подъедет к дому, чтобы выйти, напасть, двое волокут его на заднее сиденье и работают с ним, третий садится за руль. Петр наотрез отказался выбивать из водителей информацию о кнопке. «Мое дело — руль, дорога, скорость». За это ему урезали долю и косо посматривали. Петр даже начал подумывать, не бросить ли специальность. Потом ему объяснили в тюрьме: хочешь завязать — завязывай сразу. А если скажешь себе: ну, пойду на последнее дело — все, на этом-то деле и попадешься. Сто процентов. Так и вышло. При этом двое поделльников сбежали, а он не успел. Потом, прокручивая в памяти, как все было, он догадался — подставили его. Так сделали, чтобы именно его схватили. И у не злого в общем Петра появилось желание как можно скорее выйти и посчитаться с бывшими товарищами. Потому он и согласился на побег.

Решение пришло быстро: на трассе оставаться нельзя, первый же милицейский пост остановит — по указке московского начальства, не получившего отзыва. К тому же, это может дать ориентировку на автобус.

Петр посигналил, остановился, выскочил, побежал к автобусу.

Не стал подниматься, сделал знак Маховцу. Маховец вручил автомат Притулову, спустился.

Петр объяснил ему положение.

— И что делать? — спросил Маховец.

— Я уже подумал. Сойти с трассы, дать километров десять в сторону, оставить там машину где-нибудь в кустах или в речку загнать. И поедем дальше без сопровождения. Никто не спохватился, по радиации никто пока про рейсовый автобус не говорит. Значит — нет следа. Поставим опять табличку «Москва—Сарайск». Дальше Московской области вряд ли они буду прочесывать. Сил не хватит. Каждую машину, каждый автобус не проверишь.

— Ладно, — согласился Маховец. — Оттони машину и возвращайся.

— Пешком?

— А как?

— Сейчас после Копенок повороты в лес будут, я эти места знаю, там детские лагеря отдыха, подумают — в лагерь детей везем.

— Ладно, давай так.

Через пару километров Петр свернул на проселочную дорогу через поле в лес.

Автобус, тяжело скатившись с шоссе, последовал за ним. Пассажиры качало, они переглядывались.

Занавески колыхались и приоткрывались, был виден приближавшийся лес.

— Куда мы едем? — спросила Елена.

— Не беспокойтесь, скоро вернемся, — ответил Маховец.

— Слушайте, — сказал Мельчук разумным голосом, стараясь ни единой нотой не задеть бандитов, которые, он это понимал, конечно, на взводе. — Оставьте нас в лесу, тут же никого нет нигде. А сами езжайте.

— Действительно! — поддержала Нина.

Но не все были согласны.

— И пешком переться? — спросил Желдаков. — Едем нормально, все успокоились. Так ведь? — обратился он к Маховцу.

Без лести обратился, между прочим, не желая выглядеть угодливым. Как конкретный нормальный мужик конкретному нормальному мужику сказал. Как свой — в определенном смысле, конечно.

Маховцу это не понравилось. Намерение Желдакова отделить себя от других пассажиров он разглядел сразу. Так бывает всегда: приходит кто-то, становится хозяином ситуации, и тут же выскакивает человек, желающий к нему прикнуть. Маховец этого не любил. И сейчас он поступил так же, как любил поступать еще будучи грозой и героем «Техстекла».

— Точно! — похвалил он Желдакова. — Молодец, соображаешь.

И пошел к нему.

— Приятно смотреть, в самом деле, не психуешь, ведешь себя правильно. Не боишься. Не боишься ведь?

— А чего бояться? — и впрямь осмелел Желдаков. — Вы же себе вреда не хотите. Вам уйти надо, вот и все. Каждый может в таком положении оказаться.

— Золотые слова! — восхитился Маховец. — Ты умный, я смотрю. Ты умный?

— Да не дурак, — отозвался Желдаков, подбираясь и садясь прямее — он почувствовал какой-то подвох, но не мог предугадать, в чем он.

— И смелый? — спросил Маховец умильно, как спрашивают детей.

Желдаков промолчал.

— Чего ты стесняешься? Смелый? Или нет?

— Да так, — попытался уклониться Желдаков. — По обстоятельствам.

Маховец не собирался его отпускать и миловать.

— Я не про обстоятельства, я про сейчас. Смелый ты сейчас или нет?

— Нормальный.

— Я тебя спрашиваю — смелый или нет? Ты можешь по-человечески ответить?

Маховец стоял рядом с Желдаковым, над ним.

Деваться было некуда. Желдаков понимал, что его ответ не имеет значения. «Каждое ваше слово может быть использовано против вас!» — вспомнил он фразу из каких-то фильмов. Похоже, сейчас именно тот случай.

— Ну, смелый, — сказал он.

— Да? — удивился Маховец. — Видите! — обратился он ко всем. — Вы трясетесь за свою шкуру, а человек не забыл своего человеческого достоинства! Он смелый! Он сейчас возьмет меня за ухо и отсюда выведет! А ну-ка, ну-ка! — И Маховец, резко нагнувшись к Желдакову, повернул голову, подставляя ему ухо. — Давай! Давай, я говорю! Давай!

Естественно, Желдаков даже не дотронулся до уха.

Подождав, Маховец разогнулся с разочарованным видом.

— Не хочешь? Ну, тогда я тебя. Можно?

— Да хватит тебе...

— Можно, я спрашиваю?

Желдаков молчал.

— Значить, можно?

— Отстань! — вдруг огрызнулся Желдаков.

Маховец схватил его за ухо и начал крутить. Желдаков взвыл от боли.

Крутя ухо, Маховец с улыбкой смотрел по сторонам, поворачиваясь при этом, и автомат тоже смотрел на всех пассажиров поочередно черной дыркой дула, которому все равно, куда стрелять.

— Хватит! — вскочила Нина. — Вы что, урод, что ли, какой-то? Маньяк? Вам нравится людей мучить? Просто чудовище какое-то!

Маховец отпустил ухо и вытер руку о штаны.

— Девочка, — сказал он. — Я не маньяк и не чудовище. Я хочу уехать — далеко-далеко. И все хотят. Вы заметьте — кто не выступает, кто не давит мне на нервы, я же тех не трогаю, правильно? Я разве вот бабушку тронул? — указал он на Лыткареву. — Или вон девушку? — он кивнул в сторону Елены.

И всем, и Нине в том числе, показалось, что есть в словах Маховца правда. Действительно, он ко всем подряд не пристаёт. Значит, не в нем, возможно дело, а в них самих.

— Дергаются, вот и получают! — вслух подумал Тепчилин.

Автобус продвигался уже по лесной дороге.

Петр сделал знак Козыреву остановиться, а сам поехал вперед.

Через некоторое время увидел овраг, к которому вела пологая полянка.

Первым делом Петр вытащил милиционера и уложил на траву.

— Полежи пока. Рано или поздно найдут.

Милиционер вращал глазами и мычал, желая сказать, что могут и не найти в такой глуши, он помрет тут от жажды и голода, от ночного холода и комаров.

— Ничего, ничего, — оттонял Петр и от него, и от себя ненужные мысли.

Всунувшись в кабину, крутя руль и упираясь ногами в землю, он некоторое время разгонял машину, потом резко отскочил.

Автомобиль чуть задержался на кромке обрыва, потом резко вздернулся вверх багажником, машина ухнула вниз.

Петр слегка пожалел ее. Ему всегда было жаль видеть, как гибнут машины — даже такие, как эта, ментовская, оте-

чественного унылого производства, не машина, а гроб на колесах.

Не глядя на милиционера, он пошел к автобусу.

А все в автобусе смотрели в глушь обступавшего леса, и многие хотели оказаться там, на свободе.

Тихон взял Вику за руку (она позволила — в такой ситуации можно) и прошептал:

— Смешно, да? Несколько миллиметров стекла — и другой мир.

Вика посмотрела на него с удивлением: она тоже думала об этом.

А казалось — совсем разные люди.

Значит, не настолько разные.

— А в туалет можно? — спросил Димон.

— Он у вас тут! — ответил Притулов.

— Хотя бы ноги размять! — пожаловалась Наталья.

— Ладно, пять минут! — неожиданно разрешил Маховец. — Сначала левая сторона, потом правая. А потом наоборот.

Поднялись и пошли к выходу те, кто был на левой от Маховца стороне: Мельчук, Наталья и Курков, Тепчилин, Димон, Нина Ростовкина и Ваня Елшин — ему более всех надобна была прогулка, очень уж сидел бледный.

— Чего с тобой? — сочувственно спросил Сережа Личкин, когда Ваня проходил мимо.

— Ничего. Голова кружится.

— Это бывает. При сотрясении мозга, — объяснил Маховец. И громко объявил: — Можете отойти в ближайшие кусты. Но я засекаю время. Пять минут — выстрел в воздух. Через десять секунд после этого стреляю в тех, кто остался. И вы будете убийцы.

— Рисуем, — проворчал Притулов.

— Это они рискуют. Я людей знаю. Вернутся.

Мельчук думал: что, если бы он с собой взял ружье... Но как его взять на глазах у бандитов? Нечего и думать. Придется вернуться. Этот мерзавец обещание выполнит. А потом еще побежит догонять — и пристрелит.

Если я так боюсь смерти, откуда эта нелепая фантазия о самоубийстве? — задался Мельчук вопросом. И сам себе ответил: он боится смерти насильственной, чужой. То есть чужими руками. Он сам хочет выбрать, жить или нет.

Нина Ростовкина, отлучившись в заросли, демонстративно вернулась раньше времени. И — чтобы успокоить оставшихся.

Вместо нее выпустили Елену.

Тепчилин и Димон бежать не собирались: Димону было, как ни странно это звучит, просто лень, ему и так было хорошо, а Тепчилин, и это тоже странно, отчего-то был уверен, что с ним ничего страшного не произойдет.

Наталья, которую томила жажда по спиртному, уговаривала Куркова:

— Леня, это шанс. Они все равно всех поубивают, им не нужны свидетели!

— Там люди, — ответил Курков.

— А мы не люди? Я уже не могу, со мной будет истерика.

— Алкогольная?

Наталья понимала, что он прав, что это действительно близко к алкогольной истерике. Если ей хотелось добавить к уже выпитому, она была готова на все. Однажды, когда режиссер-сожигатель запер ее, она прыгнула в сугроб с третьего этажа. Раздробила пальцы на ноге, но добралась до заветного магазина, а потом три дня пила, чтобы утихомирить боль, и не давала вызвать «скорую». Ее взяли во сне, что-то вколов.

Сейчас она размышляла: Московская область — место очень населенное. Через час или полтора они окажутся в

каком-нибудь жилком месте. Позвонят в милицию. Ну, и выпить можно будет, само собой.

— Дурак! — сказала она Куркову. — Надо бежать и кому-нибудь сообщить! При чем тут выпивка вообще?

— Ни при чем?

— Нет!

— Ладно. А я тебе хотел купить чего-нибудь. Будем проезжать первый населенный пункт, попрошу, чтобы выпустили — и куплю.

— Не выпустят.

— Мы в России живем, Наташа. За чем угодно не выпустят, хоть ты умирай, а за водкой — всегда. Ментальность.

— Посмотрим...

Вариант Куркова Наталью устроил. На автобусе, действительно, получится быстрее.

А Ваня — бежал.

Сначала он отошел в чащу, не оглядываясь, чтобы этой оглядкой не выдать себя. Потом прибавил шагу. Побежал на цыпочках. А потом помчался уже во весь дух, огибая деревья и кусты. Лес был, каких много в Подмосковье, сосновый, густой только по опушкам, а в глубине просторный, бежать легко.

Ваня бежал от ужаса перед человеком, который его ударил, от ощущения неизбежности смерти, которое охватило его с того момента, когда он очнулся и ждал, что его добьют, уверен был, что добьют. Он не мог ни о чем думать, кроме возможности побега, и вот она представилась — так легко, так быстро, поэтому он бежит. Он, правда, представлял себе не так. Ему грезилось: вот выпустят на минуту — и надо разбежаться. Да, будут стрелять, да кого-то убьют. Но не всех же! Ваня вспомнил (не сейчас, сейчас не до этого, а в автобусе), как он видел кино про войну, и там колонну пленных

вели всего два десятка конвоиров с автоматами. Почему не попытаться? Наброситься на них, повалить. А остальные побегут. Или даже не набрасываться, просто побежать. Нескольких убьют, но большинство спасется. Почему вообще в истории всегда так: малая горстка людей управляет сотнями, тысячами, миллионами? И те часто не сопротивляются, не бегут! Почему? Может, потому, что при этом кому-то надо погибнуть и каждый боится стать погибшим?

Теперь Ваня об этом не думал, теперь он просто бежал.

Он хотел глянуть на часы, но тело тряслось от бега, рука тряслась, взгляд трясся и, казалось, вся земля сотрясается.

Неважно, сколько прошло, главное — жить, жить, жить.

А жить ты не сможешь, спокойно сказал кто-то.

То есть, эта мысль родилась в Ване — и не удивительно, что она показалась спокойной, ты бежишь, мозг тоже движется вместе с тобой, но мысль остается как бы неподвижной, в чем ее и достоинство; то есть, она тоже движется, но не скачет, она летит над тобой плавно, будто птица, и вот отсюда говорит: не сможешь. Спокойно говорит. Потому она говорит спокойно, что это не угроза, не окрик, не предупреждение. Это просто констатация факта: Ваня, ты не сможешь жить, если будешь знать, что из-за тебя убили людей.

И Ваня, выставив руки, налетел на дерево. Он стоял, упершись, тяжело дыша и глядя вниз — как тогда, после выпускного бала, когда его тошнило за школой, слишком много выпил для храбрости, а храбрость не понадобилась, девушка ушла с другим, исчезла навсегда... И тогда ведь он тоже знал, что уйдет, что все так и будет, — Ваня слишком многое видит наперед.

Видит, например, что сейчас он побежит обратно, к автобусу.

И бесполезно этому сопротивляться.

И Ваня, повернувшись, побежал обратно.

Он успел.

Выпустили и других, но разгуляться не дали:

— Все, кончай отдых! — закричал Маховец.

И непонятно было по его лицу, доволен ли он тем, что все пассажиры вернулись.

Казалось даже, что не очень доволен.

Через некоторое время выехали опять на трассу — уже с табличкой рейсового автобуса.

— Так, — сказал Маховец. — Продолжаем суд, господа присяжные!

— Какой суд? — спросил Петр, сев впереди, рядом с бирюзовой Еленой.

Маховец объяснил.

— То есть, это игра такая?

— Нет, Петр, почему игра? Все серьезно. Тебе разве не интересно, оправдают тебя или нет?

— Я и так знаю, что не виноват.

— Это ты знаешь. Давай, попробуй.

— Я посмотрю сначала. И послушаю. Ой! — вдруг удивился Петр, будто только сейчас увидел Елену. — С кем я сижу! Какая честь! Петр Кононенко! — Он протянул руку Елене.

Та не поворачивалась и не вступала в разговор.

— Чем это вы их напугали? — спросил Петр.

— Шутками, — сказала Елена.

— Да? А я шутками успокою, — пообещал Петр. — Ну, кто следующий у вас?

— Он, — указал Притулов на Федорова.

— Нет уж, играйте без меня в ваши игры, — отказался Федоров.

— Опять — ваши? — возмутился Маховец. — Не ваши, а наши, понял? Давай, люди ждут!

Федоров понял — Маховец не отстанет. За два с половиной года он научился лучше всего понимать именно это: когда есть смысл упираться, а когда хоть головой стучи, хоть криком кричи — бесполезно.

О крике неспроста: в детстве Андрею часто снился сон, что он попал в какое-то подземелье, вокруг темно и страшно, он кричит, чтобы выпустили, но не слышит своего голоса, отчего еще страшнее, зато ему кажется, что он слышит — какие-то люди, там, наверху, где солнце и простор, обычная жизнь и мамины пирожки с домашним ливером, хихикают над ним, не желая пустить его к солнцу и пирожкам. За что, что я вам сделал? — кричит Андрей, но опять без голоса, только мысленно.

И с чего бы этот сон? Случалось ему залезать с мальчишками в подвал родной панельной девятиэтажки на окраине Москвы, где жили родители, не боялся он закрытых помещений и даже однажды, чтобы понять свой сон, забрался во встроенный шкаф в прихожей, закрыл дверь, посидел минут пять в темноте, но так и не испугался.

И лишь намного позже Федоров, хоть и чурался всякой мистики, не верил предсказаниям, рассчитывал только на свои силы, понял, что детский сон был пророческим: попал-таки он в подземелье, то есть в тюрьму, не дают ему увидеть солнца и маминых пирожков — и хихикают. Хихикают мерзко, подло, гадко — потому еще гадко, что сами ничем не отличаются от него и знают это, и злорадствуют: ты считал себя умным, да попался, а мы вот дураки, да на свободе!

Есть тюремные этапы в виде передвижений, а есть те, которые проходишь независимо от места, сидя, лежа, во сне и наяву думая о том, что произошло, — и меняется оценка, меняешься ты сам.

Теперь, в итоге, Федоров не хотел никакого пересуда, он не хотел оправдания, он мечтал только о том, чтобы ему дали спокойно досидеть срок, к которому приговорили, эти оставшиеся пять с половиной лет. У него есть основания опасаться, что не дадут, добавят. Чтобы не вышел — желательно, никогда.

А сначала, в первые дни и недели, была полная уверенность — разберутся, освободят. Ну, может, в приказном порядке намекут, чтобы уехал подальше — ладно, он уедет. Или дадут для позора и назидания условный срок.

И адвокаты обнадеживали, и поддержка либерального общественного мнения доносилась, но однажды он, проснувшись среди ночи, вдруг понял ясно и четко: не отпустят. Наматывают по полной катушке. И весь покрылся холодным и липким потом: организм всегда точно чувствует правду мысли.

И намотали. Было за что, конечно же, пусть не в таком виде и не в такой форме, как это прозвучало в обвинительном заключении, но — было. Однако, жгла обида: другие виноваты не меньше, почему их не тронули, почему меня? Ответ на самом деле он знал: высунулся чуть больше других, похвастался возможностями и обозначил амбиции. Но обида от этого не становилась меньше. Она лишала сна, желания есть и даже иногда желания жить, но тут Федоров наткнулся на спасительную мысль, очень характерную для российского интеллигента, каковым себя считал: мысль о том, что в ситуации, когда все виноваты и невозможно наказать всех, наказывают в назидание одного. Существовали же когда-то показательные расстрелы — каждого десятого,

каждого сотого или пусть даже одного из тысячи, но обязательно перед строем, чтобы другим было неповадно.

Он оказался на месте этого показательно расстрелянного — что ж, видимо, сочли зачинщиком, душой заговора, самым опасным, это даже почетно в каком-то смысле. Ты страдаешь, да, но — за других страдаешь, во искупление общих грехов, рассуждал Федоров, для которого перед посадкой слова «искупление» и «грех» были совершенно абстрактными.

Как в детстве стоять в углу было нестерпимо, если ты считал, что наказали ни за что, зря, но, если понимал свою вину, было еще ничего, не так обидно, — так и теперь Федоров почувствовал облегчение, согласившись быть виноватым. Да еще добавил к этому горькую отраду мысли об искуплении.

Ему не терпелось поделиться своим озарением с теми, кто еще заблуждался насчет своей невинности, поэтому он передал через адвоката что-то вроде статьи для размещения на одном из популярных сайтов в Интернете. В статье Федоров писал о моральной деградации общества и своей собственной, призывал к покаянию, к обузданию страстей и appetитов, к тому, чтобы люди, власть и деньги имущие, вспомнили о совести и о народе, страдающем от их произвола, — иначе быть беде.

Это имело результатом новую обиду: многие расценили письмо как прошение о помиловании, не догадались, что призывал Федоров милость к падшим, а не только к себе, и самих падших просил признать, что они падшие.

Не захотели.

Было такое ощущение, что смеялись все — и власти, и исполнители, и падшие, и страдающий народ. А либералы так и вовсе обиделись: нельзя просить и унижаться, метать бисер перед свиньями.

Вот оно, еще одно слово: унижение. Не лишение свободы самое страшное, хотя и оно страшно, а унижение — ежедневное, нарочитое, сладострастное, казалось Федорову, пока он не понял, что у людей, его унижающих, часто даже нет умысла унизить, для них это просто привычка и манера, подкрепленная правилами внутреннего распорядка. Ну, с чем бы сравнить? Вот росток из семени, попавшего в шов кирпичной кладки, разрушает понемногу стену — сначала ветка, потом ствол, — разве он нарочно? Нет, он просто растет. Надзиратель, который наказывает Федорова за то, что руки не заложил за спину, возвращаясь с прогулки, за два яблока, не упомянутые в реестре посылочных вложений, за *распитие чая* в непопозволенном месте в непопозволенное время, — разве он издевается над ним? Нет, он просто служит.

Но от этого унижение еще глубже — кому приятно чувствовать себя бездушной кирпичной кладкой? Да и мысль о бездушном растении не утешает.

Его чистосердечному раскаянию не поверили. Может, потому, что никто, оказавшись он на его месте, не стал бы каяться, упорно считал бы себя невиновным, а если бы покался, то уж ни в коем разе не чистосердечно.

Не поверили, а власть не разглядела тот тайный посыл, что был в письме (и который сам Федоров не вполне осознавал): я признаю вашу правоту, я понимаю, что вам надо было что-то делать, чтобы остановить этот, признаем прямо, беспредел, начать нравственное возрождение. Правда, выяснилось, что никакого нравственного возрождения не планировалось.

До смерти было обидно Федорову видеть, как раздербаивается и делится бизнес, который для него был делом творческим; он презирал такое отношение к предпринимательству, когда в деле видят только источник дохода. Од-

нажды вдова погибшего сотрудника пришла со слезной просьбой «дать какой-нибудь бизнес», — так, наверное, овдовевшая крестьянка позапрошлого века просила у доброго барина дойную корову.

И настал следующий этап: Федоров разозлился. Он принялся настаивать на своей невинности, подразумевая, что если и виновен, то, как минимум, вровень с остальными. Всякая виновность вообще относительна и зависит от времени и места: первопоселенцы Америки безнаказанно стреляли в индейцев и друг в друга, это считалось уничтожением злобных дикарей или самообороной, никто их не судил. Почему же считают виновным его, Федорова, отстреливавшего индейцев и занимавшего их территории, если продолжить метафору, точно так же, как отстреливали и занимали все остальные?

Это вызвало ответную злобу: стали привлекать и сажать его бывших компаньонов, а к его уже шшитому делу дошивали, как выразился в доверительной беседе один следователь прокуратуры, длинные фалды и рукава. Чтобы до земли, чтобы никогда уже не подняться, чтобы, как понял Федоров, засадить его действительно с концами и навсегда.

А потом была пересылка в городке Ездروه — перед отправкой в Москву на пересуд. В камере с Федоровым оказался некто Кобышев, человек неприметный, тихий: сидел в углу и читал толстые книги — то Библию, то Коран, то буддийские какие-то трактаты. В разговоры не вступал, но Федорову, который вежливо спросил его о причинах такого странного разнообразия, с легкой усмешкой ответил:

— Я, как Киевская Русь, выбираю религию.

— И что выбрали?

— Да везде одно и то же. Все сводится к борьбе материального и духовного. Материальное губит, духовное спаса-

ет. Это я и раньше знал. Одно не нравится — все религии друг на друга наезжают. Не наш — погибнешь. Что там после жизни — конечно, вопрос, но при жизни, если ты хороший человек, все равно, иудей ты, мусульманин, язычник или вовсе атеист.

— Значит — без Бога жить? — спросил Федоров, который, хоть и обходился без Бога, но всегда чувствовал, что это как-то не совсем правильно, а по нынешним временам даже и неприлично. И карьере может повредить, как раньше вредила беспартийность. Недаром же стоят на Пасху с аллилуйными лицами верховные правители, умильно держа свечечки и показывая себя народу (им и в голову не придет, что камеры-то лучше убрать — верой не хвастаются).

— Боятесь? — догадался Кобышев. — Вот и я боюсь. И все мы такие — верить боязно, потому что надо жить правильно, а это трудно, не верить тоже боязно — вдруг все-таки Бог есть и накажет? Я знаете что подумал? Поет, допустим, десять тысяч лет назад, в пещере, доисторическая мамаша своему ребенку колыбельную. А он улыбается. Или другая мамаша, египетская, еврейская, римская, неважно — тоже поет. И ребенок улыбается. И им так же хорошо, как тем, доисторическим. Или мамаша совсем современная. В «хрущевке», в особняке на сто комнат с бассейном, кому что досталось. Но ей хорошо — и ребенку хорошо. Или, допустим, мужчина и женщина любят друг друга. И, как бы это сказать, обнимаются. Какая им разница при этом — пещера, шалаш, дворец? Ну, во дворце комфортнее немного. Главное — они любят. Другие случаи не рассматриваю — в смысле, голый секс. И если кто-то мне скажет, что качество объятий зависит от того, мусульмане они, православные или какие-нибудь пятидесятники, я не поверю. Хотя не исключено, — возразил сам себе Кобышев. — Нет, любовь для ясности отбросим. А вот то, что между мамой и ребенком —

всегда одинаково. Обмен душевным теплом, я так это называл. И сразу, знаете, стало все понятней. Что в этом и смысл — в обмене душевным теплом.

— Смысл чего? — уточнил Федоров.

— А всего. Да вы не напрягайтесь! — рассмеялся Кобышев. — Я сам этого еще до конца не понял. Но чувствую — где-то тут собака зарыта.

Федоров поинтересовался, за что сидит самодеятельный философ с техническим, как выяснилось, средним специальным образованием: курсы телевизионных мастеров закончил и на этом остановился.

— Да глупость, — неохотно сказал Кобышев. — Тестя убил.

— По неосторожности?

— Если бы. Ножом в живот по неосторожности не убивают. Ладно, это неинтересно.

И Кобышев замкнулся, уклонился от дальнейших разговоров. Видимо, неприятно было ему объяснять, почему между ним и тестем не возникло теплообмена.

А Федорову его простые, даже примитивные, если подумать, рассуждения, запомнились. И слова про душевное тепло показались точными. И подумалось, что сам он этим теплом пренебрегал, находя больше удовольствия в производстве интеллектуальной энергии. На чем, собственно, и погорел.

Вот там-то, в этой пересылке, он и пришел к окончательному своему этапу — к желанию отсидеть назначенный срок, выйти и жить ради того простого, что на самом деле является самым сложным и единственно необходимым.

До тоски хотелось в детство, в свой дом — подняться на лифте, противно и приятно пахнущем жилым человеком, к маминим пирожкам с домашним ливером («Обогащенным мясом!» — говаривал отец Алексей Петрович), до боли хо-

телось обнять жену, зарывшись в ее волосы, приласкать дочь. Хотелось также, буквально следуя вероучению (таким он его воспринял) Кобышева, зайти буднично в какой-нибудь заурядный магазин и улыбнуться продавщице — обменяться, то есть, задаром и запросто этим самым душевным теплом.

О кабинете своем, огромном, на сорок совещательных кожаных кресел, с дубовым столом, с умными и деловитыми лицами собеседников, подчиненных, товарищей, занятых огромным по масштабам и абсолютно ничтожным по наполненности душевной теплотой делом, Федоров думал с отвращением. Однако при этом предполагал со стыдом, похожим на стыд мастурбирующего подростка, закончившего дело и пообещавшего себе никогда больше этим не заниматься, что, если выпустят, скорее всего вернется он в свой кабинет, к своему огромному и бесполезному делу — как и подросток через пару дней совершит новый грех.

Но, может, и не вернется...

Теперь-то, после побега, точно не вернется. Никогда. Но уже по не зависящим от него причинам.

Надо было убежать не только из тюремной машины, а и от этих идиотов. Явиться в милицию, все рассказать...

Поздно.

Но, вероятно, что-то все-таки можно сделать в этой ситуации?

Федоров медленно поднялся, вышел перед пассажирами и сказал:

— Здравствуйте. Я Федоров Андрей Алексеевич.

— Тот самый? — узнала Елена.

Узнали и некоторые другие.

— А я все думаю, где я его видел! — крикнул Димон. —  
Здравствуйте!

— Тоже будете исповедоваться? — спросила Наталья.

— Нет. У меня все просто. Восемь лет за финансовые преступления. Два с половиной года отсидел. Оправдывать меня не нужно.

— Никто и не собирается! — сказал Тепчилин. — Из народа кровь сосал!

— А теперь вообще к бандитам присоединился! Все закономерно! — поддержала Наталья.

— Я не присоединился, — возразил Федоров. — Просто так получилось, что мы вместе сбежали.

— Он вообще ангел, граждане присяжные! — закричал Маховец.

— Я в ваши акции деньги вкладывал! Где мои деньги, где акции? — возмущенно спросил Димон. Никаких денег

ни в какие акции он не вкладывал, но где-то читал, что кто-то вкладывал какие-то деньги в какие-то акции компании Федорова, вот и спросил — как бы за других обиженных.

— У людей жить негде, а у него дом сорок восемь комнат! — добавила Любовь Яковлевна, которая тоже где-то читала, что у Федорова очень огромный дом, с полсотни комнат, цифра сорок восемь сказала сама собой — для точности. Точность убедительна, уж это Любовь Яковлевна знала как мастер торговли: скажешь, к примеру, покупателю, что пиво стоит не пятнадцать рублей, а двадцать, он может засомневаться, а скажешь, что двадцать один рубль сорок копеек — сомнений никаких не возникает.

Нина решила защитить Федорова:

— Он же не украл, он работал! Плюс прибыль! Нормальный закон капитализма, пора привыкать!

— Прибавочная стоимость, — поддержал и Тихон — отчасти с усмешкой, отчасти всерьез: его отец тоже много работает и тоже имеет для себя прибавочную стоимость, которую, правда, некоторые называют «откатом».

Мнения разделились и чуть было не возникла дискуссия на тему, что есть такое современный капитал и современные капиталисты и надо ли им давать развиваться или запихнуть всех в один мешок и утопить. Естественно, большинство склонялось к тому, чтобы утопить.

Масла в огонь подлил и Петр, добавивший от себя, что лично он именно у таких олигархов и угонял машины в пользу народа, а его за это обвинили вместо того, чтобы спасибо сказать.

— Ты еще успеешь выступить, — остановил его Маховец. — А теперь, граждане присяжные, кончай базар. Голосуем: кто за то, чтобы господина Федорова оправдать?

Подняла руку Елена: ей жалко стало одинокого Федорова, который, к тому же, был представитель обиженного

частного предпринимательства, к коему она себя причисляла. Подняла руку Арина: Федоров казался ей симпатичным мужчиной, хоть и был очень небрит. Еще она это сделала наперекор матери, которая что-то зашипела и толкнула ее локтем. За оправдание была и Наталья — хотя она и считала, что быть богатым в России безнравственно, Федоров все же казался единственным среди захватчиков интеллигентом, а она всегда была за интеллигенцию. Присоединился к ней Курков — по тем же соображениям. Подняла руку и Вика: она ненавидела Маховца, а Федоров явно хотел от него отмежеваться. Тихону было, в общем-то, все равно, он не любил политику и экономику, но оправдать человека всегда лучше, чем осудить, поэтому он тоже был за оправдание. Подняли руки, конечно, и Нина Росточкина с Ваней Елшиным.

— Восемь! — бухгалтерским голосом объявил Притулов.

— Хорошо. Кто против оправдания?

Против были Желдаков и Тепчилин, Любовь Яковлевна и Димон, а также Татьяна Борисовна, которая вообще была против всех этих бандюганов: они погубили ее сына. А кто они там, душегубы или капиталисты, — без разницы. Все одни заодно, если подумать. Капиталисты наживают деньги и добро, вводят в грех тех, у кого этого нет. Жили бы все равно, ничего бы этого не было, рассуждала Татьяна Борисовна, забыв, что при социализме все жили равно, за исключением жуликов, но грабили и убивали не только жуликов, а равные таких же равных.

— Пять! — сказал Притулов.

— А ты чего? — спросил Маховец Мельчука.

— Я воздержался. Имею право? — спросил Мельчук с некоторым даже вызовом.

Маховец был настроен благодушно.

— Радуйся! — сказал он Федорову. — Большинством голосов оправдали тебя. Скажи спасибо народу!

Федоров молча сел, но тут же почему-то опять встал и сказал с необъяснимой искренностью:

— Спасибо!

21.35  
Шумейки

Мельчук недаром так осмелел, что пошел против всех и воздержался, хотя никто его особого настроения не заметил. Оно возникло в нем несколько минут назад — проехали указатель на Шумейки.

И с Ильей Сергеевичем что-то произошло. Если до Шумеек он ждал и надеялся — неизвестно, чего ждал и на что надеялся, — то теперь понимал: ничего хорошего не будет. Эти бандиты шутят, посмеиваются, но рано или поздно начнется погоня. Обнаружат отсутствие милицейской машины, покажется странно, что милиционеры не отвечают, кто-то сообщит, что вместо рейсового автобуса, на который, возможно, собирались подсесть попутные пассажиры, едет какой-то другой. И тогда пассажиры станут настоящими заложниками, и все будет уже всерьез. И чья-то смерть не за горами. Не исключено, что его смерть, Мельчука.

А он не хочет.

Илья Сергеевич догадался наконец, зачем он ездил в Шумейки поразмышлять о смерти в опасном присутствии ружья. Он поверял свою жизнь этими размышлениями. Вскоре то, что он любил в ней, кончится — он не будет хо-

зяином положения, окажется не в центре дел и даже не в центре семьи, а где-то сбоку, там, где ежедневный телевизор, прогулки в кухню и обратно, лекарства, отвары, теплое белье, брюзжание. Впереди, то есть, была болезнь, называемая старостью, со множеством ограничений, запретов, с маломощностью — в какой-то степени тюрьма. Но из тюрьмы можно выйти назад, а из старости назад не выйдешь. И это пугало безнадежностью, томило, унижало.

И вдруг прояснилось: да нет ничего пугающего и унижительного. Во-первых, никто не мешает переключиться на мирные занятия. Ковыряться на даче, например. Во-вторых — почему тюрьма, если ты, пока действительно не слегешь в тяжелой болезни, что вовсе не обязательно (отец до восьмидесяти четырех был на своих ногах), можешь свободно передвигаться. Даже в пределах квартиры. Захотел в кухню — пошел в кухню. Захотел выйти на балкон — вышел на балкон.

А тут он сидит, боясь лишний раз пошевелиться, а о том, чтобы выйти, даже и речи нет. Да по сравнению с этим любая старость — полная свобода!

Вместе с этой радостью открытия нарастало желание действовать.

Он все ждал, что кто-то из бандитов обратит внимание на брезентовый чехол.

Но никто даже не потянулся рукой к полке, не пощупал, хотя само в глаза суется.

Верно, значит, житейское правило: если хочешь что-то надежно спрятать, положи на виду.

Мельчук с холодной четкостью военного человека (чего от себя не ожидал), составлял мысленный план. Чехол застегивается на молнию. Вскочить, схватить чехол, отстегнуть, выхватить карабин — все это он успеет. Потом быстро присоединить магазин с патронами. Магазин в рюкзаке.

Рюкзак рядом. Тогда в такой последовательности: незаметно засунуть туда руку, нашарить магазин, взять его, вскочив, схватить ружье, достать, закричать что-нибудь угрожающее и отступить назад, одновременно вставляя магазин. Они растеряются. Главарь поднимет автомат, но будет поздно, Мельчук выстрелит. И все кончится, и все будут свободны.

Не хватало лишь повода, поэтому Илья Сергеевич и попытался наскочить на главаря, но тот даже не заметил. Видимо, почуял тренированным на опасность нутром: не надо замечать.

— К Лихову подъезжаем, — сказал Козырев.

— Ну и что? — повернулся к нему Маховец.

— Ничего, просто сказал.

Наталья тут же напомнила Куркову:

— Ты обещал.

— Да, сейчас.

Здесь, решил Мельчук. Населенный пункт, кругом люди. Если что — могут помочь. Один выстрел в главаря, другой в окно. И кричать, что автобус захвачен.

Он откинулся в кресле, прикрыл глаза, делая вид, что хочет подремать. Но через некоторое время чуть приоткрыл их, посмотрел вверх, примериваясь.

В это время Курков поднялся и пошел вперед.

— Тебе чего? — спросил Притулов.

— Предложение есть.

— С места не мог сказать?

— Да ладно вам. — Леонид не собирался обсуждать шекотливую тему на весь автобус.

Он оказался перед бандитами, загоразивал собой проход.

Мельчук подумал, что это даст лишнюю секунду помехи для тех, кто захочет на него броситься.

— Я вот что, — сказал Леонид. — Остановимся у какого-нибудь магазина, возьмем выпить?

— Загорелось? — весело спросил Петр.

— Ну, загорелось. И вам возьмем.

— Дело хорошее, — согласился Маховец. — Деньги есть?

Курков достал бумажник. В последнее время он неплохо зарабатывал, к тому же, отправляясь в Москву, думал о непредвиденных обстоятельствах (за квартиру придется заплатить, отдать долги Натальи, если есть), поэтому взял с собой немалую сумму, которая почти вся осталась нетронутой. Леонид вынул несколько купюр.

— Кроит, как в аптеке! — возмутился Петр и взял у него весь бумажник. Достал плотную пачку денег и показал всем: — Ого. Мужчина у нас шоколадный оказался! Иди, садись, мы все принесем. И слачу дадим.

21.40  
Лихов

Мельчук нащупал магазин, выхватил его, вскочил, схватил чехол. Тот зацепился за что-то, Мельчук рвал его, дергал. Курков оглянулся. Мельчук уже понял, что ничего не выйдет, но продолжал бессмысленно дергать чехол.

— Чего это мы засуетились? — Маховец, передав автомат Притулову, подошел к Мельчуку.

Мельчук опустил руки.

Маховец снял ружье — и чехол не зацепился.

Он отстегнул молнию, вытащил карабин.

— Ничего себе! — оценил Димон. — Красивая штука!

— Ты охотиться тут собрался? — спросил Мельчука Маховец. — На кого? А патроны где?

И сам увидел магазин в руке Мельчука. Взял его и, осмотрев карабин, который держал впервые, догадался, где у него что, вставил магазин, передернул затвор.

В автобусе стало очень тихо.

— Да не бойтесь вы, — сказал Маховец. — Я не убийца, хоть и людей убивал, это он убийца. Расстрелять нас хотел? А?

Мельчук не ответил. У него дрожали руки, подбородок.

— Вот так, граждане присяжные! — обратился Маховец к пассажирам. — С вами, как с людьми, а вы только и думаете, как бы нас убить. Может, еще у кого оружие есть? Нет? Ну, смотрите. А с ним мне что делать? Это хорошо, что мы успели его обезвредить. А что было бы, знаете? Он бы выстрелил. А я тоже. И мы бы всех вас тут покрошили. Так что — продолжаем наш суд в новом направлении. Вопрос такой: пристрелить мне его или нет?

— Перестаньте, — сказала Наталья. — У всех нервы. Надо понять человека.

— Нервы надо лечить! Повторяю вопрос и ставлю его на голосование. Условие такое: кто руку не поднимет, того я тоже пристрелю.

— Ладно тебе, — сказал Петр. — А то напугаешь еще.

Маховец резко повернулся к нему:

— Я тебе дам ладно! Я тебе так дам ладно, урод, что ты забудешь тут рот раскрывать, пока я не разрешу! — И опять к пассажирам — почти нежно: — Ну, голубчики? Поехали? Кто за справедливый расстрел данного преступника? А? Что это вы засомневались? Он вам не друг, не брат, не родственник.

Тут Мельчук повернулся и сказал:

— Голосуйте, не сомневайтесь. Ему все равно надо кого-то убить. Пусть уж меня.

— Мне не надо, я вынужден! — не согласился Маховец. — Я жду.

И он поднял карабин.

И всем стало ясно, что он выстрелит. Бывает: так человек посмотрит, что не остается никаких сомнений в его намерениях. Ни у кого.

— Он идиот, за ружье хватается, а нам погибать? — выкрикнул Тепчилин. — И поднял руку первым.

Постепенно, медленно, не сразу — руки подняли все.

Застрелит он меня, и я не смогу ничего сделать, подумал Ваня. А так, может, что-нибудь смогу.

Застрелит он меня, и я не сумею ему отомстить, подумал Желдаков, который считал, что хочет отомстить Маховцу.

Застрелит он меня, и я не узнаю, чем дело кончится у Стива и Дафны, думала Нина, учитывая, что Дафна уже ходит по улицам, изображая слепую и, похоже, хочет нарочно стать по-настоящему слепой.

Застрелит он меня, подумал Курков, и не допишу я ту картину, которую начал весной и которая должна стать не только лучшей в моем творчестве, но вообще может знаменовать собой новое направление.

Застрелит он меня, подумал Димон, и не будет тогда ни лайфу, ни кайфу. Да и мать не переживет, подумал он дополнительно, она и так больная.

Дядька уже старый, а я молодой, он уже пожил, а я нет, думал о Мельчуке и себе Тихон.

Я отвратительно буду смотреться мертвая, думала Вика, все мертвые выглядят ужасно (и вспомнила недавние похороны бабушки).

Мне еще детей рожать, думала Арина.

Я дочь сиротой не могу оставить, думала Любовь Яковлевна.

Если выбирать, жить другому или мне, я всегда выберу себя, честно думала Елена.

Не хочу умирать в таком мучительном состоянии, если бы сперва выпить хотя бы, думала Наталья.

Голосуй, не голосуй, они все равно по-своему сделают, думала старуха Лыткарева.

На самом деле они думали не совсем так или совсем не так, но причины были такими, если их сформулировать. А на них наложились бы еще причины неосознанные, побочные, тайные.

Но Маховец не поверил их искренней и оправданной трусости, не поверил, что они подличают от души и от чистого сердца (хотя обычно только в это верил).

— А я знаю, почему вы все проголосовали. — сказал он. — Потому что думаете, что я его не застрелю. Ошиблись, граждане! Вы человека к смерти приговорили, так и знайте.

И он наставил карабин на Мельчука.

По лицу Илья Сергеевича струился пот. Но в глазах было, как и у других: «Нет, не верю, не может быть».

Вот такие моменты Маховец очень любил. Он вспоминал свои счастливые годы главенства в районе «Техстекла», когда подходил к какому-нибудь домашнему пареньку и задумчиво спрашивал: «Угадай, дрёбну я тебя или не дрёбну?»

Паренек терялся. Скажешь «да» — получишь по морде: угадал. Скажешь «нет» — тоже получишь: не угадал. (А Игорю даже в голову не приходило, что это дворовый вариант известной логической загадки.)

Нравилось ему также, идя с дружной компанией в неизвестном направлении (потому что не направление важно, а энергия движения), остановить первого попавшегося и сказать: «Пойдем с нами!» Тот, конечно, шел, а сам гадал, что с ним будет, и Маховец видел, чувствовал это его состояние, и держал в неизвестности как можно дольше, а потом, в зависимости от настроения, казнил или миловал.

— Менты! — сказал вдруг Козырев.

Он рисковал. Пост дорожной службы только появился в видимости, он был еще далеко, Маховец мог заподозрить Козырева в намерении вмешаться, нарушить его планы. Но слишком неприятной была для Козырева мысль, что сейчас в автобусе может появиться труп. Само собой, и человека жаль, но его он не знает, он чужой, а автобус — это свое, родное и близкое. Козырев не хотел, чтобы его осквернили

кровью, он представил, с каким трудом придется все очищать и, быть может, менять чехлы на сиденьях, да еще точно такого же материала, пожалуй, сразу и не найдешь, а если и найдешь, он будет отличаться новизной, Козырев же любил во всем красоту единообразия; ему, кстати, поэтому нравилась окраинная новостроечная Москва с ее одинаковыми многоэтажками; жизнь людей, считал он, тогда будет мирной и спокойной, когда станет симметричной, равной и в силу этого — не завистливой. Никто при этом не говорит, что человек тоже должен быть во всем симметричным. Дом у тебя типовой, спокойный, и квартира типовая, спокойная, но сам-то ты свободен, что хочешь, то и делай в своей этой квартире — пей водку, если дурак, пиши книжки, если умный, заботься о жене и детях, если семейный или просто лежи, смотри телевизор, если устал, болен или старый. А главное — займитесь вы наконец благоустройством, мысленно призывал Козырев соотечественников, ведь оттого и дети ваши растут грубыми, дерзкими, неприветливыми, что видят с малолетства бескрайнюю дрянь если не в доме и квартире, то на улице, если не на улице, то в окрестностях. Отсутствие красоты и порядка (что фактически одно и то же, считал Козырев) делает наших отечественных людей с детства эстетическими инвалидами — так бы он выразился, если бы умел, но — понимал.

Маховец посмотрел вперед.

— Лучше бы объехать, — сказал он.

— Поздно, поворота нет.

— Они тебя останавливают обычно?

— Редко.

— Так. Проезжаешь спокойно. — Маховец опустил карабин ниже пояса, чтобы его не увидели снаружи. — Если попробуешь дать им какой-нибудь знак...

Он не закончил, но Козырев понял.

— Очень мне надо. И вообще, ты бы поспокойней, — осмелился он. — Прибьешь кого-нибудь, у людей истерика начнется. Будут себя вести... нервно. И начнется всякая ерунда.

Маховец не мог не согласиться с опытным и неглупым человеком, каким виделся ему водитель (он вообще шоферов уважал). Доводить до края, до отчаяния — нельзя, опасно. Он вспомнил, как при нем вся камера издевалась над молодым человеком девической внешности, и тот терпел, терпел, терпел, хотя от унижений иногда в голос рыдал, уже никого не стесняясь, но однажды самый приставучий, наглый и изобретательный мучитель просто, проходя, щелкнул его по носу, и этот девический молодой человек вдруг закричал диким голосом и вцепился в лицо обидчику, очень необычно вцепился, Маховец никогда такого не видел: руками растягивал рот, как раздвигают двери в метро, его оттаскивали, били по рукам и по голове, но он ничего не чувствовал, упрямо рвал рот врага, пока не успокоили ударом в висок...

Пост милиционеров был все ближе.

— Не тише, не медленней, — предупредил Маховец.

— Знаю! — отозвался Козырев с нескрываемым раздражением: никакой водитель не любит советов под руку. Маховец это понял и простил ему.

А Мельчук все стоял.

— Сядь, — сказал ему Маховец. — Живи пока. Расстрел откладывается, — обратился он к остальным, — но не отменяется! Не расслабляйтесь, граждане присяжные!

Проехали КП благополучно, потом был пустырь до первых домов, а потом Козырев увидел продуктовый магазин.

— Остановимся? — спросил он.

— Конечно! — воскликнул Петр.

Козырев открыл дверь.

— Идем, поможешь, — сказал Петр Личкину.

Сережа радостно заторопился.

Маховец хотел предупредить, чтобы не брали много — могут запомнить, но не успел: Личкин и Кононенко уже бежали к двери магазина.

Через пять минут они вышли, нагруженные по горло. Личкин тащил картонный ящик с бутылками, а Петр два больших пакета, подняв руки и держа на них не уместившийся в пакетах арбуз.

— С весны хочу арбуза, а у них продают! — радостно сказал он. — Целый угол навален!

— Вы только ведро возьмите, чтобы корки собрать, — недовольно сказал Козырев. — Сзади там у меня стоит. Все-таки автобус, не свинарник.

— Не беспокойся, папаша!

22.10  
Лихов — Зарень

Петр щедро раздал всем и выпивку, и закуску. И даже милиционеру налил стаканчик, поднес ко рту, милиционер жадно выпил — он изнемог трястись внизу на жестких ступенях, хотя и нашел себе дело: обнаружив за спиной какой-то острый выступ, понемногу перетирал веревки. Ваня Елшин видел это, но, конечно, молчал.

— Ну чего, теперь меня судить будем? — спросил Петр.

— Давно пора! — сказал Маховец.

Петр встал, улыбаясь во все стороны. Ему нравилось, что он всех угостил, ему всегда нравилось быть широким и добрым. Вообще-то он любил в жизни две вещи: деньги и автомобили. Но не любовью собственника, который дрожит над каждой копеейкой, боясь потратить, и убивается над каждой царапиной любимого пожилого «жигуленка», а любовью вольной, легкой. Автомобили, особенно красивые и мощные, ему представлялись чем-то вроде мустангов, которые по ошибке кому-то принадлежат, — мустанги не должны принадлежать никому, как никому не должны принадлежать, по мнению Петра, красивые женщины. (И в

этом он нечувствительно сходился с Артемом) Нет, в самом деле, вот Лувр какой-нибудь, то есть музей, где замечательное искусство. Или Зимний дворец, где Петр был один раз и страшно утомился обходить бесконечные залы. Разве справедливо, если б Лувр или Зимний дворец принадлежали кому-то одному, а он показывал бы их, кому захочет, а не захочет — не показывал бы. Красивая женщина, как Лувр или Зимний дворец, должна быть общим достоянием. Не так, конечно, чтобы любой мог купить билет, это уже проституция какая-то, но у каждого должен быть шанс.

С автомобилями то же: чудо техники, дизайна, красоты — а владеет один, причем часто в этом даже не разбирается, тычет только пальцем в кнопки, а насколько хороша машина, на самом деле не понимает, ему об этом сказали люди и ее цена. Люди хвалят, цена высокая — значит, хорошо. Петр заочно злился на таких владельцев, поэтому чувствовал себя вправе лишить их того, что им на самом деле не нужно. Угон машины для него всегда был чем-то вроде быстролетных и красивых отношений с женщиной, он не взламывает, а уламывает, уговаривает — натурально, вслух, шепча в возбуждении: «Ну, милая моя, хорошая, не упрямясь, все равно будешь моя, давай, красавица, не мучай себя и меня». И, когда овладевает машиной, у него такое чувство победы, какого не бывает в отношениях с женщинами. Уже потому, что женщины при всем их разнообразии принадлежат к одной модели, выпущенной раз и навсегда. Возможны апгрейды и тюнинги, кое-какие усовершенствования кузова для лучшей обтекаемости и современности форм, но возможности слишком ограничены. Автомобили же за свою историю, как знает Петр из любимых автожурналов, претерпели фантастические изменения. И каждая новая модель обогащается чем-то принципиально иным, чего нет у предыдущих. Некоторые машины выпус-

каются тиражом всего несколько тысяч, а то и сотен экземпляров, есть вообще единичные, абсолютно уникальные. Подобных женщин не бывает в принципе. И ты должен это понять и оценить за считанные часы, а иногда минуты, когда же машина сдана, Петр успокаивается: с глаз долой, из сердца вон, он уже думает о следующей.

Деньги, как и автомобили, как и красивые женщины, по мнению Петра, не должны принадлежать отдельным людям всегда и постоянно. То есть, когда много денег, это хорошо, но надо, чтобы они тратились — празднично, масштабно, лихо. Петр любит деньги художественно и осязательно, то есть, иногда любит их просто рассматривать — и доллары, и евро, и российские рубли. Они отличаются рисунками, номиналами, но есть в них некая магическая, сакральная суть, сказал бы Петр, если бы знал такие слова. Превращение какой-нибудь сотенной бумажки в реальную вещь для Петра — всегда какой-то фокус, которому он подетски радуется. Смешно же, разве нет: у тебя в кармане может поместиться и костюм, и ботинки, и даже автомобиль, и даже целый дом! — если купюры крупные или, тем более, карточка, но карточек Петр не любит — они безлики, в них нет настоящей материальности и конкретности: на тысяче цифра 1000 — и это тысяча, а на карточке ничего нет, пусто и глупо, только номер и фамилия.

Петр, получив за работу деньги, тут же превращает их в вещи и удовольствия — для себя, для друзей, для женщин. Он любит момент, когда в его руках оказывается толстенькая пачка купюр. Не сотенных, она обманчива, там много, а на самом деле мало, в банковской упаковке — десять тысяч, разве это деньги? А вот такая же пачка тысячных — совсем другое дело. И совсем интересно, когда пяти тысячные, когда в твоей руке плотно и компактно лежит полмиллиона! Было дело, заработал он такие деньги, когда увел из

стойла «ламборгини-галлардо» (их всего несколько штук в России), создание гениального итальянского тракториста, увел ночью, летел по трассе со скоростью за двести километров, чувствуя при этом, что пятьсот лошадей под капотом могут еще быстрее, но не давали другие машины, слишком много их в подмосковных окрестностях...

Но даже эту машину, традиционно желтую (правильный цвет настоящих «ламборгини») красавицу он не хотел бы оставить у себя. Таких красавиц надо любить по-сумасшедшему и коротко, а вот жениться на них нельзя. Он ведь не шейх какой-нибудь, он нормальный человек. И он не ребенок, который хочет просто покататься на «бибике», ему важно именно ее украсть, это входит, как говорится, в стоимость. Не для себя причем украсть, украсть у одного несметного богача, чтобы передать другому, тоже богачу, хоть и не такому несметному — у которого, если доведется, тоже украдет.

Поэтому Петр при всем желании не мог почувствовать себя преступником — а только приключенческим героем, которому деньги, полученные за работу, нужны лишь для того, чтобы их потратить.

Правда, в последнее время все стало немного хуже, неприятней — из-за этих самых спутниковых систем сигнализации, из-за того, что уже не получалось оказаться наедине с машиной, вмешался человеческий фактор, работа с владельцем, это страшно портило настроение, потому что начинало походить на обыкновенный грабеж.

Вот что мог бы Петр рассказать этим людям, но не хотел — и слов не найдет, да и не поймут они его. Но он мог зато им впарить идею, которую заимствовал из различных источников, включая старый замечательный фильм «Берегись автомобиля», где рассказывалось о благородном угонщике, воровавшем машины только у богатых жуликов. И Петр ее впарил.

— Граждане пассажиры! — сказал он.

— Присяжные, — поправил разомлевший от водки Се-режа Личкин.

— Да. Граждане присяжные! Я угонщик. Я угонял до-рогие машины у богатых людей, которые скопили их не-справедливыми деяниями. Они обирали государство, включая честных граждан, то есть, нас с вами, а простому человеку было обидно смотреть, как они ездят по его тру-довым дорогам. Чтобы каждый, кто думает, что на него нет силы, чтобы он знал, что сила на него есть, и он в следую-щий раз подумает, чтобы дразнить людей своими роскош-ными автомобилями! Я приучаю людей к скромности, по-тому что она украшает человека. А кто этого не понимает, тот сам виноват. Не купил бы он какую-нибудь «ламборгини» или «феррари», или хотя бы «бэжу», скажем, седьмую, или последней серии «мерин-родстер», который загадка, зачем «родстер» на наших дорогах, а тем более кабриолет, если о кузовах? Тогда и не было бы у него неприятностей!

— Были бы у всех машины «ока», и никто бы не воро-вал! — высказал веселое предположение Димон.

— Именно! — обрадовался Петр правильному понима-нию. — Недавно вот писали в газетах, у певца этого, кото-рый, ну, фамилию забыл, неважно, у него часы украли, ко-торые сто тысяч стоят. Долларов. Уборщица, типа того, виновата! А кто его просил часы за сто тысяч долларов по-купать? А?

— Вот уж правда! — отозвалась Любовь Яковлевна, ко-торую тоже возмущало безудержное мотовство: она слыша-ла о нем по телевизору и читала в желтых газетах, оставляе-мых посетителями в кафе, — сама бы сроду такую гадость за свои кровные не стала покупать, ни о чем приличном не пишут, а только про секс и насилие, будто людей ничто дру-гое не интересует. — Совсем озверели уже!

— Рехнулся народ! — высказалась и Татьяна Борисовна. — Да он сам того не стоит, чем часы его!

— У меня вот сроду ничего не украли, — вступил Тепчилин. — Потому что я имею совесть и ничего такого не покупаю, хотя, может, и могу.

Наталья решила вступить за либеральные ценности:

— Человек имеет право, если у него есть возможность! — сказала она.

— Он у нас эту возможность взял! — возразил Тепчилин.

— Какое такое право — нагрбил, вот и все право! — в один голос с ним закричала Любовь Яковлевна, и старуха Лыткарева тоже что-то добавила в этом духе, и Желдаков не то сказал что-то, не то просто неодобрительно цыкнул невнятным междометием, выражая отношение к грабителям народа.

— О том и речь! — потряс Петр указательным перстом, направив его вверх, то есть к подлым вершинам воображаемой социальной лестницы. — Вот я и заботился, чтобы им не так хорошо спалось, как они того не заслуживают, я их наказывал, как умел!

— А продавал кому? Бедным? — спросил Курков.

— Нет, не бедным! — бодро ответил Петр, зная, чем возразит. — Тоже богатым. Но я что делал тем самым? Я между ними вызывал вражду, потому что, когда один богатый крадет у другого, они начинают друг друга ненавидеть. А люди опять получают в выигрыше!

Эта логика если не всех убедила, то многим понравилась.

— Короче, уже пора голосовать, — предложил Маховец.

Руки поднялись дружно — всем, пожалуй, даже приятно было оправдать такого веселого человека, занимавшегося таким относительно безобидным делом.

Тем временем операция по перехвату и задержанию пятерых сбежавших заключенных разворачивалась во всех направлениях. О побеге стало известно еще утром, но, к сожалению, начали действовать не сразу — по вполне понятным причинам. Сначала разбирались с водителем автозака и сопровождающим: почему и как оно получилось и, главное, в каком месте произошло. Но точное место ни водитель, ни сопровождающий указать не могли: они обнаружили открытую дверь уже при подъезде и не сами — кто-то то обгонявший посигналил и показал из окна рукой: посмотрите, дескать, что у вас там сзади. Тем не менее, была известна та часть маршрута, где это, по всей вероятности, случилось. Пустили туда экипажи ППС и прочих служб, надеясь прочесать эти районы и, может быть, наткнуться на беглецов. Когда попытки не увенчались успехом, доложили по начальству. Начальство вызвало водителя, сопровождающего, руководителей, которые пытались организовать поиск по горячим следам, дотошно все выспросило, сказало все, что думает о разгильдяях, пригрозило увольнением и приказало еще раз прочесать уже прочесан-

ные места — очень уж не хотелось передавать неприятную информацию выше.

Но и повторные поиски не дали результата. Начальство было вынуждено доложить своему начальству, в УВД Москвы. Это начальство, схватившись за голову, вызвало подчиненное начальство, водителя и сопровождающего, тех, кто уже участвовал в операциях поиска, устроило всем громовой разнос, пригрозило увольнением и приказало сделать, что угодно, но беглецов найти. Еще раз прочесали уже дважды прочесанные районы, охватили шире — без толку. Начальство УВД поняло, что придется доложить министерскому начальству. Если бы рядовые были рецидивисты, можно было бы оттянуть, попробовать справиться, а тут — известные личности, и о Федорове газеты писали и пишут до сих пор, и о маньяке Притулове, да и о Сергее Личкине — в связи с казусностью случая: «Комсомольская правда», в частности, вывесила огромный заголовок: «Резня после свадьбы». Бывали уже прецеденты, когда министерское начальство о чем-то или ком-то узнавало из печати, а не от своих низовых звеньев, и страшно возмущалось, а министр даже высказывался в том духе, что еще один такой случай — и он не пощадит никого.

Министерское начальство, естественно, пришло в бешенство — уже от одной мысли, что придется доложить министру. Вызвало всех, кто причастен к происшествию. Устроило разборку. Наконец поставило в известность министра, и операция началась уже всерьез.

Сложность заключалась в том, что необходимость широкого оповещения сопрягалась с требованиями секретности, иначе узнают ненавистные милиции средства массовой информации, которые, как убеждены все, от министерства до рядовых опорных пунктов, лишь пособничают преступ-

никам, снабжая их ценными сведениями, помогающими уйти от ответственности.

К вечеру появился реальный след: в районе Копенок нашли в овраге разбитую милицейскую машину, а рядом — связанной о милиционера. Милиционер дал показания: они в ходе заградительно-поисковых мероприятий остановили автобус, напарник пошел проверять, из автобуса выскочили люди, напали, связали.

Какой автобус?

Милиционер ответил: большой, красный, «мерседес». Может быть, рейсовый, но он не обратил внимания: они сзади обгоняли, там никаких табличек не было, а спереди он не посмотрел.

В это время, на счастье, поступил звонок: сознательный гражданин, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в начале вечера он наблюдал, как двое напали на милицейскую машину, стоявшую перед автобусом. Маршрутом автобуса, к сожалению, тоже не поинтересовался.

И все же стало легче, хотя и не окончательно легко: автобус мог свернуть куда угодно.

С другой стороны, не так уж много красных пассажирских «мерседесов». Стали обзванивать автопредприятия, чьи автобусы ходят по междугородным маршрутам. Выяснилось, что подобных автобусов десятки. Но все же не сотни и не тысячи. Дали указания проверять все красные «мерседесы» — с осторожностью: какой-то из них захвачен, пассажиры стали заложниками, у преступников имеется оружие.

Потом некто сообразительный предложил идею, требующую кропотливости, но сулящую результаты: пусть автопредприятия дадут номера телефонов водителей. Обзвонить их всех и это что-то даст.

Сейчас как раз этим и занимались. Пока все водители

отвечали спокойными голосами, что все нормально. Но у некоторых телефоны были отключены или недоступны.

Круги сужались и сужались, все особым милицейским чутьем предугадывали, что вскоре беглецов обнаружат. Лучше бы, конечно, до наступления темноты.

А в оперативных кабинетах уже разрабатывали планы захвата, напряженно думая над тем, как избежать жертв.

Если их еще нет.

Дружественная выпивка в автобусе продолжалась. Маховец подобрел, выпил даже на мировую и с Желдаковым, которому повредил ухо, и с Мельчуком, которого чуть не убил.

Петр со всей деликатностью, которая ему была доступна, пытался наладить контакт с Еленой. Та отвечала односложно, но уже без явной неприязни. Пару раз взглянула на Петра с легким удивлением и недоверием — когда тот небрежно упомянул имена двух очень известных по светским гламурным журналам девушек.

— Думаете, вру? — спросил Петр.

— Не знаю... Бывала я в этих кругах. Они очень филтруют, с кем иметь отношения, с кем нет. На виду же все.

— В этом и фокус, — объяснил Петр. — Они понимают, что если закрутят с кем-то известным, это сразу все узнают. Статьи, фотографии, кому это надо? А когда человек ниоткуда, ну, тайный человек, но свой, то есть, с деньгами и все такое, у него шансов даже больше.

— Логика есть, — согласилась Елена.

И Петр, вдохновленный, продолжил ненавязчивый, но целенаправленный разговор.

Притулов выпивал понемножку, не торопясь, улыбаясь своим мыслям.

Личкин, быстро опьянев, сел рядом с Федоровым и попытался заново рассказать ему свою историю, Федоров делал вид, что слушает, думал о своем.

Димон, накатив водочки на еще одну закурку, блаженствовал.

Старуха Лыткарева задремала.

Любовь Яковлевна, выпив от нервов, почувствовала сильный аппетит и достала вареные яйца, которых взяла в дорогу два десятка. Она ела яйцо за яйцом, сосредоточенно глядя перед собой; Арине это почему-то казалось смешно, она потихоньку хихикала и отворачивалась.

Наталья, спохватившись, что до сих пор не рассказала Куркову о своей жизни в Москве, наверстывала, подробно описывая самые знаменательные события и встречи:

— Он сам мне позвонил, я не навязывалась. Нужна героиня с интеллектуальным и красивым лицом, двадцать восемь лет примерно. Сбился с ног. Ну, ты понимаешь. Либо красивая, но интеллекта ноль, либо интеллект в наличии, а с внешностью плохо, если же и то, и то — возраст старше. Я говорю: минуточку, мне тоже тридцать семь лет. А он: вы какого года фотографию мне прислали? Я говорю: этого. Не может быть! Надо встретиться. Ладно, приезжаю. Он смотрит: вы не шутите, вам правда тридцать семь? Я говорю: паспорт, что ли, показать? Ладно, говорит, снимаем пробы. Хорошо, снимаем пробы, я уезжаю, через пару дней звонок. То, да се, пробы замечательные. Но, кажется, ничего не выйдет по независящим причинам. Я ему: слушайте, не морочьте голову, какие еще причины? Он полчаса что-то такое говорит, а потом говорит: только, говорит, между нами. Хорошо. Только между нами: Измestьев тоже посмотрел пробы. Все-таки он на главную роль. Он посмотрел и

сказал, что в паре с вами играть не будет. Я говорю: почему? А он говорит: я, говорит, не хочу выглядеть на ее фоне идиотом... Давай еще выпьем.

Курков кивал. Он понимал и видел то, что было ему известно и по прежним годам совместного проживания с Натальей: ее понесло, она не сможет теперь остановиться. Бывало, он сутками сидел с нею, выводя из этого состояния, слушая упреки, крики, рыдания, дожидаясь, когда она устанет и уснет. Обманывал, говорил: «Делай хотя бы паузы,ждемся трех часов, и получишь свою дозу». Она замолкала и лежала, глядя на часы. Терпела. Когда стрелка приближалась к трем, начинала метаться, будто лихорадочная больная, просить: «Две минуты осталась, какая тебе разница?» Но он старался выдерживать. А потом дозу в пять, в семь...

Вот и сейчас он попытался применить этот метод:

— Наташа, тебе пока хватит.

— Ты что? Я в норме!

— Хотя бы до Зарени.

— А когда Зарень?

— Не знаете, когда Зарень? — спросил Курков Тепчилина.

— Вроде скоро.

— Скоро — понятие растяжимое! — Наталья была недовольна ответом.

Но пока смирилась, только иногда украдкой отодвигала занавеску: не показалась или еще Зарень?

Тихон сжимал руку Вики и улыбался.

Она не убирала руку — словно не придавала этому особого значения.

Нина отказалась от выпивки: у нее для успокоения есть книга.

*Дафна знала, что Стив не примет добровольную жертву, он слишком гордый. Надо было все устроить так, чтобы он не догадался, чтобы это выглядело несчастным случаем. Но как устроить несчастный случай? Это ведь не ногу сломать или руку. А заболеваний, которые ведут к слепоте, таких, например, как глаукома или диабетическая ретинопатия, у нее, к сожалению, не наблюдается. Гарантирует слепоту разрыв сетчатки, но непонятно, как этого добиться.*

*Прочитав множество книг и статей в Интернете, Дафна узнала, что случаев внезапной потери зрения великое множество, но нарочно добиться этого крайне сложно, если, конечно, не выжигать и не выкалывать себе глаза, что недопустимо.*

*Эта идея стала главной в ее жизни. При этом она вовсе не боялась слепоты, наоборот, ей понравилось изображать из себя незрячую.*

*Она уезжала в Бриджпорт, где ее никто не знал, и ходила там целыми днями в черных очках, познавая этот город слухом и осязанием. Когда же возвращалась в Хартфорд и вынуждена была опять становиться зрячей, ей было неудобно, странно, хотелось надеть черные очки, но ее никто бы не понял...*

Интересно, подумала Нина, а можно ли, в самом деле, так любить человека, чтобы захотеть потерять зрение? И зачем, главное? Что, нельзя любить и оставаться зрячей? Это психоз какой-то. Но не было бы психоза, не было бы и книги. Огромное количество книг вообще основано на психозах, заключила Нина. Даже классика: что, у Раскольников — не психоз? Или симпатичный парень Гриффитс из «Американской трагедии» Драйзера — что, обязательно ему было девушку топить? Психоз. И много таких примеров.

Ее вывел из размышлений взрыв смеха.

— А вот еще! — торопливо кричал Димон. — Идет по пустыне мужик без воды, голый...

Что они делают? — не поняла Нина.

Догадалась: рассказывают анекдоты.

Мастерами оказались трое: Димон, Курков и Петр. Они с трудом дослушивали друг друга до конца и, не успевал предыдущий рассказчик договорить финальную фразу, кричали:

— А вот еще! Красивая девушка ищет работу, пришла в офис...

— Автомобилист говорит страховому агенту...

— Мужик пришел домой, а жена в холодильнике...

— Сидят на заборе две вороны...

Стесняясь, рассказал анекдот и Ваня Елшин.

И Арина рассказала под осуждающим взглядом матери — но приличный.

Тепчилину тоже захотелось что-то рассказать, но силится, тужился — ни одного не мог вспомнить. Да и не любит он их, если честно.

Потом Личкин добился очереди, начал, но не смог продолжать, зашелся от смеха.

Никто не заметил, как проехали милицейский пост перед Заренью.

То есть Маховец заметил, насторожился, внимательно посмотрел на Козырева. Но все обошлось.

А Козырев, миновав пост, увидел в боковом зеркале заднего обзора, как милиционер, проводивший автобус взглядом, побежал к машине, вытащил микрофон на шнуре и что-то начал торопливо говорить.

Наконец-то, подумал Козырев. Давно пора.

22.45  
Зарень

— А вот еще анекдот! — закричал Притулов. — Еще анекдот! Объявление! В нашем городском парке появился секс-маньяк! Проезд в парк автобусом пятым и десятым!

И он засмеялся, но анекдот показался не смешным, а некоторые даже и не поняли. Притулов, увидев это, резко оборвал смех и спросил:

— Что, не доходит? Это про меня анекдот, граждане присяжные!

— Опять суд начинается? Валяй! — обрадовался Димон.

— А вы в самом деле маньяк? — спросила Елена, чувствуя себя, как ни странно, защищенной, потому что рядом с нею сидел Петр. Тоже преступник, но все-таки не маньяк, а угонщик, то есть преступник нормальный.

— А что это вы вздрагиваете? — спросил ее Притулов, хотя Елена и не думала вздрагивать. — Придумали тоже слово — маньяк. То есть псих. От слова мания, так ведь? А мания — психоз. Я правильно понимаю? Но, между прочим, если кто видел по телевизору, а по телевизору любят суды над маньяками устраивать, никто из них, тот есть из нас, извините, на психов не похож! И экспертиза их такими

не признает. И меня, кстати, признали полностью вменяемым. Следовательно, я психически здоров, так?

Притулов обвел всех глазами, но никто ему не ответил.

— Маньяк! — сказал он саркастически. — А я так вам скажу: эти люди, кого вы называете маньяками, они...

— Братя по разуму! — веселясь, подсказал Димон.

— Хорошее выражение, — усмехнулся Притулов, но продолжил, как намеревался: — Они самые нормальные люди на земле, а вот все остальные — маньяки!

Выпивший и осмелевший автобус грохнул смехом. Никто — или почти никто — уже не верил, что дело может принять опасный оборот. Ну, похулиганили преступники сначала для порядка, для запугивания, но вот выпивают и закусывают, как обычные люди, рассказывают анекдоты, и всего-то им надо — подальше отъехать.

Притулов смотрел злыми глазами, ждал, когда досмеется последний.

— Ладно, — сказал он. — Сейчас я буду смеяться. Может, я неточно выразился. Не все маньяки. Среди мужчин еще попадают, более или менее, кто в себе. А женщины маньячки все поголовно.

— Согласен! — крикнул Димон.

На этот раз Притулову его поддержка не понравилась.

— Будешь встречать, башку прострелю, — сказал он и взял карабин, который лежал возле Маховца. Маходец хотел было возразить, но передумал — у него оставался еще автомат.

С карабином в руках Притулов выглядел более внушительным оратором, смешки смолкли. Пассажиры видели, как в глазах Притулова замерцал, затеплился какой-то огонек — и разгорался с каждой минутой.

Но Притулов сдерживал себя, он изо всех сил себя сдерживал.

— А что, не маньячки? — спросил он. — Разве они не помешались на том, чтобы мужчин заманивать? Все, абсолютно все! А потом обижаются, что на них нападают! Вот вы! — обратился он к Елене с подчеркнутой вежливостью. — Вы зачем так обтянулись?

— Девушке идет, — объяснил за Елену Петр.

— Не в том дело, что идет, — не согласился Притулов. — Она для мужчин так обтянулась. Чтобы они ее хотели! Не так?

— Я просто хочу нравиться, это нормально, — ответила Елена.

— Вот! — Притулов кивнул, будто услышал подтверждение чему-то. — Нравиться она хочет. Кому?

— Себе в первую очередь.

— Неужели? А другим нет?

— Ну, и другим. Что в этом такого? — не понимала Елена.

— А зачем? — с улыбкой спросил Притулов.

Елена пожала плечами:

— Ну, чтобы хорошо себя чувствовать. Ценить себя. И чтобы другие ценили.

— Нет! — опроверг Притулов. — Не для этого! А для того, что ты всем показываешь, что готова отдаться любому! Почему бы тебе так для мужа не одеться? Где-нибудь, где только он тебя видит? А?

— А если у девушки мужа нет? — возразил Петр.

— Тогда и нечего! Нет, не для мужа ты так одеваешься, не для жениха, ты мечтаешь, чтобы тебя все вокруг хотели! Женщина — сумасшедшее существо! — поделился Притулов сокровенным. — Вот ты выходишь на улицу, вся вот такая обтянутая, тебе кажется, что ты хочешь мужчинам нравиться — будущему жениху, будущему мужу, а на самом деле ты вредишь каждому! Идет мальчик, школьник, так? Ему,

может, лет восемь, так? Он еще в этом ничего не понимает, только догадывается. Ему нужно нормальное развитие — играть с девочками, дружить! А тут идешь ты. И все у тебя наружу! И это для мальчишка — травма, разве нет?

— Чушь какая-то, — сказала Елена. — Я должна о детях, что ли, думать?

— А о ком же? Вы же осатанели все! У вас в витринах голые девушки висят, вы сами ходите голые фактически! Это разве не провокация! Да любой маньяком станет! И не думайте, это всех касается! — Притулов, отстав от Елены, пошел по проходу. — Вот вы, женщина в возрасте, — сказал он Любови Яковлевне, — вы зачем эту прозрачную кофточку напялили? А?

— Не такая она прозрачная, — отговорилась Любовь Яковлевна. — И жарко же.

— Не жарко! — отверг Притулов. — Для мужчин ты так одеваешься, хотя у тебя уже дочь взрослая! Она ведь дочь тебе? Почему, кстати, у дочки вырез почти до пупа? А? — Он указал пальцем на Арину, блузка которой действительно имела вырез, но не такой уж и глубокий. Арина отшатнулась:

— Чего вы? Не надо!

— Шею свою показываешь? — обличал Притулов. — Кому? На грудь намекаешь? Чтобы заглядывали? Не так?

Не дождавшись ответа, он шагнул к Наталье:

— И вы туда же! — укорил он ее, покачав головой, словно не ожидал, что Наталья тоже окажется из разряда осуждаемых им женщин.

— Перестаньте, — поморщилась Наталья.

— Ты гонишь, дядя! — крикнул Димон. — Зря пристал к женщине!

Он имел в виду, что Наталья была одета, пожалуй, скромнее всех. Собираясь в дорогу, она, видевшая себя в

роли возвращающейся изгнанницы, блудной жены, решила подчеркнуть это покаянным видом одежды: очень простые джинсы и черная футболка с рукавами.

— Хотите сказать, что вы скрываетесь? — спросил Притулов. — Но ведь не мешок на себя одели, все скромненько, но красивенько, и черный цвет вам идет, и вы это знаете! Тоже дразните, как и все! А вы, бабушка? — продолжил он, перейдя к Лыткаревой. — Вам-то совсем уже стыдно!

— Ты чего это? — растерялась Татьяна Борисовна. — Имей совесть, чего пристал?

— Я-то не пристаю, это вы пристааете! И ты, бабушка, тоже! Тебе умирать пора, а ты платочек цветной на голову нацепила! Кому нравится собралась? А я тебе скажу: это инстинкт! Вы хотите нравиться, даже когда уже никому не нравитесь! Вы до смерти хотите нам головы морочить!

Тем временем Тихон снял с себя сумку и положил ее на ноги Вике, чтобы прикрыть ее живот.

Но Притулов, метнувшись к ним, ухватил сумку, отбросил и спросил, словно безмерно удивившись:

— А это что? Это животик у нас! Совсем у нас голый животик! И ножки голые! Как в стриптизе, среди людей находимся! Для кого? Для своего молодого человека? А разве он и так всего этого не видел? Ты пойми, девушка, — убеждал Притулов Вику страдальческим голосом, — ты пойми, что происходит! Ты с одним по улице идешь, а другим себя показываешь! Это же проституция форменная!

— Дурак! — не удержалась Вика.

— Вот именно, — буркнул Тихон, чтобы не остаться в стороне.

И тут Притулов рассвирепел. Он перестал себя сдерживать и полностью отдался праведному гневу.

— Я тебе дам дурака! — закричал он, нагнувшись к Вике и широко раскрывая рот. — Только из школы выскочила, а

туда же! Я что, неправду говорю? Все тебя глазами лижут, а ты радуешься! Сама себя выставляешь — нате, гладьте, хватайте! Ладно, уговорила, — сказал он намного тише и будто успокоившись (хотя внутри все дрожало и звенело). — Раз ты хочешь, я поглажу!

И он потянулся рукой к Вике.

— Э, э, ты куда! — Тихон начал отталкивать его руку.

— Прекратите! — закричал и Ваня.

— Ты не увлекайся, — предостерег и Петр, которому шутки Притулова перестали нравиться.

Притулов резко ударил прикладом по рукам Тихона, а потом по голове.

И, будто и не он это сделал, опять сделался ласковым и улыбочивым:

— Девушка, не упрямясь, — уговаривал он. — Ты же этого хочешь!

Вика завизжала, вжимаясь в стекло и выставив руки.

Всем стало не по себе.

Все поняли вдруг, что Притулов, пожалуй, все-таки сумасшедший.

Даже Маховец подумал об этом, но молчал — он хотел посмотреть, что будет дальше.

А Федоров встал и крикнул:

— Слушай, ты! Кончай идиотничать!

— В самом деле, не надо! — пискнул и Личкин, который жалел обижаемую девушку.

Притулов, ощущая общую вражду, наслаждался. Ему всегда этого не хватало — зрителей и ненависти. Обстоятельства вынуждали его вершить суд тайно, один на один с жертвой. И у жертв не было времени выразить ему свою ненависть — слишком быстро все происходило, а растягивать удовольствие Притулов не имел права.

С детства, с того момента, когда он увидел свою маму

с чужим мужчиной (проснулся, чего-то испугавшись и пошел к маме), а она была синевато-бледная, будто мертвая, и зубы скалились, а мужчина кряхтел и стонал, ему хотелось убить всех женщин, потому что на самом деле он хотел убить маму, но не мог этого сделать. Намного позже, возвращаясь после своих прогулок, умывшись и отчистившись, он лежал в своей постели у стены, за которой спала постаревшая мать, и тихо шептал: «Вот я тебя и опять убил!»

Петр вскочил и пошел к Притулову.

Тот повернулся и ощерился.

— Кто подойдет или дернется — стреляю, — сказал он, не повышая голоса. И опять протянул руку Вике, приглашая: — Пойдем.

Вика по-прежнему визжала и загоразивалась.

Тогда Притулов резко схватил ее и потащил на себя, через потерявшего сознание Тихона, который накренился и стал падать.

Он оказался весьма сильным, этот невысокий, коренастый человек — сумел выволочь Вика в проход и потащил ее в конец автобуса, к двери биотуалета.

Ваня был наготове.

Как только Притулов миновал его, он, вскочив на сиденье, набросился ему на плечи.

Притулов, то ли завыв, то ли зарывав от ярости, резко дернул плечами, как зверь, на спину которому прыгнул другой зверь, Ваня отлетел, Притулов вскинул ружье и выстрелил.

Ваня закричал, ухватившись за плечо.

— Вот так, — сказал Притулов. — Есть еще вопросы?

Вопросов не было.

Притулов потащил добычу дальше.

Вика не сопротивлялась — она была в обмороке.

Раскрыв дверь туалета, Притулов впихнул туда тельце Вики.

Повернулся и сказал:

— Если кто откроет дверь — стреляю. Сразу.

После этого он вошел в туалет и заперся.

Вику не стал убивать, потому что она и так была как мертвая и, следовательно, условие было соблюдено: Притулов любил только мертвых.

Он слишком долго терпел и мечтал, сидя в тюрьме, поэтому все произошло быстрее, чем ему хотелось.

А после этого, как всегда, его осенил блаженный покой. Потрепав Вику по щеке, словно похвалив за покорность, он вышел из туалета, приветливо всем улыбаясь.

Впереди, только что соскочив с лежака, стоял всклокоченный Артем и смотрел на Притулова, моргая.

— Это что тут такое происходит? — спросил он.

## 23.10 Зарень

В том, что Артема не разбудили до этого крики и шум, нет ничего удивительного, потому что спал он феноменально, научившись этому еще во время работы на электромеханическом заводе оператором станков с ЧПУ — числовым, то есть, программным управлением. Уже тогда Артем увлекся своими увлечениями по части девушек и женщин, недосыпал, поэтому наловчился: программировал станок на обработку очередной детали, пятнадцать минут спал, не обращая внимания на грохот и лязг, и просыпался ровно за секунду до того, как требовалось сменить деталь.

Он мог спать в любой обстановке и в любом положении, разве только не стоя, и спал очень крепко, но при этом удивительным образом умел регулировать свой сон: во сколько себе скажет, во столько и проснется.

Артем бодрствующим краешком сознания слышал какие-то разговоры, какие-то выкрики, но думал (он умел думать, не просыпаясь), что просто на этот раз попались шумные или чересчур веселые пассажиры.

Да и некогда ему было вслушиваться, потому что снился ему неприятный, но интересный сон, который частень-

ко его преследовал. То он в подвале, то в какой-то пещере, но обязательно в каком-то лабиринте, при этом — населенном: встречаются магазины, висит реклама, какие-то по сторонам кафе и рестораны, в них хочется зайти, но все они, стоит к ним свернуть, тут же удаляются или вовсе исчезают, и ему приходится идти дальше. Откуда-то он знает, что там, в глубине, ждет его женщина. Женщин тут вообще много, разнообразно одетые, а некоторые и не совсем одетые, Артему хочется с ними пообщаться, и те не против, но говорят (некоторые — молча), что если он тут останется, то дальше уже не пойдет, и до той женщины, которая его ожидает, не доберется. А Артем хочется добраться. И продолжает идти. Потом ему встречаются какие-то двери, какие-то лестницы, какие-то проходные комнаты, и наконец он вдруг понимает, что за следующей дверью будет она. И точно: открывает — она сидит и ждет. Или лежит. Один раз танцевала — очень неуклюже. «Здравствуй, я тебя люблю!» — говорит Артем. «Здравствуй, я тебя тоже люблю!» — отвечает женщина. И Артем идет к ней, чтобы обнять. Он идет, а сам не может понять, зачем это делает, он ведь сразу увидел, что женщина некрасивая, в возрасте (никак не меньше сорока), особенно поражает волосатость обнаженных рук, кривизна ног, почти беременная выпуклость живота. То есть — все в ней идеально несовершенно, если можно так сказать, все в ней именно то, чего Артем не любит. Вдобавок, на верхней губе у нее темный пушок, и даже не пушок, а просто-напросто почти усы, это Артема смешит и он, хоть не любит говорить женщинам грубости, невольно оценивает вслух: «Ну и уродина же ты!» — «Точно! — соглашается женщина, кокетничая и становясь от этого окончательно безобразной. — Но ты же меня любишь?» — «Люблю!» — с удивлением соглашается Артем. При этом он видит себя со стороны, будто вне сна, и хочет окликнуть: «Эй, ты с ума

сошел, что ты делаешь?» Но Артем, который действует во сне, не желает слушать Артема, который видит сон. Он ласково обнимает женщину, нежно заглядывает в ее маленькие невыразительные глазки, гладит ее толстую спину и валит на что-то мягкое. Она стонет и соглашается, Артем начинает недоуменно ее обласкивать, но тут вбегает целый выводок малышей примерно одного возраста, как в детском саду. «Кто это?» — «Это наши дети, и ты их любишь!» — хвастается уродина. — «Не может быть, я вообще не люблю детей!» — «Любишь, любишь!» — смеется жуткая женщина, и Артем, который во сне, чувствует, что действительно любит этих детей, несмотря на возражения Артема, который видит сон. Дети исчезают, Артем продолжает ласкать страшную женщину и тут видит в сторонке, на троне или на сцене (всякие бывают варианты), полуголую красавицу, танцующую стриптиз. «Вот я кого люблю!» — спохватывается Артем. Но уродина, целуя его усатым ртом, немелодично воркует: «Врешь, ты не ее любишь, ты меня любишь!» — и Артем с удивлением чувствует, что она права. И хочет проснуться, чтобы прекратить этот кошмар и ужас, но одновременно боится проснуться: если не объяснить ей, что он ее не любит, все так и останется!

Поэтому, предполагает Артем, вспоминая этот сон, мне он и снится: я хочу, чтобы финал был другим, но никак не получается.

В этот раз он почти добился своего, оторвался от уродины и хотел было направиться к стриптизерше, но тут выстрелили — то ли в нее, то ли в него.

Артем очнулся.

И, еще не проснувшись окончательно, прыгнул вниз.

Некоторое время не мог сообразить, что осталось в его сознании от сна, а что — уже явь. Работяги сидят впереди с закуской и выпивкой — это, пожалуй, явь. Но автомат от-

куда? А этот мужик с ружьем, выходящий из туалета, — это что? И почему так странно выглядят пассажиры? Что вообще происходит?

— Ну, ты и спать! — позавидовал Притулов. — Чуть все на свете не проспал.

— Нет, я не понимаю, что за дела? — обернулся Артем к Козыреву.

Тот неохотно объяснил:

— Захват автобуса.

— Какой захват? Кем?

— Нами, — объяснил Маховец. — Мы страшные рецидивисты и бандиты.

Фигура сонного Артема, который необыкновенно крепко спал, ничего не знает, хлопает глазами, многим показалась нелепой, почти смешной. Ни Маховцу, ни Притулову, ни Петру в голову не пришло, что Артем может представлять опасность.

А Артем уже понял, что произошло. Он понял, но продолжал шуриться, изображать сонного, даже зевнул и хлопал ладонью по рту.

— Никак не войдет в тему, — усмехнулся Петр.

И ошибся: Артем был уже в теме.

Он рванулся к автомату, который Маховец положил рядом на сиденье, схватил его, успел понять, что это «АКМ», с которым он имел дело, когда служил в армии (и был, кстати, отличным стрелком, потому что любил делать хорошо все, что делал), отскочил, поднял автомат, целясь в Притулова, и закричал:

— Бросай ружье!

Притулов усмехнулся:

— А если не брошу?

— Выстрелю!

— Стреляй, — разрешил Притулов и приставил дуло к

голове Лыткаревой. С другой стороны у него сидел Тепчилин, но Притулов верно рассчитал, что угроза пожилой женщине выглядит страшнее, чем угроза мужчине. Мужчина на то и рожден, чтобы при случае погибнуть, а женщина в возрасте — она всегда мать, даже если нет детей, позволить ее убить — жутко.

Татьяна Борисовна замерла, только подняла слегка руку, будто для того, чтобы убрать ружье, но так и застыла.

— Не балуй, — посоветовал Маховец. — Отдай пулялку. Артем растерялся.

— Бросай, я сказал! — закричал он опять.

— Будешь орать, выстрелю первым, — пообещал Притулов.

Козырев негромко сказал:

— Не наша сила, Артем. Людей только постреляем. Они из тюрьмы сбежали, им терять нечего.

Артем и сам понял, что ничего не сумеет сделать.

Маховец встал, вырвал у него автомат и локтем ударил Артема в лицо.

— Лезь обратно и спи дальше, — сказал он ему.

— Вас все равно схватят всех, — сказал Артем, зажимая нос рукой.

— А это не твое дело. Лезь, я сказал!

Артем полез на спальное место.

Мельком глянул на Елену и ее временного кавалера.

И вдруг улыбнулся ей: ничего, меня пока победили, но я не сдался.

После этой встряски решили еще выпить — и захватчики, и пассажиры.

Нина осмотрела Ваню, оказалось — ничего страшного, пуля оставила кровавую бороздку на руке, но не задела кости.

— Везучий, — сказала Нина.

Они сели вместе.

Вика, выйдя из туалета, села позади всех. Очнувшийся Тихон направился к ней, но она взмахнула рукой, отгоняя его. Съежилась, сжалась, смотрела в окно.

Притулов, налив полстакана водки, пошел было к ней, чтобы угостить и утешить, но она, увидев это, закричала:

— Не подходи! Не подходи!

— Оставь ее! — сказал Маховец. — И хватит уже маньячить. Нашел место.

— Кому-то не нравится?

— Мне не нравится.

Притулов и Маховец посмотрели друг другу в глаза. Оба были вооружены, оба способны на все. Оба это поняли. Обоим не хотелось погибнуть во взаимной перестрелке.

И Притулов вернулся на место.

Маховец решил вернуть недавнее дружелюбие. Встав, он сказал:

— Ну что ж, граждане присяжные. Мы немного отвлеклись. Давайте так: никто не шумит, никто никого больше не трогает. Тихо и спокойно едем. А мы скоро сойдем.

— Когда? — спросила Елена.

— Я вам отдельно сообщу, — улыбнулся Маховец. — Письменно. — И добавил, опять обращаясь ко всем. — Вы думаете, это все из-за нас случилось? Это из-за вас! Потому что вы с самого начала на нас смотрите, как не на людей. А мы такие же люди.

Ваня дернулся так, что носовой платок, которым Нина пыталась перевязать ему руку, сорвался и упал.

— Вы люди? — закричал он. — Такие же? Скоты! Сволочи! И ты главный скот! Твари поганые, еще людьми они называться хотят! Скоты! Сволочи! — Ваня повторялся, потому что не очень много знал слов, которыми можно обозвать кого-либо. То есть знал, но не любил.

— Замолчи, — сказал ему Маховец укоризненно, показывая, что не хочет опять усмирять физическим воздействием.

— Не замолчу! Какие вы люди, скоты, какой ты человек, ты на себя смотрел? Гамадрил, животное, пень с глазами, у тебя же одна извилина на всю голову, сволочь!

— А у тебя сейчас ни одной не будет.

Маховец пошел к Ване, но на его пути встал Курков.

— Не трогай пацана! Можешь меня опять ударить. А он правду говорит — нечего, в самом деле, человека из себя корчить! Твари, издеваются и еще себя уважать заставляют! А этого не хотел? — Курков, выставив руку, положил на ее сгиб другую.

Маховец хотел было ударить по оскорбительной руке, но тут его толкнули сбоку. Он удивленно посмотрел: это старуха Лыткарева осмелела.

— Хватит хулиганить! — закричала она. — У меня самой сын в тюрьме сидит, а ведет себя нормально! Разошлись тут!

Была у нее при этом надежда, что, узнав про ее тюремного сына, эти безобразники уважат ее и притихнут. Ведь есть же у них, она слышала, какие-то правила, чтобы не трогать своих, а заодно, наверно, и родственников.

— В самом деле, перестаньте! — выкрикнула Нина.

И тут пассажиры как с цепи сорвались — начали кричать, обзывать, возмущаться, даже Тепчилин и Желдаков высказали недовольство негромкими, но сердитыми головами. Маховец отошел к водительской кабине.

Притулов стоял там наготове. Личкин тоже вскочил, соображая, чем защищаться, если что.

Казалось, еще немного — и на бандитов бросятся.

Но тут Козырев громко сказал в микрофон:

— Есть предложение!

Он сделал знак Артему, тот сполз к рулю, а Козырев, передав ему на ходу управление, вышел в салон.

— Так, — сказал он. — Мне трупов тут не надо. Им надо ехать — пусть едут. Нам тоже надо ехать. Задачи совпадают. Поэтому просьба — сидим спокойно и продолжаем маршрут. А то мне ведь надоест эта история, скovyрну автобус в кювет. Сам-то выпрыгну, а вам всем каюк. Ясно?

Это были свежие слова свежего человека, не участвовавшего в предыдущих конфликтах. Они подействовали.

— Вот! — сказал Притулов. — Умные слова! Действительно, мы же вас из автобуса не выбрасываем, едете же? Вот и ехайте дальше. И мы поедem.

— Могли бы и выбросить, я не против, — сказала Елена.

— Если хочешь, красавица, я могу! Вместе выбросимся! — сладко оскалился Притулов.

— Охота вам дразнить! — упрекнул Козырев Елену, успев подумать, до чего она все-таки похожа на Светку, и удивился: нашел время сравнивать.

Он вернулся в кабину, сел рядом с Артемом.

— Как это случилось? — тихо спросил Артем.

— Неважно уже. «Десятку» видишь?

— Белую?

— Ну. За нами идет.

— Может, просто?

— Уж полчаса на хвосте. И еще одна, то обгонит, то сзади. И в каждой по пять человек, хоть и не в форме. Смекаешь?

— Да.

— Они же понимают, что просто так нас остановить нельзя, начнется неизвестно что. Из города выйдем, тогда что-то придумают. А ты полез.

— Я не полез, я просто...

— Вы о чем там? — сунулся к ним Маховец.

— О погоде, — ответил Артем.

Смелеют, подумал Маховец. Ничего, я вас еще встряхну.

## Зарень — Авдотьянка

Машины, которые заметил Козырев, были действительно милицейскими.

Люди, сидевшие в них, были готовы действовать, но не знали, как, потому что не получили приказа.

Давным-давно разработаны инструкции на подобный случай, но их надо согласовать с действительностью.

По инструкции, когда преступники захватывают транспортное средство, первым делом надо выяснить, кто они такие.

С этим легче всего — выяснили.

Затем надо понять, какова их цель.

Тоже понятно: сбежать.

Далее инструкция требует предложить им сдаться.

Но как это сделать, если нет связи? Просто из машины или с вертолета — через громкоговоритель? Этот вопрос утрясали.

Если террористы не сдаются, инструкция предполагала переговоры — хотя бы оттянуть время. Они будут выдвигать требования — ни в коем случае не соглашаться выполнять их сразу и в полном объеме. Ссылаться на всяческие трудности.

Затем инструкция предписывала затруднить продвижение транспортного средства. Если самолет — посадить, если поезд или автобус — как-то остановить. Со статичным объектом работать легче.

А потом — операция по захвату преступников и освобождению заложников.

Это самый трудный пункт, по нему до сих пор нет единого мнения.

В кино, как правило, находится герой, который все делает в одиночку — проникает в самолет или на корабль или, еще лучше, каким-то образом оказывается уже там и действует изнутри. Какой-нибудь отставник спецслужб.

В жизни отставники спецслужб внутрь захваченного объекта попадают крайне редко.

Начальство самых разных уровней совещалось, перебирая варианты.

И нашли самый, по общему мнению, оптимальный: пока ничего не предпринимать, автобус насильно не останавливать, потому что это сразу обострит ситуацию и приведет к непредвиденным последствиям, дожидаться, когда автобус остановится на заправке. По сведениям, полученным из сарайской фирмы междугородных перевозок, их автобусы обычно заправляются на обратном пути между Заренью и Лопушанском, причем только на заправках компании «\*\*\*», которая гарантирует качество топлива и делает небольшие скидки с условием, что будут пользоваться и впредь только их услугами. Заправок «\*\*\*» по две в Авдотьинке и в Шашне — на въезде и выездах, и еще две на дороге. Шесть пунктов — и туда уже отправлены люди. Но автобус может и свернуть, поэтому две машины находятся при нем, сопровождают, стараясь казаться незаметными.

К тому же, наступила ночь, а разработчики операции до сих пор не поняли, хорошо это или плохо. В плане возмож-

ности скрытно подобраться к автобусу — хорошо. Но в темноте преступники могут открыть беспорядочную стрельбу и постреляют кого попало. Правда, на заправках освещение. Но там дополнительный фактор — огнеопасность.

В общем, было над чем поломать голову.

Естественно, никому из начальства не хотелось опережать события: если принять меры раньше времени и будут жертвы, виновато окажется начальство, если же что-то случится до принятия мер, виновато будет стечение обстоятельств.

## Зарень — Авдотьянка

Маховец почувствовал в душе горечь — потому что хотел ее почувствовать. Он вообще всегда чувствовал именно то, что хотел.

Горечи ему было мало, он хотел еще почувствовать обиду — почувствовал и ее.

Выпив, он встал, закинув автомат за спину и этим обозначая мирные намерения. И сказал Ване:

— Вот ты меня назвал — как? Пень с глазами? А еще — скот и сволочь? В общем, полное я дерьмо, а ты ангел. Так?

— Не говори с ним, — шепнула Нина.

Но Ваня и не собирался. Он смотрел в сторону.

— Так, — ответил за Ваню сам себе Маховец. — Я вообще не понимаю, вы с какой стати взялись нас тут пересуживать? Заседатели тоже мне нашлись!

— Сами просили, — сказал Мельчук.

— Мы просили? — удивился Маховец. — Ну да, было такое предложение. Но вы могли отказаться. А вы не отказались. Конечно, всех оправдали, кроме вот этого вот, — Маховец ткнул пальцем в Федорова. — Но сделали это не от души. А сами считаете нас скотами и преступниками. Так?

На этот раз Ваня решил ответить:

— Так.

— Хорошо! — обрадовался Маховец. — А вы сами разве не скоты? Не сволочи? Не преступники? А? Ну-ка, поднимите руки, кто никогда ничего такого не совершил, чтобы под уголовный кодекс не попадало? А? Только подумайте, потому что я вопросы буду задавать.

Любовь Яковлевна Белозерская подняла руку сразу же, автоматически, потому что всегда считала себя безусловно честной и порядочной, ни перед людьми, ни перед законом ни разу не виноватой.

— Ага! — сказал Маховец. — Как, извините, вас зовут?

— Любовь Яковлевна Белозерская! — с гордостью сообщила Любовь Яковлевна.

Наталья посмотрела в ее сторону — чтобы разглядеть ту, кто носит такую благозвучную фамилию. Результатом осмотра осталась иронически довольна и даже слегка кивнула сама себе: так оно и бывает. Она, халда халдой по виду — Белозерская, а ты, женщина тонкая, интеллектуальная — Стрекалова. С другой стороны, при тонкости и уме быть еще и Белозерской — это как-то чересчур.

— И кем работаем? — интересовался Маховец.

— В кафе.

— Торгуем?

— В кухне торчу, готовлю. Хотя, бывает, буфетчицу заменяю. Да еще потом полы мою. Вламываю, короче. И никогда ни в чем замешана не была. Хозяин, тот — да, жулик сплошной.

— Ужас! — посочувствовал Маховец. — И как же он жульничает, подлюка?

— Да понятно как. То масло просроченное возьмет, то мясо не штампованное откуда-то привезет, а ты готовь.

— Третий мясного импорта в России — контрабанда! — дал справку Курков, который по вечерам не имел привыч-

ки работать и потому смотрел телевизор. Он много вообще знал постороннего, что, однако, расширяло кругозор — как правило, в области существующих недостатков.

— То есть вам, значит, из гнилых продуктов приходится готовить? — уточнил Маховец.

— Не то что гнилые... Приходится, а куда денешься? — сердито сказала Любовь Яковлевна.

— А заявление прокурору написать? — спросил Маховец.

— Какому прокурору? На кого?

— Обычному прокурору. Прокурорскому. На хозяина.

— Ага, спасибо! Хозяина возьмут, кафе закроют, где я работать буду?

Пассажиры невольно усмехались — они уже поняли, к чему ведет Маховец. Только Любовь Яковлевна не догадывалась. И Маховец ей разъяснил:

— Получается, Ольга Яковлевна...

— Любовь Яковлевна...

— Извините. Получается, Любовь Яковлевна, вы в преступной деятельности своего хозяина тоже замешаны.

— Это как это?

— А так. Он отравленные продукты привозит, вы из них готовите. Никто еще не умер от вашей еды?

— Что вы говорите-то? — возмутилась Любовь Яковлевна. — Я же не говорю — отравленные, я говорю — просроченные! Есть разница?

— А разве закон разрешает использовать просроченные продукты? Нет, Любовь Яковлевна, это называется — соучастие в преступлении по предварительному сговору и согласию. Года три минимум, а если кто умер, то все десять! У вас где кафе?

— У вокзала...

— Вот! Покушал у вас человек, сел в поезд, а ночью взял

и копыта откинул. Почему, как — неизвестно. Вскрытие сделали, диагноз: отравление. А доказать ничего нельзя — он и на вокзале мог покушать, и в поезде, и где попало. И разъезжаются ваши трупы по всей стране, а вы даже и не знаете!

— Какие трупы, вы чего? Ни одной жалобы сроду не было!

— Мертвые не жалуются! — отчеканил Маховец. — Господа выездная коллегия народного суда! — обратился он к Притулову, Личкину, Федорову и Петру. — Виновна эта несчастная гражданка или невиновна?

— Виновна! — сказал Петр. — Я один раз взял пирожков тоже в кафе у вокзала, такое было, еле живой остался.

— Виновна! — с улыбкой подтвердил Притулов.

— Виновна! — весело выкрикнул Личкин.

Федоров промолчал.

— Вот так, Любовь Яковлевна, — с сожалением сказал Маховец. — Народный суд вас приговорил.

— Да ну вас! — махнула рукой Любовь Яковлевна. — Так на каждого можно навалить неизвестно что!

— А я об этом вам и озвучиваю! Что если мы сидели в тюрьме, то это случайно. А если вы не сидели, то это тоже случайно. Или кто-то не согласен? Кто-то все-таки ничего не совершил? А?

— Это как в кино получится сейчас, — сказал Димон. — Я кино видел, там тоже сидели присяжные, кого-то судили, а сами виноваты оказались.

— Меньше смотрите всякую глупость, — посоветовала Наталья. — Кино вообще искусство плоское и глупое, — высказала она заветную мысль, которая возникла у нее после того, как она, всерьез готовясь к профессии киноактрисы, за год посмотрела фильмов больше, чем за предыдущую жизнь, и была жестоко разочарована.

## Зарень — Авдотьянка

— А вы почему ручку не подняли? — спросил Маховец Елену. — Ни в чем не замешаны?

— Не вяжись к девушке, — сказал Петр, намекая этим, что она под его опекой.

Маховец проигнорировал:

— К кому вязаться, Петя, это я сам решу. Ну? Жду ответа!

— Только честного, — встал рядом с Маховцом Притулов. — А я пойму. Я всегда насквозь вижу, если женщина врет.

— Не собираюсь я исповедоваться перед вами! — отвернулась Елена. Ей и Маховец-то был противен, а уж Притулов тем более.

— В самом деле, чего ты? — спросил Петр Маховца.

Маховец понял, что пора задействовать принцип «бей своих, чтоб чужие боялись». Петр хочет понравиться девушке за их счет, это не по-товарищески. А ведь сидел уже, объяснили ему наверняка, что в тюрьме — то есть, там, где вырабатываются самые правильные мужские понятия, — женщина считается человеком условно. Она есть предмет

потребления, как выразился один сиделец с большим жизненным опытом. Там, если тебе в голову взбрело рассказать об отношениях с женщиной (что обычно не принято — не будешь же ты всем повествовать, как ты сегодня баланды покушал), то и слова должен выбирать строго: нельзя, к примеру, сказать «я с ней трахался», а только так: «я ее трахал».

— Отсыдь-ка, — сказал он Петру.

— А ты что, начальник тут?

— Конечно. Отсыдь, я сказал.

Петр терпеть не мог физических контактов на уровне драки, но очень уж не хотелось опозориться на виду у понравившейся девушки — и не только на виду, но в волнующем соседстве с ней.

— Друг, успокойся, давай отдохнем, выпьем, — миролюбиво предложил он Маховцу. — И вообще, обсудить бы надо, что делать. Может, уже догадались, может, за нами погоня уже?

— Рельсы переводит, — сказал Притулов, глядя на Елену.

А Маховец спросил, уставив на Петра глаза, которые, казалось, меняли цвет — от добродушно серого, до зло зеленоватого. Сейчас зеленоватого было больше.

— Я не понял, ты с нами или с ними?

— С вами.

— Тогда не мешай. Я же вреда не сделаю никому, а просто — спросить девушку.

Петр неохотно встал и прошел вперед, сел рядом с Федоровым.

— Ну так что, сами признаемся или следствие будем проводить? — спросил Маховец Елену.

— Не в чем мне вам признаваться.

Маховец решил применить тот же метод, что и к Любове Яковлевне.

— А чем занимаемся? — спросил он.

— Неважно.

Притулов понял, что девушка не боится. Его это рассердило. Женщина должна бояться мужчину. Всегда. В том ее и вина, что не боится. Вина и ошибка.

— А может, пойдем? — кивнул он в сторону биотуалета.

— Только тронь меня! — закричала Елена. — Я не понимаю, у нас мужчины есть или нет? Позволяете издеваться над женщиной! Труссы!

Ваня хотел было откликнуться и вытянул для этого шею, но Притулов издали направил на него палец:

— Молчи! — А другим сказал: — Видите, какая подлая у баб натура? Я, типа того, буду сидеть, а вы, мужчины, деритесь за меня, защишайте, погибайте! И всегда так. Даже войны все начинались из-за того, что бабы натравливали царей и королей друг на друга, я в одной книге читал. Главное, смотрите, какая хитрая! Издеваются над ней — и то пока не очень, а она кричит: над вами издеваются. Провокация сплошная. Так что, мужики, не ведитесь на эту провокацию. А поведетесь, — Притулов приподнял ружье, — вам же будет хуже. Девушка, в чем дело вообще? Быстро сказали — и свободны. Это не больно!

— Что вы хотите от меня услышать? — закричала Елена. — Ну, двоих убила, троих зарезала, ребенка собственного сварила и съела! Это, что ли?

— Издевается, — сообщил Притулов Маховцу.

— Да уж вижу, — откликнулся Маховец. — Девушка, хватит кобениться. Или говорите правду — или мой друг поведет вас вон туда.

Елена поняла, что деваться некуда, придется сказать что-то похожее на правду.

И не то, чтобы правда позорная какая-то, а — скучная. Похожая на то, о чем говорила Любовь Яковлевна, только Елена не мясо закупает, а игрушки. Ну да, без сертификатов,

китайского подпольного производства, потому что ясно, почему. Дешевле потому что. Но она и продает их задешево, дорогие игрушки в Сарайске не всем по карману. А кто скажет, что этого надо стыдиться или что это надо считать преступлением, пусть сначала покажет ей хоть одного, кто этого не делает. Она не ворует эти игрушки, не сама их делает, а если государство в претензии — запустите пять-шесть нормальных фабрик и пусть они обеспечат детскими товарами раз и навсегда, Елена первая приедет к ним за мелким оптом. Доказано: если торговать, соблюдая все правила (включая пожарные, санитарные, налоговые и прочие), то денег останется на веревку, чтобы повеситься, а вот уже на то, чтобы купить мыло для веревки, придется взять займы — своих денег не хватит. Те, кто не создал условий для детской промышленности, — не преступник? Кто контрабанду пропускает — не преступник? Кто открыто продает ее на московских оптовых рынках — не преступник? Кто надзирает за торговлей, включая милицию и другие инстанции — не преступники? А бывший муж, оставивший ее и дочь без средств и не помогающий ничем, он — не преступник? Нет? Спасибо! Подать на алименты? Еще раз спасибо, у него официальный доход тридцать три рубля в месяц. А те, кто не может уличить его в том, что доход у него на самом деле в тысячу раз больше — не преступники? А кто установил такие цены в частных детских садах, куда ей приходилось раньше отдавать дочь, в школе-пансионате, в оздоровительном лагере, где дочь сейчас находится, — они не преступники? Вы сделайте, чтобы все было правильно. И я сразу буду — с ангельскими крыльями. Просто в ту же самую минуту. Не верите? Думаете, я по своей охоте делаю то, чего не хочу делать? Вы у психиатра давно были? Нет, проверьтесь, я серьезно — если считаете, что для человека нет больше удовольствия, чем делать то, чего он не хочет делать!

Это подумалось Елене за секунду, потому что мысли были давно обдуманые.

А сказала просто, без деталей:

— Ну, игрушки на рынке покупаю некачественные. У детишек аллергия и другие последствия. За прошлый год умерло двенадцать человек.

— Правда, что ли? — испуганно спросила Лыткарева.

— Правда, бабушка, правда, — обернулась к ней Елена, а Петр громко засмеялся, оценив шутку и напоминая Елене: я здесь, я отступил, но не сдался.

— Двенадцать детей! — ахнул Маховец. — Да это же расстрел! А? Граждане присяжные? Голосуем?

И поднял руку. И Притулов поднял руку.

Федоров и Петр воздержались.

А Сережа, захмелевший, клевал носом.

Маховец толкнул его:

— Алё, ты за или против?

— Чего?

— Девушка созналась, расстрелять ее или нет?

— Расстрелять, — глупо улыбнулся Сережа. — Их всех надо расстрелять.

И поднял руку.

Притулов поднял ружье и выстрелил.

Елену бросило к стеклу, после чего ее тело сползло, застряв между сиденьями.

## Зарень — Авдотьянка

Этого никто не ожидал.

— Ничего себе... — вырвалось у Желдакова, а остальные не могли ни говорить, ни кричать, ни даже шевелиться, будто оцепенели.

Потом Лыткарева запричитала, заплакала.

Мельчук крикнул:

— Вы одурели?

— Скоты, — сказал Ваня.

Наталья прижала руки к лицу, раскачивалась.

Курков сжал кулаки и зубы, морщась так, будто у него все вдруг заболело.

Ни слов, ни мыслей не хватало, чтобы осознать то невероятное и страшное, что не должно было произойти — и все же произошло.

Артем дернулся, выругался, взглядом показал Козыреву, чтобы тот сел за руль, но Козырев покачал головой: наломашь дров.

Он отвернулся от Артема, а когда опять посмотрел, увидел, что тот плачет.

Кажется, он впервые видел, как плачет племянник.

И понял: не от страха. От бессилия, от ненависти к убийце, от жалости к красивой девушке.

Маховец тоже не ждал такого поворота.

Но сделал вид, что все идет по плану.

Ему не нравилось только, что Притулов становится тут главным, а этого допустить нельзя. Придется ему объяснить — словом и делом. Но не сейчас, он еще пригодится: надо довести игру до конца. Ибо такие игры на середине не бросают. Потому что это не игры на самом деле.

— Ну вы даете! — сказал Петр, не зная, что теперь делать дальше.

Федоров сел, упер локти в колени, а голову в ладони. В голове пусто и тошнотворно звенело.

Сереза удивлялся и, забыв убрать с лица улыбку, спрашивал:

— А зачем? Я думал, вы так... Это же убийство!

Все были в шоке, каждый по-своему.

У Нины он выразился очень странно: она схватила книгу и начала читать, шевеля губами, торопясь, будто боялась не успеть.

*Врачи не могли поставить Дафне никакого диагноза, а она теряла зрение не по дням, а по часам.*

*— Это похоже на следствие какого-то нервного расстройства, — сказал профессор Мак-Козн. — Такое бывает. Не беспокойтесь, главное — нет никаких патологий. Следовательно, все обратимо. Скажите, какие неприятности у вас были в последнее время?*

*— Никаких, — улыбалась Дафна. — Напротив, я счастлива. Скажите, профессор, а может быть такое, чтобы человек ослеп, потому что очень этого хотел?*

*— Ни разу не слышал. Бывали феноменальные случаи, ко-*

*гда фанатичное желание прозреть приводило к положительной динамике. Больной начинал видеть свет, а в некоторых случаях даже возвращалось зрение. Способности человеческой психики почти безграничны. Но чтобы наоборот — никогда не слышал. Не хотите ли вы сказать...*

— Нет-нет! — горячо заверила Дафна. — Я просто спросила.

*Профессор вышел, странно посмотрев на нее.*

— Ты чего? — спросил Ваня.

— А?

— Вслух читаешь.

— Да? Это неправильно, — зашептала Нина.

— Что?

— Я такие книги читала, где убивают по очереди. Сначала гибнет самый незаметный, кого никому не жалко. Такое правило. А она очень заметная. Красивая. Это неправильно.

— Думаешь, нас будут убивать по очереди?

— Не знаю.

А Маховец громко сказал:

— Мы сожалеем, но девушка сама виновата. Детей травить нельзя! Так. Я думаю, все поняли, что ваша судьба в ваших руках. Не врать и не бояться, как сказал один веселый политик, очень я его люблю, придурка. Кто будет врать — накажем! Если не совершили ничего такого, не бойтесь, расстреливать не будем.

— У нас вообще смертная казнь запрещена! — напомнил Димон.

— А у меня не запрещена, — возразил Притулов.

— Вы что, совсем с ума сошли? — спросил Курков. — Человека убили — и хотите дальше веселиться?

— А почему нет? — удивился Маховец. — Вон в войну — двадцать вообще миллионов убили или даже больше, а жизнь ничего, продолжается!

— Чистосердечное признание облегчает наказание! — гнул свое Притулов. — Охотник, колись! — призвал он Мельчука. — Сколько душ загубил?

## Зарень — Авдотьянка

Илья Сергеевич Мельчук душ не губил, а если и был в чем-то виноват, в том числе — перед законом, — то самым ходом жизни, причем не собственной, а общей, где, как известно, все относительно: то, что в иных условиях и при иных обстоятельствах недопустимо, в определенных условиях и при определенных обстоятельствах считается вполне в рамках. Для наглядности: вот бокс, который он иногда любит смотреть по телевизору. Что там люди делают? Они бьют друг друга по морде со страшной силой, а каждый нокаут, как известно, — это сотрясение мозга. Деяния их подпадают под статью о нанесении тяжких телесных повреждений, но никто почему-то не кличет милицию и не тянет в суд, напротив — все хлопают и радуются. Ну, опущу я руки, скажу, что мне это не нравится, что я желаю подставить левую скулу после того, как меня ударят по правой, — и тут же, конечно, получу и по левой, и опять по правой, и в челюсть, и вот уже лежу на полу, а рефери считает, а публика недовольно ревет и требует назад деньги. Нет уж, вышел на ринг — дерись, а не хочешь драться — не лезь на ринг.

В книге «Афоризмы всех времен и народов», которую Мельчук иногда почитывает на ночь (удобно — можно в

любой момент отложить), он наткнулся на высказывание Конфуция: «Позорно быть богатым и уважаемым в стране, где Путь не царствует», но тут же — на поправку Лао Цзы: «Как остаться на пути, если все идут другим путем?» Лао Цзы понимал суть получше Конфуция: уважаемым нигде быть не позорно (да и с какой стати?), а вот идти в ногу, когда все не в ногу — невозможно. Закон, так сказать, коллективной ответственности.

Да он и не думал сейчас об этом — сейчас он вспоминал совсем другое: тот случай, который мог сломать ему всю жизнь. И до сих пор это воспоминание — что-то вроде скелета в шкафу, который может вывалиться в любой момент.

И дело-то глупое, детское.

Гоняли они на мопедах в дачном поселке. Золотая была, можно сказать, молодежь, вернее, подростки, дети приличных и умеренно, по-советски, обеспеченных родителей. Это не нынешние, которые мчатся на ревущих и сверкающих мотоциклах по сто тысяч долларов ценой, всего-то мопедишки «рига» или «верховина», они почти ничем не отличались от велосипеда — только колеса потолще, кожух на моторе и цепи, бензобак на раме... И максимальная скорость от силы пятьдесят километров. Но им казалось — лихо. Ревели эти мопеды по-сумасшедшему, не хуже, чем, например, бензопила «Дружба», а то и порезче, пожалуй. И сизый дым от движка, и собаки сзади обязательно бегут гурьбой, страшно нервничая и выражая свое недовольство разнообразным лаем. В общем — весело.

В тот день они отмечали день рождения дачного приятеля и соседа, имя которого Мельчук давно забыл. Помнит только, что высокий и белобрысый. Помнит еще, что он рассказывал о девушках — как он с ними обходится, несмотря на ранний возраст. И верилось, и не верилось, но рассказы его слушали, хихикая. И вот отмечали его день рождения.

Добрая мама именинника, приплакивая от радости, угощала вишневкой и охотно выпивала сама. А потом они поехали кататься. Гоняли сперва по дачному поселку, потом направились к лесу мимо пруда. От пруда шла девушка чуть старше их, тоже дачница, белобрысый ее знал, окликнул, пригласил покататься, она согласилась. И охота была ей трястись сзади на жестком металлическом багажнике... Нет, согласилась. Приехали, сели на лужайке, выпили еще наливки, которую взял с собой белобрысый в армейской фляжке — подарок, уверял он, отца-фронтовика, умершего от ран через десять лет после войны. Гоняли на мопедах меж деревьев друг за другом, потом все вместе за девушкой, потом Мельчук увидел, как белобрысый со своим товарищем (маленький такой, но дерзкий) стоят рядом и о чем-то говорят с очень серьезными и таинственными лицами. Мельчук сразу почувствовал — что-то не то. Хотел уехать, но они его позвали. И четвертого. Того Мельчук даже и лица не помнит.

— В общем, я сейчас с ней ла-ла ла-ла, — возбужденно говорил белобрысый, — а потом вон туда пойдем, а вы подгребайте минут так через десять.

— Я второй, — сказал маленький.

— Заметано. А ты третьим, а ты четвертым, — указал он на Мельчука. — Или боишься?

После этих слов уехать было невозможно.

Выждав десять минут после ухода белобрысого, они пошли туда.

А белобрысый уже сам, радостный, ломился сквозь кусты им навстречу.

— Идите, ждет!

В неглубокой ложбинке, похожей формой, как подумалось Мельчуку, на вогнутость ложки или на вмятину от яйца лежала девушка — совсем пьяная и улыбающаяся, лежала в такой позе, что Илья тут же отвел глаза.

А маленький смело побежал к ней, хихикая, и вот уже чего-то завозился там, заерзал. И вскоре, довольный, с широкой улыбкой, будто объелся малины в чужом саду и не пойман, идет обратно, важно застегивая штаны. Пошел третий, и тоже ерзал, и тоже вернулся с гордостью.

Илья же понимал, что не сможет.

— Нет, — сказал он. — Живот болит.

Белобрысый возмутился.

— Чего такое? А ну иди! — сказал он и замахнулся кулаком.

— Да я не против... Только живот... — бормотал Илья, направляясь к ложбинке. Он упал и лежа стаскивал с себя штаны, а потом залез на девушку, а она была так пьяна, что ничего не понимала и не чувствовала, только бормотала:

— Эдик, Эдик! Я только его! Я люблю Эдика! Отойдите все.

Но, однако, любя Эдика, при этом не сопротивлялась, а прижимала к себе Илью. Он, глянув вбок, понял, что товарищам не все видно. Поэтому он подергался, изображая, но ничего настоящего не делая.

Возвращаясь, они хвастались друг перед другом, кричали, смеялись, боясь хоть на секунду замолчать.

Девушка явилась домой пьяная и растерзанная, а мать у нее была женщина действительно строгая — тут же принялась пытаться дочь и допыталась до всех подробностей, потащила ее в милицию, потом к врачам на экспертизу.

Четырем друзьям грозили суд, приговор, колония строгого режима для несовершеннолетних. Но родители бились яростно, наняли лучших адвокатов, адвокаты уговорили родителей девушки согласиться на материальную компенсацию, а саму девушку — забрать заявление... Все кончилось благополучно. А Илье было даже обидно: друзья совершили настоящее преступление, а он ничего не сделал, только изо-

бразил ради товарищеской солидарности (иногда думалось, что, возможно, и они изобразили — включая белобрысого...)

Потом была долгая законопослушная жизнь, все оправдавшая и списавшая, но Мельчуку мнительно казалось, что кто-то об этом знает, кто-то затаился и вдруг объявится в самый неожиданный момент и скажет: «А между прочим, этот уважаемый и приличный человек в групповом изнасиловании участвовал!»

У мнительности глаза еще больше, чем у страха: едва Притулов и Маховец приступили к новому судилищу, Маховец уже думал: они же из тюрьмы, вдруг в тюрьму попал тот самый белобрысый (слухи были, что тем и кончил), рассказал им давнюю историю, а они запомнили, они откуда-то знают, что это именно он...

Да нет, глупости, ерунда, не может такого быть.

Мельчук вытер платком лоб, когда подошли Маховец и Притулов, и сказал, стараясь не спешить, веско и просто:

— Ну, можете приговорить: уклонение от налогов, финансовые махинации.

— И приговорим. Пять лет хватит тебе? — спросил Маховец.

— Вполне.

— Пять лет, — утвердил Маховец. На этот раз он не просил никого голосовать.

Впереди у него была цель и он не хотел слишком затягивать время.

— Ну, с Галиной Яковлевной мы уже выяснили, — повернулся он направо.

— Любовь Яковлевна!

— Никак не запомню. Вы согласны с приговором?

— Ничего я не согласна. Всю жизнь живу, как люди живут, — обиженно сказала Белозерская. — Никому зла не сделала.

— Вот! — поднял палец Маховец. — В самую точку! К чему мы и ведем всем ходом наших...

— Дебатов, — подсказал Притулов.

— Да. Дебатов. К тому мы ведем, что именно все люди так живут. То есть — все преступничают.

— Ничего я не преступничаю!

Маховец не захотел больше с нею спорить.

— А это ваша дочка? — спросил он, глядя на Арину.

— Моя — и не приставайте к ней. А ты если тронешь, — сказала Любовь Яковлевна отдельно Притулову, — то я не посмотрю на твое ружье, я тебе все глаза вырву, понял?

Притулов улыбнулся:

— Пока не собираюсь.

— И потом не собирайся!

Маховец поднял руку:

— Тихо! Дайте девушке сказать. Признавайся, девушка, в чем виновата. Быстро дадим тебе годик и пойдем дальше.

— Аборт сделала! — сказала Арина с вызовом. Вызов был адресован не столько Маховцу и Притулову, сколько матери. Та одернула ее:

— Никто не просит на весь автобус орать!

— А везти меня в Москву — кто просил? — еще громче сказала Арина.

— Есть страны, за аборт в тюрьму сажают! — крикнул Димон.

— Ты можешь помолчать, идиот? — повернулась к нему Наталья.

— Ага! — ухватился Маховец за новый поворот. — Значит, не девушка виновата, хотя тоже виновата, а мама ее подбила! И еще строит из себя неизвестно что! Любовь Яковлевна, это как понимать? Вам известно, что за подготовку преступления дают больше, чем за само преступление?

— Не лезьте в семейные дела! — отрезала Любовь Яковлевна.

— Неуважение к суду, — заметил Притулов. — А мы вот что сделаем. Пусть дочка мамашу сама судит. Тебя как зовут, девушка?

— Арина, — ответила она, отводя глаза от нехорошего взгляда Притулова. — Не буду я ее судить.

— Будешь! — твердо сказал Притулов.

— Вы совсем, что ли? Родную дочь на родную мать натравливаете! — закричала Любовь Яковлевна.

— Да неужели? — изумился Маховец. — Нам и натравливать не надо, она вас и так ненавидит. Скажи, Арина. Только правду. Скажи.

И Арине очень захотелось это сказать. Она, в общем-то, было дело, говорила матери разные слова, в том числе и ругательные, но, во-первых, это было не при людях, а, во-вторых, от матери все отскакивало, как от стенки. «Кричи, кричи, — приговаривала она. — От крика умней не станешь».

Она казалась Арине иногда какой-то несговорчивой глыбой, для которой одна радость в жизни — давить на дочь и не давать ей жить. Арина даже сон видела, страшный: будто берет она в руки большой молоток, каких в жизни не бывает, бьет равномерно мать по голове и кричит: «Скажи, что ты дура!» — а та спокойно улыбается и отвечает: «Сама дура!»

И Арина громко сказала:

— Ненавижу! Чистая правда!

— Ариша! — ахнула Любовь Петровна. — Ты что?

— Да, ненавижу! — твердо повторила Арина. — Я сто раз тебе говорила, а ты не верила! Вот теперь будешь знать! А то убьют, а ты так и не узнаешь. Вот, знай теперь!

— Люди же! — просила Любовь Яковлевна.

— Слышала! — ответила Арина. — Только и слышала: люди, люди, люди, что подумают, что скажут! Тебе кто до-

роже вообще, люди или я? И кому вообще надо все, что ты со мной делаешь, мне или тебе?

— Да тише ты, господи! Что я делаю-то, опомнись!

— Дышать не даешь!

## Зарень — Авдотьянка

Маховец оставил мать и дочь доругиваться, а сам, сопровождаемый Притуловым, шагнул к Наталье и Куркову.

Курков был готов сознаться в чем-нибудь вымышленном, потому что преступлений за ним не водилось. Не считать же таковым пустячный случай мелкого воровства, о котором Леонид если и вспоминает, то с улыбкой — и даже, возможно, слегка гордится им, потому что не деньги украл, не кусок колбасы, а краски, два тюбика краски украл у художника-ветерана, модерниста в русле традиции, Альберта Жувачева, жившего в окраинной избушке, которую гордо именовал мастерской. Жувачев был настолько же бездарен, настолько и гостеприимен, то есть — безгранично и с азартом. Где-то в городе была у него нормальная квартира и нормальная семья, которую он навещал раз в неделю, чтобы помыться, а остальное время сидел в своей избушке, заросший бородой, и вечно у него собиралась художественная и артистическая молодежь. Там Курков встретил Наталью и возникла у них во время выпивки взаимная симпатия, скоро перешедшая в отношения.

Жувачев в тот вечер угощал — как, впрочем, и всегда: брат у него жил в Германии, занимался какой-то коммерцией, а заодно рассказывал по салонам творения Жувачева, спрос на них был, а вывозил их брат за границу хитроумно, предъявляя таможене в виде самодеятельного творчества своего сына, не имеющего художественной ценности (творчество имеется в виду, не сын). Мальчик стоял тут же и кивал, таможня давала добро. Таким образом, деньги у Жувачева водились.

Он угощал, показывал свои новые полотна, которые плодил обильно, как таракан потомство, молодые люди похваливали, скрывая усмешки, Леонид дурачился таким же образом, задумчиво и, как бы скрывая восхищение, говорил: «Здорово!»

Картины сменяли одна другую, и вдруг Леонид поймал себя на том, что ему нравится. Может, выпил лишку, может, настроение было такое, но он увидел в мазне Жувачева вовсе не мазню, а вещи со смыслом, с движением, с наполненностью. Может, не такие дураки эти заграничные покупатели? Может, Жувачев вообще гений, а они, все из себя непризнанные гении, запомнятся только тем, что были знакомы с Жувачевым?

Леонид оглядел избушку, и она вдруг показалась ему прибежищем настоящего свободного художника. Подрамники, холсты на полу вдоль стен, большой стол, заляпанный краской, разномастные стулья и табуреты, нарочитая захламленность во всех углах, кровать, застеленная мохнатым одеялом, банки и бутылки по полу, мусор — все это ему казалось раньше логовом добровольного нищего, а теперь увиделось мастерской неприхотливого гения, который, возможно, и не понимает, что он гений. Леониду захотелось состариться, отпустить бороду, засесть в такой же избушке,

выпивать, писать гениальные картины и плевать на то, что о тебе думают.

Чтобы сбить глупые мысли, он вышел на улицу, постоял под старым тополем, полюбовался вечерним закатным колоритом, запоминая его на будущее, потом вернулся в дом и увидел в крохотном чуланчике коробку, в коробке — тубы с масляными красками. Дорогие, это он сразу понял, такие в магазине «Искусство» стоят от восьми рублей и выше за штуку. Им в художественном училище масляных красок не дают, если хочешь — покупай, а на какие шиши при стипендии тридцать пять рублей? Жувачеву же, наверное, выделяет бесплатно местное отделение Союза художников. Или брат из-за границы присылает. Главное же: ему они для чего? — мазню малевать? А Леонид давно задумал небольшой станковый цикл... Короче говоря, Леонид сунул в карман куртки две тубы.

Жувачев то ли не спохватился, то ли не захотел об этом говорить: гостей было полтора десятка, мало ли кто взял.

И, кроме этой мелочи, нет за Курковым грехов, исключая тех, которые под уголовный кодекс не попадают, и которых здесь упоминать неуместно.

Курков выдумал преступление бытовое, наказуемое, но при этом довольно благородное.

— Человека избил до полусмерти, — признался он.

Наталья глянула на него с удивлением — она знала его как мужчину спокойного, не склонного не только дракам, но даже и к ссорам.

— Это кого? — спросила она.

— Меркитина.

— Того самого?

— Того самого.

Меркитин, тоже художник, пытался отбить у Куркова Наталью. И она, был момент, сомневалась, кого предпо-

честь. Меркитин был заметнее, выше, горластее, наглее, не стеснялся называть себя гением, а остальных художников подмастерьями — то была позиция добровольного юродивого, выгодная тем, что юродивому все можно.

— И за что ты его? — спросила Наталья.

Маховец и Притулов слушали: разговор ведь и для них.

— Был юбилей Фридмана, Фридман всех пригласил, потратился, ресторан заказал. Меркитин приперся и начал тост произносить — ну, в его стиле. За торжество идеальной посредственности, без которой не виден настоящий талант...

— Выразился хорошо, — оценила Наталья. — Идеальная посредственность, действительно.

— Да шут с ним, как он выразился, но надо же место знать! Не нравится тебе Фридман — не ходи! А он, главное, в такой это форме сделал, как обычно, не поймешь — шутит или нет. Поэтому гости хихикают. А меня возмутило. Он издевается над всеми, над тем же Мишей, но, подлюка, себя обезопасивает. Или как сказать? Обезопасивает?

— Такой формы нет. Можно сказать: ухитряется себя обезопасить. Описательно.

— Ну пусть так. То есть все, как оплеванные, а придраться не к чему. И я не выдержал. Встал и говорю: Сёма, ты не верти вола, скажи прямо: Михаил — плохой художник. Не про торжество посредственности, а прямо: ты, Миша, — плохой художник. Что ты всем тут намеками головы морочишь?

Наталья рассмеялась: ей нравилась история. Вдохновленный Леонид продолжил:

— Он аж весь покраснел. Начинает бормотать: да нет, я не про это, Миша-то как раз гениальный художник. Это ты на всех углах твердишь, что Миша бездарь.

— Вот подлец!

— Именно! Тут же все перевел на меня. А я говорю: да, может, и твержу! И обо всех твержу, потому что и другие то же самое твердят, так уж мы, творческие люди, устроены — и пусть тут хоть один скажет, что он не считает себя самым гениальным!

— Удачно сказал.

— Ну вот. И дальше: но, говорю, во-первых, не такой уж Миша бездарь, уж получше тебя, а потом — меня позвали на юбилей, я пью и ем и не плюю, как ты, в еду и в лица окружающим!

— И?

— И он в меня кинул стаканом. Я не смог его вытерпеть и... Главное, он был уверен, что меня уложит одним ударом. Все-таки выше, здоровее, если объективно. Но я был в такой ярости... Короче, ребро ему сломал, руку вывихнул. Он потом написал заявление в милицию. Чуть до суда дело не дошло.

На самом деле все было иначе. Леонид все это собирался сделать, но просто не успел — Меркитин уже кончил свой спич. Пришлось ему сказать правду в гардеробе, Меркитин озлился, бросился, они косолапо схватились, Курков оторвал его от себя, оттолкнул, Меркитин неловко упал на стойку гардероба и, как потом выяснилось, действительно сломал себе ребро и действительно говорил всем, что подает в суд на Куркова, но не подал. История обросла фантастическими подробностями и, если Наталья по приезду в Сарайск захочет кого-то расспросить, все равно не доищется правды.

— Нам еще помолчать или уже можно? — осведомился Маховец.

А Притулов сказал:

— Административный кодекс. Штраф в самом худшем случае. Не то. Да и врет он.

— Почему это я вру? — Курков прямо посмотрел в глаза Притулову.

А Притулов смотрел странно, наученный в тюрьме особому взгляду: не в глаза, а в переносицу. Вроде, в лицо смотришь, но как-то загадочно. Будто насквозь. Несведущего собеседника обескураживает.

Никаких сверхъестественных способностей у Притулова не было — он обвинил Куркова наугад. И понял, что попал.

— Подсудимый, вы знаете, что бывает за сокрытие данных от следствия? — спросил Маховец.

— Ничего я не скрывал. Больше рассказывать нечего.

— Хитрый какой, драку за преступление выдает! — возмутился Маховец. — Ты художник, как я понял?

— Ну да.

— Картины продаешь?

— Продаю.

— Вот! Это совсем другой состав преступления! — сообщил всем Маховец. — Видел я эти картины! Где у людей совесть, интересно? Рама — ну тысячу, две стоит. Краска — ну тоже тысяча, не знаю.

— Больше, — сказал Леонид.

— Ну, две, три. А картина — пятнадцать тысяч! Это не грабеж? Скажешь — за работу? Ну, рисовал ты ее день, два. Пятнадцать тысяч за два дня — это где же столько платят?

Наталья решила вмешаться:

— Творческая работа оплачивается не так, как... Не так, как работа землекопа.

— Землекопы хуже? Они не люди? Он горбится, копает землю, а потом приходит и покупает твою картину — ты ему в трудовой карман залез! — втолковывал Маховец Леониду.

— Залез, залез, — сказал Леонид, чтобы отвязаться.

— Три года строгого режима! — объявил Маховец.

— И еще год за вранье, — добавил Притулов. — Никого он не бил. Его самого били.

— Мне лучше знать, — огрызнулся Курков.

— Нет, а если ты такой храбрый, почему ты не встанешь и не дашь мне по морде? — с интересом спросил Притулов.

— Потому что у тебя ружье.

— Да? А вот нет ружья! — Притулов отдал карабин Маховцу и раскинул руки, приглашая.

Курков смотрел перед собой.

— Не надо! — прошептала Наталья.

Леонид и сам понимал, что не надо. Вот недавно же, после прямого нападения, стерпел. Но сейчас что-то изменилось.

И он вдруг вскочил, рванулся — и натолкнулся ну руку Маховца, которая опустила его на место.

— Доказал, доказал, смелый, — похвалил Маховец.

И вернул ружье Притулову.

## Зарень — Авдотьянка

— Граждане, не будем тянуть! — воззвал Маховец. — А то мы до утра так с вами будем возиться! Сережа, дай нам чего-нибудь для бодрости!

Личкин понял, налил водки в два стакана по половинке, принес Маховцу и Притулову. Маховец выпил, а Притулов отказался.

— Я чего подумал, — негромко сказал им Личкин. — Темно кругом. Машин мало. А вокруг лес. Надо остановиться и разбежаться. А так нас накроют.

— В лесу еще быстрее накроют, — сказал Притулов. — Иди, отдыхай.

— Как хотите.

Личкин вернулся к Петру и передал ему суть разговора.

Это ведь Петр поручил ему выдвинуть предложение об остановке. Петру разонравилось ехать в автобусе. Глупая вообще затея — и продолжается глупо.

Ладно, не хотят — их дело. Сейчас отойдут подальше, в конец автобуса, он скажет водителю, чтобы притормозил и открыл двери. И Петр спрыгнет, и сначала в лес, а потом выйдет к дороге в другом месте. Скромно и вежливо подни-

мет руку. Кто-нибудь остановится. И он не будет ничего с ним делать, просто попросит подвезти. Тем более, что деньги у него остались.

— Если хотите сойти, я с вами, — сказал Федоров.

— На здоровье, только дальше каждый сам по себе.

— Естественно.

У Федорова тоже возник план — как можно скорее явиться в милицию. Он не хочет отвечать за убийство. При этом, вполне возможно, не последнее.

Наталья решила не придумывать, а сознаться в настоящем преступлении, которое у нее, к счастью, было. Единственное плохо — такого рода поступки часто совершают дамочки из женских романов и американских киношных мелодрам, есть в этом что-то обыденно-психопатическое. Это kleптомания, воровство из магазинов самообслуживания.

Началось все легко и естественно, при том, что состояние в тот вечер было очень тяжелым. Она сидела одна, выпив остатки, желая продолжения и не видя для этого никакой возможности. Сожитель-режиссер в отъезде, на съемках, будет через месяц. Некому позвонить, не у кого попросить займы.

Она оделась и пошла к магазину — сама не зная, зачем.

Постояла у входа, делая вид, что кого-то ждет.

В сторонке, на каменных ступенях, сидели два мужика и женщина — все с азиатским заплывом пропитых навсегда глаз (у женщины еще и синяки добавляли припухлости), все в одинаковых, грязно-серого цвета куртках, перед ними стояла бутылка водки и большая емкость с каким-то газированным напитком. Даже они умудряются где-то разжиться деньгами, подумала Наталья. И ей очень захотелось подойти к ним. Растоптать свою фальшивую гордость, ска-

зять, как жаждущая жаждущим: «Налейте пятьдесят грамм, если не жалко!»

И ведь налили бы, наверное, но она не решилась. Даже не потому, что побрезговала, а — что потом делать? Ну, выпьет она эти пятьдесят граммов, на пять минут полегчает... Нужна бутылка водки, как минимум. Наталья нашарила в кармане две купюры, вынула их и посмотрела, скосив глаза, не опуская головы. Две десятки. Она и так это знала: все карманы давно проверены и перепроверены. Что можно на две десятки? Бутылка наидешевейшего пива? Ну — хотя бы.

Она вошла.

Люди ходили вокруг будничные, счастливые, здоровые, она одна была несчастна и больна. Попалось какое-то зеркальце на стене, глянула на себя — да нет, ничего, вид вполне спокойный. Актриса она или нет? Умеет!

Отдел со спиртными напитками, как и во всех магазинах, на самом видном месте. Наталья прошла мимо этого великолепия, потом сделала круг, еще раз прошла, посматривая — не наблюдает ли кто. Камер слежения в не видно. Вообще дешевый магазин, простой.

Наталья взяла бутылку водки, посмотрела. Как бы не понравилось, взяла другую. Отошла, держа ее в руках. Оказалась между ящиками с овощами и фруктами. И тут быстрым движением подняла куртку, втянула живот, всунула бутылку за пояс тугих джинсов. Вот когда выручает худоба, то есть — стройность.

После этого она прошлась по магазину, взяла пачку дешевых сигарет и встала в кассу, постукивая по ленте транспортера этой пачкой с таким видом, словно только ради сигарет сюда и пришла. Было очень страшно. Казалось, что и продавщица, и охранник — все смотрят на нее. Еще — Наталья запомнила — в этот раз обычный ассортимент обычного магазина представился ей чудовишно избыточным.

Она помнила еще своим детством и ранней юностью советскую магазинную убогость и пустоту, и ей вдруг пришло в голову, что если бы тогдашнего покупателя взять да и переместить в любой нынешний супермаркет, он бы немедленно рехнулся, считая, что попал в счастливое будущее. От этих мыслей Наталья даже улыбнулась. И с этой улыбкой подала продавщице сигареты. Та схватила сигареты, сунула под считыватель штрих-кода, назвала сумму, получила деньги.

Миновав кассу, Наталья сразу же наткнулась на охранника. То есть не наткнулась, он просто стоял. Но ей пришлось его обходить. И она обошла — очень медленно, прогулочно. А на выходе даже поиграла с опасностью: остановилась и посмотрела вниз, будто что-то случилось с сапогом.

— Выходите или нет? — послышался голос какой-то тетки.

И Наталья вышла.

Этот вечер был для нее праздником, очень хотелось кому-нибудь рассказать про свою удачу.

Подобный трюк она проделала и на следующий день, уже в другом магазине. Денег не было совсем. Пришлось спрятать бутылку и выйти так, будто не нашла, что искала.

Потом она получила кое-какие деньги за озвучивание роли, отправилась в магазин радостно, законно, как все, набрала там продуктов, взяла бутылку вина и бутылку водки, но в карман все же сунула упаковку жвачки. Просто так — для баловства.

Поймали ее через месяц. Охранник в черном, пожилой таджик, загородил ей выход. Он был строг, но явно получал удовольствие от того, что выполняет настоящую работу, а не слоняется туда-сюда. Рядом с ним был тонкий молодой человек в костюмчике.

— Извините, пожалуйста, пройдемте, — сказал он.

— В чем дело? — высокомерно удивилась Наталья.

И провалила реплику, сказала робко, полушепотом — так не говорят люди, которым нечего бояться.

В служебном помещении охранник и молодой человек предложили вызвать сотрудницу для обыска.

— Не надо!

Наталья сама достала две бутылки. Литровые плоские бутылки, которых со стороны было абсолютно незаметно. Видимо, охранник каким-то образом углядел.

Но нет, все оказалось еще проще: молодой человек продемонстрировал ей видеозапись. Вот она подходит, озирается, хватается, идет, в конце зала торопливо сует — боже мой, как все заметно, какая дешевая игра, какая самодеятельность! Наталье было очень стыдно. Впрочем, ей и раньше приходилось просматривать видеозаписи некоторых спектаклей с ее участием, они ей тоже не нравились. Но там не было все-таки такой обнаженной неумелости, такой жалкости...

Молодой человек обрисовал перспективы: сейчас вызовут милицию, оформят протокол, ее посадят в камеру к алкоголичкам.

Наталья достала деньги и положила на стол.

— Вот, возьмите. И я больше никогда. Это я на спор.

— То есть?

— Ну, с подружкой поспорила, что смогу.

Ее придумка вряд ли показалась убедительной работникам магазина, но достоверными выглядели настоящие живые деньги. Непонятно: зачем красть, если они есть?

Наталью отпустили, конфисковав, естественно, и водку, и деньги.

После этого — как отрезало. Были моменты, когда мучительно хотелось выпить, но, как только вспомнит себя на той записи камеры слежения — нет, ни за что. Видеть себя

воровкой она еще согласна, но видеть себя такой плохой актрисой... Лучше уж прибиться к бомжам.

И она прибилась к бомжам на целую неделю, пила с ними, обходила мусорные баки, спала в каком-то подвале. Однажды очнулась ночью — вонючий мужик с дырявым ртом лезет на нее, мычит.

— Что? — не поняла она.

— Ну давай! Давай! — гнусил он. — Чего ты? Давай. Займемся любовью!

И эта нелепая фраза в грязных (в буквальном смысле) устах алкоголика Наталью и ужаснула, и насмешила.

Она убежала, вернулась домой, позвонила своему режиссеру и рассказала все (вернее, почти все), что с нею произошло. Он примчался на следующий день. Тогда он еще любил ее...

Вот об этом Наталья и сказала — понимая, что это и для Куркова будет новостью.

— Ворovala.

Маховец посмотрел на Притулова, который стал для него чем-то вроде психологического эксперта. Тот, заглянув в глаза Наталье, кивнул:

— Похоже, не врет.

— Ты серьезно? — спросил Курков.

— Да.

— И что, если не секрет?

— Водку, продукты в магазинах.

— Зачем, почему?

— Денег не было. А выпить хотелось.

Наталья говорила спокойно, четко. Понимала, что это слышат другие. Ну и плевать. Ей сейчас было хорошо и почти весело.

— А что ты удивляешься? — спросила она Леонида. — Сам же всегда называл меня алкоголичкой.

— Я не называл.

— Но считал. Да ладно, я не против, я алкоголичка и есть. Есть еще вопросы? — Наталья с улыбкой посмотрела на Маховца и Притулова.

— Нет, — сказал Маховец. — Год условно.

— Есть, — возразил Маховец. — А изнасилование?

— Что такое?

— Изнасилование забыли, — мягко объяснил Притулов.

— Кто кого насиловал, извините?

— Вы — его, — указал Притулов на Куркова. — Он же ваш муж. А всякая женщина, чтобы сделать мужчине мужем, его насилует.

— Интересная теория!

— Это не теория, это жизнь! — вздохнул Притулов.

Он действительно был убежден, что задача любой женщины, как только она себя таковой почувствует, — выбрать жертву и совершить над ней насилие. Он помнил разных мужчин, приходивших к ним в дом, лишенный отца и мужа, свободный, и вели они себя тоже по-разному — кто смело, кто робко, кто наглед сразу, кто — учуяв позволение. Но по лицу мамы, по ее глазам, по усмешке Евгений понимал: как бы ни хорохорились, сделают в результате то, что она захочет. Захочет, чтобы ушли, — уйдут. Захочет, чтобы остались, — останутся.

Первый и последний семейный опыт Притулова утвердил его в мысли о насильнической природе женщин. Главный их метод — поставить мужчину в положение виноватого. Вот первое знакомство с Ритой, его будущей (а теперь бывшей и мертвой) женой. Пустяковая история: стоят у студенческой раздевалки, Рита рядом болтает с подругой, отдав номерок гардеробщице, гардеробщица протягивает пальто (отвратительно розовое и шуршащее, из какой-то

синтетике), Рита будто не видит, рассчитывая на то, что Евгений подхватит пальто и передаст ей. Но он не дурак, он разгадал хитрость и не подхватил, не передал. Пришлось Рите самой взять пальто. Она взяла, глянув на Евгения чуть ли не презрительно.

И он попался. Он не хотел об этом думать, но думал и думал. И ведь подруга Риты нравилась ему гораздо больше. Но она все видела, она тоже подумает, что он неуклюжий увалень — и как объяснишь, что он не увалень, что он сделал это (то есть, не сделал этого) принципиально?

Через неделю был вечер танцев. Евгений решил не идти, но подумал: Рита посмеется, решит, что он трусил. Ладно, надо пойти — и не обращать на нее внимания. Потанцевать с какой-нибудь другой сокурсницей.

Он пошел, не обращал на Риту внимания. Стоял у стены, глядя в сторону, никого не приглашая. Рита была с подругой. Надо подойти и пригласить подругу. Но, пока Евгений собирался, подругу уже пригласили. Рита осталась одна. Она вовсе не глядела укоризненно, она, быть может, вообще на него не глядела, но Евгений чувствовал себя виноватым. Позже он понял, в чем засада: если женщина может оказаться виноватой только за то, что она сделала, мужчина виноват и в том, чего не сделал. Не подал пальто — виноват. Не подошел — виноват.

И Евгений направился к Рите на невольных ногах.

Так оно и завязалось. Не проводишь до дома — виноват, значит, надо проводить. Не поцелуешь — опять виноват. Не попросишься в гости — виноват. Не воспользуешься отсутствием родителей — виноват.

Кончилось свадьбой.

Притулов было словно заточен и связан — вот когда он был больным и ненормальным, а не после, когда его таким признало общество.

Через три года они отдыхали дикарями на берегу Черного моря — сама же Рита и предложила. До ближайшего жилья километров десять. Купались, плескались, Рита была счастлива, а он ее ненавидел за то, что она считает, будто и он счастлив, за ее уверенность, что он никуда от нее не денется, а вечером в палатке будет платить дань — как раб, невольник, а откажется — виноват! И все произошло просто: он удерживал ее под водой несколько минут. Даже не душил, просто обнял сзади, обхватил, прижал ко дну, и все. Потом заявил в милицию. Никаких подозрений не возникло: мало ли тонут за сезон в этих местах? К тому же, Евгений беспрестанно плакал. Это была истерика — он плакал от счастья.

И стал, наконец, нормальным и здоровым, ясно увидел, что происходит вокруг. Мужчины благороднее — они просто живут, работают, делают какие-то дела, ходят по улицам. А женщины насквозь фальшивы и подлы, ничего не совершают просто так. Даже когда она всего лишь идет по улице, глядя перед собой, Притулов физически ощущает, как вместе с нею движется облако *ожидания*. Она ждет, она ждет постоянно и всегда, что подойдут, улыбнутся, скажут льстивые или ласковые слова, она — каждая — психически больна этим ожиданием. И все окружающие мужчины автоматически виноваты — тем, что не подходят, не улыбаются, не говорят льстивых слов. Не смотрят — уже виноваты. Нет их в том месте, где она идет и красуется, — и этим виноваты.

Чувство вины надоедает, но Притулову повезло, он нашел способ от этого избавиться. Ты ждешь — ты дождалась. Не в таком виде, как тебе хотелось? А кто сказал, что все будет только так, как ты хочешь?

Наталья засмеялась. Это Курков, скорее, ее изнасиловал — своим вниманием, своими ухаживаниями. А потом был тот

странный день, который полностью хранится в памяти Натальи, как, впрочем, и другие дни, но — это объяснил ей однажды друг режиссера, компьютерщик — в архивированном виде; в мозгах человека, рассказал он, как и на жестком диске компьютера, хранится все, что он испытывал, переживал, видел, однако хранится на девяносто девять процентов в виде сжатых файлов (winzip, winrar — Наталья цепкой актерской привычкой запомнила странные слова), а при необходимости иногда разархивируются и предстают в полном виде, хотя и не во всех, конечно, деталях.

Это было утро, когда она проснулась ни с того ни с сего счастливой. Лежала и думала, что недалеко то время, когда она, проснувшись, будет видеть перед собой лицо красивого, любимого человека. Она подняла руку и поправила воображаемые волосы на воображаемом лбу. Тут позвонил Курков и предложил поехать на пляж. Она поехала — как бы не с Курковым, а с воображаемым красивым и любимым человеком. Там она играла со случайной компанией в волейбол, бегала вдоль берега, стройная, загорелая — как бы не перед Курковым, а перед воображаемым красивым и любимым человеком, который сейчас любовался бы ею. Потом они ходили по городу, забрели в городской парк, где все аттракционы уже закрывались, в том числе — колесо обозрения. Курков, обычно не слишком решительный, договорился со служителем, чтобы тот согласился запустить колесо еще раз. Служитель долго хмурился, отнекивался, но Курков что-то ему пошептал и сунул в руку деньги. Тот пошел к своим рычагам, а Леонид и Наталья забрались в кабинку, стали подниматься.

И наверху колесо остановилось.

— Это ты ему сказал? — догадалась Наталья (что-то в этом роде она еще на земле предвидела).

— Да.

— Зачем?

— Сейчас узнаешь.

И Курков объяснился ей в любви и предложил выйти за него замуж. Он сделал это замечательно — как сделал бы красивый и любимый человек. Наталья Леонида не любила и в других обстоятельствах отказала бы, но очень уж жаль было, что пропадет такой момент. Объяснение в любви красивого любимого человека на колесе обозрения, когда оно остановилось, а пустые сиденья покачиваются, а на небе появилась первая звезда, а ветер одновременно и теплый, и прохладный, а в душе одновременно и печально, и радостно — любимый и красивый человек, возможно, еще появится, а вот такого момента может уже и не быть. И она согласилась.

Позже, когда с нею приключился первый роман, она различными ухищрениями затащила своего кавалера (красивого и любимого) в парк. Кавалер, как выяснилось, боялся высоты. Наталья с трудом уговорила его — все надежно и абсолютно безопасно! А сама, пока он стоял за билетами, подошла к служителю и, сунув ему деньги, попросила хотя бы на несколько секунд остановить колесо. Тот согласился. И вот зависли наверху. Кавалер вспотел.

— Ничего не хочешь сказать? — спросила Наталья.

— Почему мы застряли? — спросил кавалер. — Крикни сторожу, или кто там у них.

— Сам крикни.

— Я вниз не хочу смотреть. Говорил тебе...

На этом первый роман и кончился.

Смешно сказать, но был и еще один роман, и еще раз Наталья попыталась повторить чудо. И все сошлось: вечер, пустое колесо обозрения, только они вдвоем, остановка, молодой и красивый любовник признается в любви, обнимает, целует, но — увы. Приятно было, да, а той радости, почти да-

же восторга, какой она испытала с нелюбимым и не очень красивым Курковым, — не было.

«Жизнь загадка, вот что гадко», — сказал какой-то юмористический поэт.

Наталья не стала оправдываться перед посторонним мужчиной, да еще и маньяком, спорить с ним она тоже не собиралась, поэтому ответила:

— Да, конечно, изнасилование. Связала и надругалась. С особым цинизмом. Правда, Леня?

Это не понравилось Притулову.

Наклоняясь к Наталье с неизвестным намерением, он сказал:

— Шучу здесь только я!

Но Маховец взял его за плечо, удерживая:

— Вообще-то мы все тут шутим, Женя.

— Они с ума сошли, — шептала Нина. — Там женщина убитая, а они... Я не выдержу, я им все скажу.

— Что ты им хочешь сказать, они и так знают, — сказал Ваня, видя, как милиционер почти уже перетер веревку.

Тепчилин, презиравший, как уже было сказано, безнравственность, подразумевал преимущественно половые отношения, а также личное поведение, связанное с бытом. Когда женщина с кем попало, когда человек врет своим близким или не держит слова, когда ленится, — это безнравственно, потому что проявление слабости. Сила хотя бы право имеет, а безнравственность основана на пустом месте, что Тепчилина всегда и возмущало. Может человек не развратничать, не врать и не лениться? Может. А вот если его, Тепчилина, урезают в зарплате, обсчитывают, норовят зажать каждый рубль — это безнравственно? Нет, хотя и обидно. Потому что тут понятно, какая у людей основа так поступать. Они делают себе на пользу. Кто ж виноват, если мир так устроен, что все, делаемое себе на пользу, идет другим в некоторый вред? Стоя в очереди, ты уже вредишь тому, кто стоит за тобой, потому что ему мешаешь. А если он впереди, вред тебе. Если бы сам Тепчилин стал бригадиром или нарядчиком, он точно так же ужимал бы у рабочих каждый рубль.

Слушая, как работяги обсуждают существующие порядки, начальство, правительство, президента и т.п., Ана-

толий только усмехался: переменяйся вы местами, все будет точно так же. Не надо врать никому и самому себе: кроме выгоды, ничего на свете не существует, и если человек перестанет думать о своей выгоде, он перестанет быть человеком.

Нетрудно заметить, что этими мыслями Тепчилин вполне сходен с Желдаковым. Да и многим другим тоже. Это в литературе неправильно. Если один толстый, то другой тонкий, если один брюнет, другой блондин, если один флегматичный добряк, то второй желчный злобьяга. Но, увы, в жизни сплошь и рядом не так. В жизни может в одном месте сойтись удивительное количество похожих и даже одинаковых людей, братьев по духу или по отсутствию его, это уж у кого как.

Тепчилин удивлялся, почему пассажиры не понимают, что надо сидеть, молчать и не раздражать. Люди сбежали из тюрьмы. Как они попали туда, дело прошлое и не наше. Но они на все готовы, и это надо учитывать. Вел бы себя Тепчилин на их месте так же? Конечно. И все бы так вели.

И, когда Маховец и Притулов после разговора с Натальей шагнули к нему, у него был готов спокойный и взвешенный отчет:

— Работаю на стройках, материал потаскиваю. Все потаскивают. У кого ремонт, у кого дача.

— Святое дело! — одобрил Маховец. — Это еще с советского времени у нас повелось. На сколько наворовал? В смысле срока?

— Года на два.

— Ну и получи, — сказал ему Маховец почти по-дружески.

Притулов, продолжавший игру в проницательность, заглянул в глаза Тепчилина, но ничего там, кроме правды, не увидел.

Меж тем Тепчилин был самым настоящим убийцей, но настолько этого не осознавал, что даже не вспомнил.

У него имеется очень хорошая и разумная черта: он считает, что обо всем можно договориться. Но если уж договоришься, будь добр, держи слово. С Варей, например, когда придет, Анатолий первые дни насыщается половыми отношениями как попало, но через несколько дней просит пойти ему навстречу и, как он выражается, ибо не знает других выражений, «дать ему раком». Варя очень почему-то не любит этой позиции. Но все же соглашается, заставив его несколько раз сходить в магазин и на рынок, сделать что-то по дому. Ну, а после этого, дескать, ладно. В пятницу.

И настала такая пятница. С утра было очень жарко, солнце пекло в окна, выходявшие на восточную сторону, Тепчилин налил трехлитровую банку воды, поставил в холодильник и время от времени доставал и пил прямо из банки, обливаясь и радуясь прохладе. Смотрел по телевизору разные передачи, удивляясь, как всегда, обилию выступающих там идиотов. К вечеру стало прохладнее. Жена пришла с работы. Тепчилин поглядывал на нее ласково. Она отводила глаза. Тепчилин распаялся. Но он знал, что до темноты Варю не упросишь. Она дождется хотя бы густых сумерек и задернет плотные шторы, которые, быть может, специально купила на такой случай. Тепчилин не в претензии, общие контуры он все равно видит, а больше и не надо, потому что при ярком свете вечно на глаза попадется не то, что хочется рассматривать. И вот настали сумерки. Тепчилин встал с кресла. Варя, лицом серее этих сумерек, сказала:

— Толя, ты прости. Мне старуха одна сказала: сегодня нельзя.

— Какая старуха? — улыбался, не веря такой подлости, Анатолий.

— Ну, одна, у нас там. Она верующая и понимающая. И мне все объясняет. Нельзя.

— Ты, что ли, в церковь ходить начала?

— Хожу. А давай завтра вместе пойдем?

— Может, и пойдем, — не стал отпираться Тепчилин, помня, что церковь — это нравственно. — Но ты же обещала.

— Завтра, Толя.

— Нет, постой. Ты обещала или нет?

— Я тогда не знала.

— Меня не колышет, знала ты или нет! Ты по-человечески мне скажи, а не гавкай, как собака, одно и то же: обещала или нет?

— Ну, обещала.

— Тогда в чем дело?

— Нельзя, Толя.

— Да почему нельзя? — злился все больше Тепчилин. — Вот я, почти готов, вот ты — только раздеться, вот постель — почему нельзя? Кто мешает?

— Бог, — ответила Варя.

— Кто?!

Тепчилин очень удивился. Бог никогда еще не возникал в его жизни с такой ошеломительной реальностью. Он вообще Бога не понимал и, пожалуй, в него не верил. Церковь уважал и считал ее полезной — она помогает людям заняться чем-то спокойным, ни для кого не обидным. Все лучше, чем водку пить. Тут у него было, как это часто случается у безликих и серых людей, абсолютно оригинальное мнение. Большинство-то как раз считают, что где-то какой-то Бог есть, а вот всякие религии — только морока и раздор, путают людей, путаются друг у друга под ногами и никак внятно не могут объяснить, почему люди, верящие в Бога так-то, попадут в рай, а верящие в Него же по-другому, в рай не попадут, как бы ни старались. А Тепчилин, считая Бога выдумкой, вы-

годной людям, ценил и уважал эту выдумку: заставляет если не всех, то хотя бы некоторых иметь совесть.

И если бы у Вари хватило догадки сказать, что запрещает церковь, а не Бог, Тепчилин, возможно, еще смирился бы, хотя тоже не факт, а вмешательство того, кого и на свете-то нет, его возмутило.

Он разозлился, выпил водки и полез на Варю.

Та яростно сопротивлялась — будто первохристианка, сравнил бы Тепчилин, если бы когда-нибудь слышал о первохристианах.

Пришлось ее ударить. Она потеряла сознание и уже не мешала. Зато никак не держалась в требуемой позиции.

Но как только завозилась, замычала, застонала, приходя в себя, Тепчилин тут же поставил ее нужным образом и исполнил задуманное.

А убийство случилось на стройке. Тепчилин работал на одиннадцатом этаже, увидел, как молодой напарник Ильдар собирается вниз, и попросил его купить бутылку воды. Денег дал. Ильдар ушел и исчез на целый час. Трепался, наверное, с уличными девушками. А потом вернулся с сигаретами — за ними и спускался. А воду забыл. Анатолий очень обиделся.

— Не хотел принести, не обещал бы, — сказал он.

— Да забыл просто!

— Не хотел бы, не брал бы денег, — гнул свое Анатолий. — А ты денег взял. Смеешься надо мной.

— Да возьми ты свои деньги! — Ильдар швырнул ему пару мелких бумажек.

— Я тебе сейчас кину, — сказал Тепчилин. — Я сейчас тебе так кину!

И бросил в Ильдара куском засохшей штукатурки. Потом металлическим прутом.

Не попал — да не очень и хотел.

Но Ильдар напугался, бегал у края и кричал:

— Хорош, хватит, схожу я тебе за твоей водой!

И оступился по неопытности, не чувствуя расстояния до края (Анатолий его всегда чувствует — даже спиной). И упал.

Было, как положено, следствие. Все подтвердили, что отношения Анатолия и Ильдара складывались спокойно, přátельски. Молодой следователь, жаждавший эффективного расследования, даже проверил Тепчилина на детекторе лжи, задавая дурацкие вопросы: «Сейчас лето?», «Вы любите мороженое?», «Лед холодный?», «Вы любите собак?», «Сегодня двадцать шестое?», «Вы убили Ильдара?»

Тепчилин ответил: «Нет!» — и аппарат «Полиграф» не зафиксировал вранья, потому что он ведь и в самом деле не убивал Ильдара. И никогда не чувствовал, что убил, хотя жалел веселого и добродушного паренька. Конечно, юридически, если бы докопались, происшествие могло сойти за преступление, но Анатолия это не смущало и не волновало. Юридически все можно доказать.

## Авдотьянка — Шашня

Самозванные судьи хотел пройти мимо Татьяны Борисовны Лыткаревой, но она их сама остановила:

— Куда это вы? А меня судить?

— Неужто и вы, бабушка, нагрешили?

— Да, — твердо ответила Лыткарева. — Родила такого же сволоча, как вы.

Ей не так просто это было выговорить вслух, но она хотела это выговорить. Глядя на то, что происходит в автобусе, ужасаясь, боясь, переживая, она все сравнивала с сыном — и первые часы ей казалось, что вот именно от таких подлецов он и пострадал, они его и сманили.

При этом она не могла отвести от них глаз — о чем-то догадывалась и никак не могла догадаться.

И вдруг поняла: она видит сына в словах Маховца, в повадках Притулова, в веселости Петра, в невинной жестокости Личкина и даже в хмурости замкнувшегося Федорова, отделившего себя от всех. Она видит сына — и всегда видела его таким, только не хотела себе в этом сознаться. Не его сманили, он сам сманит кого угодно (Лыткарева вспомнила, как не могла ему отказать, если он начинал убедительно

просить выпивки или денег), он там хозяйствует и чувствует себя свободно, в этой воровской и поножовочной жизни, он сам кого-нибудь вот так же, как эти, мучает.

У них была игра, когда сын был маленьким: мать называла его в третьем лице. Неизвестно почему. Просто нравилось.

— И чего он хочет? — спрашивала мать сына.

— Пить хочет.

И так привык, что сам подходил и говорил:

— Он пить хочет.

Или:

— Он гулять хочет.

И долго это сохранялось, в добрые свои минуты сын, уходя, улыбался и говорил матери:

— Он гулять пошел! — напоминая ей о том, что было. И на сердце у нее теплело на весь вечер — до его прихода.

У Лыткаревой было хорошее, доброе детство, и сыну она постаралась устроить такое же. Поэтому ей казалось, что в детстве вообще все хорошие и нормальные, а взрослая жизнь — это болезнь, которой заболевают после детства и не могут уже вылечиться до самой смерти.

А вот теперь подумалось: нет, не болезнь. Выбор человек такой сделал. Как вот эти. И она сыну помогла. Хоть и старалась от всего оберечь, а помогла. Чем — непонятно. Значит уже тем, что родила.

О чем она и сказала.

— Значит, сидит сынок? — спросил Маховец, как спросил бы родную мать, если бы любил ее.

— Сидит. И вам надо сидеть, а не людей пугать.

Притулов обиделся:

— Мать, ты не нарывайся. А то так напугаю.

— Не трогай ее! — раздался голос.

Притулов обернулся.

Федоров стоял во весь рост и глядел на него.

— Чего? — как бы не расслышал Притулов.

— Не трогай, я сказал!

— Он сказал! — передразнил Притулов.

Но Маховец дружески положил руку ему на плечо.

— Товарищ прав. Нам лишней жестокости не надо. Мы ведь чего хотим? Доказать, что все могут сидеть в тюрьме.

— Уже доказали! — крикнул Федоров.

Притулов и Маховец переглянулись и пошли дальше.

Они, люди опытные, поняли, что Федоров — в том состоянии, свойственном слабым людям, когда они устают от своей слабости и готовы переть на рожон. И решили не ускорять событий.

И ведь угадали: действительно, Федоров смертельно устал сидеть и ждать, что будет дальше. Ему хотелось скорее — все равно чего.

Но они сбили его настроение.

И он опять сел. Ждать.

## Авдотьянка — Шашня

Веселый Димон был готов к вопросам.

— Обкуренный? — определил Маховец.

— Есть немного, — не отрицал Димон. — Могу поделиться.

— Не увлекаемся, — ответил Маховец за себя и за Притулова. — За что срок получать будем?

— У, много чего! — охотно ответил Димон. — Дурь денег стоит, а денег сроду нет. Надо добывать. По-разному, само собой.

— Не сидел?

— Нет пока, обходилось, — сказал Димон, как бы даже удивляясь такой нелепице.

Он действительно считал себя очень везучим человеком.

А в жизни любил движение, как тот мельник, о котором он никогда не слышал. Обожал ходить в школу, но не учиться, а — общаться. Разговаривать, смеяться, баловаться. После школы, наскоро сделав уроки, бежал к друзьям. Он сам не умел, не любил и не хотел делать что-то целенаправленное, но ему очень нравилось примыкать к чьим-то занятиям. Идут в кино — и он с удовольствием идет в кино. Сидят

дома и пьют пиво — и он пьет. И все ему казалось хорошо. Утро хорошо тем, что просыпаешься. Среди друзей хорошо, потому что какие-то разговоры все время, а он очень любит слушать. Слушает и смеется. Его все любили за это. Потом появилась трава, и все стало окончательно прекрасно, жизнь приобрела смысл раз и навсегда. Есть трава — блаженствуешь и ни о чем не думаешь, нет травы — ищешь траву. Появились товарищи по странствиям, возникли промежуточные цели: сесть на такую-то электричку и поехать туда, где, рассказывают, живут приятные люди, готовые поделиться. Вписался к ним, пожил какое-то время, поехал дальше. Понравилась девушка, начал действовать. Она ответила взаимностью — хорошо, нет — другие найдутся.

Может, главное в характере Димона — умение радовать людей и быть для них не угодливо услужливым. Попадая в чужой дом, он мог, например, прибраться, вымыть посуду и даже что-нибудь приготовить (чего никогда не делал в родительском гнезде). Или пересекал весь город, чтобы передать от одного шапочного приятеля другому, вовсе незнакомому, что-нибудь такое, что второму требовалось. Правда, иногда он сбивался с этих маршрутов: однажды его послали с чьим-то паспортом купить билет. На вокзале Димон встретил интересную компанию — трех девушек и двух парней. Выпил с ними пива, покурил.

— Куда собрался? — спросили его.

— Да билет надо купить.

— Плюнь, поехали с нами. Мы домик нашли на берегу озера, там никто не живет, а домик отличный. В озере рыба есть. А у нас травы — как на газоне перед Белым домом. Отдохнем! Денег только мало.

Это было слишком заманчиво. Димон вручил им деньги, которые ему дали на билет, и поехал с ними. А паспорт кому-то потом продал: все-таки документ, ценная вещь.

Если бы Маховец и Притулов не отстали, Димон спел бы им жалобную песнь о больной маме. Но они его признанием удовлетворились.

Тут послышался громкий голос Петра.

Ему было неприятно, что он оказался в стороне, его корбило соседство с мертвой девушкой, он понимал, что ее убили при двусмысленных обстоятельствах и ему, пожалуй, надо было что-то сделать. Петр чувствовал себя отчасти виноватым, это его раздражало. Он выпивал больше, чем хотелось, искал сцепку с происходящим: душа крутилась вхолостую.

И сцепка нашлась — Димон. У Петра беда — младший братишка Егор попал в дурную компанию. И курит, и колется. Мать в страшном горе, Петр пытался его лечить, сдавал в клинику, но Егор, едва выйдя оттуда, начинал все сызнова. И ведь кто-то дал ему первый косяк, кто-то угостил его первой дозой. Петр иногда очень живо, в картинках, представлял, как он сворачивает этому гаду голову.

И вот он, один из таких — веселится, а ведь далеко уже не пацан. Именно такие морочат голову подросткам, представляя им все легким и увлекательным.

— Ты чего лыбишься? — спросил Петр. — А?

Ответа не последовало.

Петр встал и направился к Димону.

Димон мальчишески шмыгнул носом, чтобы казаться проще, безопаснее и моложе, и сказал:

— Я так... А чего?

— А того! Егора знаешь? Вы же все друг друга знаете?

— Я несколько Егоров знаю, — сказал Димон, надеясь знанием заслужить снисхождение.

— Такой невысокий, глаза серые, как у меня, любит в широких джинсах ходить, одно время возле «Китай-города» ошивался?

— Вроде, видел, — осторожно сказал Димон, не понимая, к чему клонит Петр.

— Вроде! Он даже не помнит тех, кому жизнь поломал! Это вы, сучки, мне брата сгубили! Давно я до вас добираюсь! И он еще веселится тут!

— Да я-то при чем? Я его и не видел никогда!

— Только что сказал, что видел!

— Да они там одинаковые все!

Маховец и Притулов с любопытством смотрели.

Петр стоял уже возле Димона. Тот вскочил, чтобы не получить удар сидя. А что его будут бить, он сразу понял, благодаря большому опыту.

— Одинаковые? Как бараны, да? А вы кто? Не бараны? А? Не бараны? Не бараны вы? Не бараны?

Так трижды выкликнул Петр и трижды ударил Димона по лицу — быстро, Димон не успел защититься, лишь согнулся и приподнял локоть. Это было похоже на исполнение какого-то ритуала, для которого перед ударом обязательно нужно что-то выкрикнуть.

Но настолько велика у Петра любовь к справедливости, что он, закончив расправу, спросил:

— Скажешь, не за дело получил?

— За дело, — согласился Димон, трогая кровь на губе.

И вдруг икнул.

Петр добродушно рассмеялся и пошел на свое место.

Димон опять икнул.

— Ты что этим хочешь сказать? — обернулся Петр, радуясь возможности продемонстрировать чувство юмора (и жалея, что не видит и не слышит его погибающая бирюзовая красавица).

— Я ничего... Я просто... Ик!

— Оскорбляет! — пожаловался пассажирам Петр.

— Да ничего я... ик... не... Просто... Ик...

И вдруг захохотала Наталья.

Другие тоже готовы были рассмеяться, но нелепый смех Натальи их остановил.

Она хохотала взахлеб, запрокидывая голову. Очень уж по-актерски, подумал Курков, взял ее под руку и попытался успокоить:

— Не надо...

— Отстань! Это же абсурд! Это полный абсурд! Леня, мы никогда отсюда не выйдем! Никогда! Мы будем веселиться, пока все не подохнем!

— Уйми бабу, — хмуро сказал Притулов Леониду.

— Ничего, она сейчас... Нервы, сами понимаете...

— У всех нервы...

Наталья еще некоторое время смеялась, но уже зажимая рот, а потом стала плакать.

Курков гладил ее по плечу...

Тихон изредка поглядывал на Вику, но она обратила на него внимание только один раз — показав взглядом на свою сумку. Тихон понял, взял сумку, понес ей и хотел остаться рядом, но она резко положила ладонь на сиденье рядом с собой: не надо. Он вернулся, а Вика, обхватив сумку, прижалась к ней, согнулась, смотрела, повернув голову, в окно — вернее, в шторку закрытого окна.

Тихон врать себе не любил, хотя и умел, — он понял, что жалеет об этой поездке. Нет, он немного влюблен в Вику, но в кого он только не был влюблен — сколько себя помнит. Поперся почти за тысячу километров — зачем? Как с ней себя вести после того, что случилось? Наверняка теперь у нее психологические проблемы. А Тихон мечтал, чтобы первый контакт был с девушкой обязательно красивой и, конечно, без проблем — красота с проблемами не совместима.

К тому же, он не мог невольно не согласиться с Притуловым, хоть тот и маньяк. Действительно, ведь они мучают женщины, они постоянно мучают своими голыми ногами, животами, тем, что снимаются на обложках и в видеороликах, позволяя выставлять себя на продажу. Грубо говоря,

разве действительно не спровоцировала Вика маньяка? Получается, что и Тихон — не человек свободного выбора, а жертва провокации. Это обидно. Это очень обидно.

Он не успел приготовиться, когда подошли Маховец и Притулов, — потому что не в чем было сознаваться, он ничего такого не сделал, чтобы за это могли осудить и посадить в тюрьму. И неожиданно сказал:

— А я шнурки не умею завязывать.

Прозвучало глупо — но, может, и хорошо, что глупо. Почти по-детски, а детей не трогают. К тому же, это было правдой: в детстве он не научился завязывать шнурки, а потом, когда ему покупали очередные ботинки или кроссовки, просил маму завязать свободно, чтобы ноги влезали без препятствий, в крайнем случае — с ложкой.

— И больше ничего? — спросил Маховец.

— Вроде нет.

— Ошибаешься, — сказал Притулов. — Твоя девушка?

Он показал на Вику.

— Мы родственники.

— Тем более. Ты должен был предотвратить преступление.

— Я пробовал, — Тихон притронулся к ссадине на лбу.

— Плохо пробовал.

— А что, за не предотвращение статья есть? — спросил Петр.

— У нас есть! — ответил Притулов. — Не предотвратил, девушку обесчестили. Она может стать проституткой. Пособничество, пять лет — минимум. Согласен?

Тихон кивнул.

Притулов не глядел на него (уверенный в согласии), он глядел на Вику. Но перед Викторой сидел еще Желдаков.

А Желдаков успел много о чем подумать — возможно, с такой силой, с какой еще никогда не думал, потому что никогда в таких ситуациях не бывал.

Имелись у него две идеи, накопленные за жизнь: удовольствия у всех одинаковые, это раз, ценно лишь то, что приносит пользу мне, это два. Вторая идея осталась нетронутой — а возможно и выросла за счет того, что уменьшилась и высвободила место первая.

Да нет, открылось Желдакову. Не одинаковые у людей удовольствия. Это я себя успокаивал. Одни получают удовольствия, какие хотят, а другие пользуются остатками. Значит — он человек остатков? Получается так. Человек остатков, в отличие от основных людей. Даже эти преступники оказались основными. Они в считанные минуты заставили всех, включая Желдакова, жить по своим законам. Один с удовольствием бьет по мордам, второй уцепил самую красивую девочку и попользовался без всяких сомнений. Хотел бы так Желдаков? А почему бы нет? Он на эту девочку тоже глаз положил. Просто, соблюдая равновесие, он приучил себя не желать недостижимого. Но кто сказал,

что оно недостижимо? Напротив, выяснилось — очень достижимо. Легко достижимо. Наставил ружье, дернул барышню за руку — и все, и достиг.

Выпитая водка (он достал из сумки запасную бутылку) утверждала его в этих мыслях и настроениях — одновременно и печальных, и странным образом вдохновляющих. Только он не понял еще, на что они вдохновляют. Спротивляться вооруженным бандитам? Зачем? Примкнуть к ним? Не получится, да и не надо.

В общем, хотелось чего-то, но пока неясно было, чего.

А преступлений ему придумывать не надо, у него, слава богу, есть преступление — готовенькое и вполне солидное: помог одной своей любовнице, занимавшейся квартирными аферами, пригробить старушку. Он отказывался, говорил, что у него на кровь нервы, она сказала, что никакой крови не будет, ему вообще ничего делать не надо, она просто поговорит со старушкой, та расстроится и помрет от сердечного приступа. Надо будет только закатать ее в черный непрозрачный пластик и вынести. И будет старушка значиться пропавшей без вести, а квартирка отойдет в пользу тех, кому нужней. Молодым же везде у нас дорога, а старикам везде почет, особенно на кладбище. Желдаков все равно сомневался. Любовница тогда сказала: проваливай. Выбор был прост: либо потратить три часа на не очень приятное дело, а потом вернуться в уют и тепло, либо переться сейчас в осеннюю ночь неведомо куда. Желдаков согласился. Поехали, вошли: старушка легко впустила солидную женщину, представившуюся социальной работницей. О чем-то они в комнате поговорили, потом любовница позвала, Желдаков вошел и увидел старушку с полиэтиленовым пакетом на голове.

Они упаковали ее, отвезли за двадцать километров от Москвы, закопали, все обошлось хорошо, правда, через па-

ру месяцев пришлось с любовницей расстаться — она позвала на второе такое же дело, а Желдаков все-таки не рецидивист какой-нибудь.

Вот об этом Желдаков и рассказал в кратких выражениях.

— У, брат, да ты хуже нас всех! — покачал головой Маховец.

— Это почему?

— Как почему? У Евгения вот — идея. Ведь идея же?

— Конечно, — согласился Притулов.

— У меня тоже свои причины. Собственные, понимаешь? Личные. А ты ради чего убил старую женщину?

— Я ее не убивал. Спрятать помог, это да. За это срок дают, я знаю. Но я же и не говорю, что не виноват.

— Ты хуже, чем твоя баба, виноват! — разъяснял Маховец. — У бабы была личная цель, причина. А у тебя? И еще хвастаешься — не рецидивист! Ты хуже рецидивиста! Сравнил! Рецидивист — это что? Человек вышел на волю, ему хочется жизни, он гуляет, потом ему понадобилось кого-то прирезать. Ну, мало ли. Денег добыть или просто не понравился человек. И он собирается его прирезать, а тот не хочет. Нет, говорит, не надо меня резать, я жить хочу! — изображал Маховец в лицах. — А тот ему: чудак-человек, как не надо, очень даже надо! И ты не дергайся лучше, а стой спокойно — или ляжь сразу на землю, чтоб тебе потом не падать, не ушибаться. Ляжь, дорогой, а я тебя зарежу, и все будет спокойно, потому что все равно ведь так будет. Нет! — с изумлением и огорчением за воображаемого зарезываемого человека воскликнул Маховец. — Никак не может успокоиться. Нервничает, переживает, не хочу, кричит. Тут ты идешь мимо. И я тебе, к примеру, говорю: поддержи человека, мне его зарезать надо, а он мешает. И ты его берешь, и держишь. Так получается? Так или не так?

— Ну, примерно. — Желдаков не хотел перечить.

— Вот! Поэтому ты еще больше виноват! И заслуживаешь ты высшей меры.

Петр тут же вмешался:

— Стрелять не надо больше, ладно? — сказал он. — Какой смысл?

— Апелляция принята! — важно отозвался Маховец. — Заменим пожизненным заключением. Все согласны?

Никто не ответил, но Маховец кивнул, будто получил подтверждение.

Притулов уже не интересовался Желдаковым — он смотрел на Вику.

Ему было любопытно ее видеть.

Раньше он видел своих жертв после того, как все было сделано, только мертвыми. И уже не интересовался ими, прятал, закапывал — как прячут неодушевленный мусор. Если и тянуло на место преступления, как выражаются криминалисты, то не для того, чтобы проверить, не осталось ли следов (этим страдают многие), а просто — любой нормальный человек любит посетить тот уголок, где ему было хорошо.

Вика, оставшаяся живой, и притягивала, и тревожила — будто что-то он не доделал, не завершил. В конце концов, жизнь, как давно понял Притулов, держится на правилах и обычаях. В том числе, на своих собственных. Значит, надо все-таки сделать Вику мертвой, тогда все будет правильно. Но рядом Маховец, опасный напарник, намерений которого Притулов до сих пор не понял. Он вообще не совсем понимал этого человека. Лучше бы его тоже убить и взять власть полностью в свои руки, но остаться одному — слиш-

ком опасно. На остальных надежды нет — угонщик то и дело перечит, бедный капиталист тоже делает вид, что ни при чем, а Личкин притих, не видно его и не слышно, наверное, заснул (это было действительно так).

Надо все так обставить, чтобы убийство Вики выглядело естественным, чтобы и Маховец, и, желательно, все другие согласились, что не убить ее нельзя.

Притулов не подозревал, что Вика приготовилась ему помочь. У нее в сумке был нож. Отец, человек добрый и по-женски мелко хлопотливый, собирая ее в дорогу, приговаривал: «В поезде поедешь, а там сроду ничего у них нет, а у тебя и своя вилочка, и свой ножичек — хлеба отрезать, колбаски». Отец любил все называть уменьшительно — черта, которая при воспоминании кажется такой милой и хорошей, хотя обычно раздражала. Мать и отец Вики были похожи, как брат и сестра, не внешностью, а характерами — оба мягкие, ласковые, ненавязчиво интеллигентные, любят свой дом, то есть большую квартиру, построенную собственными трудами в трехквартирном (по этажу на семью) особняке на склоне холма, с замечательным видом: внизу город, сразу за домом — лес. Они люди удачливые, их ценят за ум и энергию, у них репутация, связи, они хорошо зарабатывают, но так при этом все мягко, спокойно, совсем не похоже на жизнь деловых людей, которую изображают в книгах и по телевизору: жесткую, с какими-то резкими разговорами по телефону, разборками и криминальным уклоном.

Одно плохо — они такой же хотели видеть свою дочь и огородили ее запретами, против которых она с пятнадцати лет начала бунтовать. Но мешало то, что Вика слишком была похожа на родителей и не могла просто уйти и хлопнуть дверью. Поэтому начинались длинные диалоги:

— Викуша, а когда ты будешь?

- Поздно.
- Поздно — понятие растяжимое. Мы не против, пусть поздно, только если не совсем поздно, но назови хотя бы время.
- Двенадцать.
- Нет, Викуша, так не пойдет. Крайний срок — одиннадцать.
- Почему?
- Потому что ты поедешь одна в нашу глушь, тебя может встретить кто угодно.
- Меня и в одиннадцать встретит кто угодно. И в десять. И вообще утром!
- Согласись, в двенадцать такая вероятность больше.
- О, господи! Ладно, в половине двенадцатого!
- Нет, Викуша, в одиннадцать. Нам завтра на работу, пожалей нас, пожалуйста.
- Так ложитесь спать, кто вам мешает?
- Ты прекрасно знаешь, что мы не сможем лечь.
- Это ваша проблема!
- Это общая проблема! Хорошо, если тебе для чего-то нужно задержаться до двенадцати, договоримся так: ты скажешь, где ты будешь, а папа к двенадцати подъедет.
- И дом сказать? И квартиру?
- Почему нет? Что в этом секретного? Мы взрослые люди, мы понимаем, что у тебя могут быть какие-то личные дела. На здоровье. Папа даже не будет входить в квартиру, он просто подождет на улице. Хотя, конечно, лучше бы дать телефон этого мальчику, к которому ты идешь.
- А если не к мальчику, а к подруге?
- Хорошо, к подруге. Тогда ее телефон.
- У меня у самой есть телефон, в любой момент можете позвонить!
- Я имею в виду домашний телефон.

— Слушайте, чего вы боитесь, я не понимаю?

— Мы не боимся, мы беспокоимся.

И так далее, и тому подобное. В результате Вика, вспылив, уходила к себе комнату. А потом, когда подросла, перестала объявлять, что куда-то идет. Просто уходила. Или не приходила допоздна. Это был трудный период. Родители подолгу объясняли, какими неожиданностями чревата жизнь. Вика от этих объяснений была готова сбежать, куда глаза глядят. И однажды сбежала — к подруге на дачу, на три дня. Приехав узнала, что мама лежит с сердечным приступом, а отец поднял на ноги городскую милицию, обзвонил все больницы и морги, нашел телефоны всех друзей Вики, и родителей друзей, и друзей друзей, и друзей родителей друзей, и всем звонил, наводил справки...

Ужас был в том, что Вика чувствовала в себе крепкое, врожденное *то*, за что ненавидела родителей (ну — или не принимала, так можно сказать). Чувствовала себя слишком приличной, пристойной, всегда хорошо училась, склонна была к аккуратности и исполнительности. То есть бунтовала она не против родителей, на самом деле, а против себя. Ей не нравились собственная брезгливость и разборчивость: давно пора бы завести с каким-нибудь парнем нормальные отношения, если не любовные, то деловито-сексуальные, как у многих ее подруг. Они все не собираются еще замуж, но при этом живут свободно, набираются опыта, получают удовольствие. У Вики — ни опыта, ни удовольствия, а только желание того и другого.

Она со стороны многим казалась девушкой раскрепощенной. Одевалась подчеркнуто вызывающе и вела себя так, будто прошла огонь, воду и медные трубы, и все в ней кричало: черт вас возьми, да уже сделайте со мной что-нибудь, чтобы я перестала болтаться между тем, не знаю чем, и тем, чего не знаю! Но этого все не происходило, все оттяги-

валось, и вот она поехала в Москву, и вот этот Тихон, который сначала ей показался спокойно-опытным московским юношей, и она ждала от него многого, но вскоре поняла — такой же, как и она, маменькин и папенькин ребенок, только ее это бесит, а он, похоже, всем доволен.

Вика вспомнила еще, как ее приятель Влад, один из не реализовавшихся претендентов на ее невинность, студент-юрист, с удивлением рассуждал: почему, дескать, за изнасилование дают так много — больше, чем за воровство, грабеж и даже иногда больше, чем за убийство? Почему дефлорация расценивается бóльшим злом, чем вскрытие отмычкой сейфа или ножом грудной клетки? Особенно если девушка остается жива? Что такого, собственно, происходит? Обыкновенный контакт мужчины и женщины, только с применением силы, — это, конечно, плохо, но что делать, если с некоторыми не договоришься? Видимо, рассуждал он далее, это пережиток древних времен, когда невинность девицы приравнивалась к святости, и покушение на оную приравнивалось к осквернению святыни. Вика и другие девушки, что были при разговоре, посмеивались и даже, пожалуй, соглашались, только одна хмуро возразила: а тебя бы затащить в кусты и надругаться, каково было бы? Юрист ответил, что, ежели это будет особь противоположного пола, он будет только рад.

А теперь Вика поняла: за это не только большие сроки давать, за это убивать надо. Тебя хватают, тебя тащат, как предмет, как вещь, то есть, уже этим убивая в тебе человека, то есть, это уже убийство, тобой пользуются, и это такое состояние, что можно сойти с ума.

Она и чувствовала себя почти сошедшей с ума, и ее это даже радовало.

Аккуратнейший отец уложил нож, вилку, чайную ложку, салфетки и прочие мелочи в специальную дорожную коро-

бочку: он любил вообще вещи не случайные, нашедшиеся под рукой, а нарочно предназначенные для того, для чего их используют; сварить кофе в кастрюльке, как делает один знакомый Вики, для него было абсолютно невозможно. Вика заранее достала нож и сунула руку под сумку. В этом ничего подозрительного. Сумка лежит на коленях, одна рука сверху, друга под сумкой, она просто к ней прижимается, ничего особенного. Сейчас он подойдет. Ружье держит вверх, опустить сразу не успеет. Вика несколько раз ударит его ножом в живот. Именно в живот, в других местах может наткнуться на кость, на ребро. Несколько раз. Он упадет, а Вика выхватит ружье и будет стрелять.

Она была готова.

Притулов шагнул к ней.

## Авдотьянка — Шашня

Тут Артем объявил:

— Бензин кончается, впереди заправка, я сворачиваю!

Маховец быстро пошел вперед. Притулов отправился за ним.

Петр посмотрел на датчики и сказал им:

— В самом деле, высох автобус.

— Не спать! — толкнул Маховец сладко дремлющего

Серезу Личкина.

— А? Чего?

— Иди назад, осторожно посмотри, едет кто сзади или нет.

Личкин послушно побежал, в конце крикнул:

— А тут туалет! Он сзади все закрывает! И в туалете окна нет!

Маховец посмотрел в зеркала заднего обзора. Ничего особенного.

Но вверху кабины он увидел люк и приказал Козыреву:

— Открой.

— Он только приоткрывается. Не полностью.

— Открой совсем, сломай!

Козырев, встав на сиденье, открыл люк и начал толкать его. Люк, скрежеща, открывался все больше.

— Петр, слазь, посмотри, кто за нами едет, — велел Маховец Петру. — Ты пьян, что ли? — разглядел он его дымные глаза.

— Ни в коем случае.

Петр подпрыгнул, полез в люк. Высунулся. Сообщил:

— Ментовских машин нет!

— А какие есть?

— Обычные. Фура, микроавтобус, две легковушки. Нет, одна вперед пошла, на обгон. И вторая тоже.

Маховец сам увидел, как две стремительные иномарки обогнали автобус, не интересуясь им, и покатили дальше — мимо заправки. На заправке же стоял только грузовик технического вида — с фургоном-кузовом и маленькими окошками поверху. И заправлялась трудовая «шестерка».

— Ладно, сворачивай, — сказал он Артему.

Артем свернул. Хотел открыть дверцу, но Петр окрикнул:

— Стой! У них что, сервиса нет? Сами подойдут.

Однако сервис не обнаружился.

— Тогда я, — сказал Петр.

Артем протянул ему деньги.

— Свои есть.

— Ограбил — и свои? Интересно! — сказал Артем.

Некоторое время они глядели друг на друга с открытой враждебностью. Они были одного возраста, чем-то похожи, оба полжизни провели за рулем и любят дорогу и женщин, оба вольные и независимые люди. И Артем своим усмешливым взглядом давал понять: сойдись мы один на один, неизвестно, чья бы взяла. Петр ответной усмешкой принимал вызов.

— Ну, чего ты? — спросил Притулов.

— Иду.

Артем открыл дверь и тут же закрыл — Маховец приказал ему жестом.

Петр пошел к зданию заправки.

— Что-то здесь совсем уж пусто, — сказал Притулов. — Не нравится мне это. — Пусто... и тихо.

Петр согнулся к окошечку заправки. Но, видимо, там никого не было, и он пошел в здание. За ним закрылась дверь — и тут же взвыли сирены, откуда ни возьмись, несколько машин окружили автобус — сзади, с боков, спереди. А из технической машины выскочила дюжина людей с автоматами и рассыпались по кругу.

Голос через оглушающий громкоговоритель объявил:

— Никаких действий, соблюдаем спокойствие! Никто не собирается нападать во избежание жертв! Кто будет вести переговоры?

Притулов, Маховец и Личкин отступили вглубь автобуса, не слишком удаляясь от двери.

— Пусть дадут телефон, — сказал Маховец Артему. — Включенный!

Артем открыл окно и крикнул:

— Просят телефон!

— Не просят, а приказывают, — проворчал Притулов.

Человек с автоматом подбежал, сунул Артему телефон.

Негромко спросил:

— Жертвы есть?

— Никаких разговоров! — закричал Маховец. — Иначе стреляю!

Он взял телефон, сел в кресло, что было рядом (оказалось — с Лыткаревой) и сказал:

— Слушаю!

— Полковник Тищенко, — представились снаружи. — С кем говорю?

— Маховец Игорь Романович.

— Маха?

— Мы знакомы?

— Я тебя сто лет знаю, урод!

Тут голос пропал, зато стали слышны какие-то косвенные голоса вокруг телефона: видимо, полковника уговаривали не называть Маховца «уродом» и вообще не злить.

— Ну, и чего ты хочешь? — спросил Тищенко.

— Покажись сначала! Я слева, посередке!

Маховец, дотянувшись из-за Лыткаревой, приоткрыл занавеску.

Там стоял мужчина в гражданской одежде. Подтянутый, не старый. Значит, это не просто милиция, это, пожалуй, ФСБ. В милиции до полковников дослуживаются не скоро, к заветному трехзвездию добираясь уже с одышкой и обязательным пузцом, а эфэсбэшники растут гораздо быстрее. Говорит, что знает Маховца. А вот Маховец его не знает. Не обязан. Вас много, а я один.

Мужчина стоял довольно близко. Показывал, что не боится. Глядел грозно, телефон к уху прижимал решительно.

Маховец усмехнулся.

— Красавец! — сказал он.

— Не понял? Повторяю: какие у вас требования?

— Тебе не повезло, полковник. Никаких!

— Как это никаких? — удивился Сережа, знавший по фильмам, что так не бывает. — Надо денег у них попросить и это... Самолет... Ну, то есть, пусть мы доедем до какого-нибудь аэродрома и улетим.

Маховец отмахнулся. Он знал жизнь не по фильмам, а по жизни: среди множества рассказов о побегах с захватом заложников Маховец не слышал ни одного с хорошим концом. Правда, заложников ведь не собирались брать, так уж получилось. Главное было — скрыться, пока не разнюхает

милиция. Не удалось. И теперь, скорее всего, не удастся. Уйти им не дадут, заложников не пожалеют. Иначе начальство их всех вздрючит. Впрочем, и за гибель заложников вздрючит. Поэтому положение у них отчаянное, они на все готовы и оптимальная цель: беглецов все-таки схватить, но чтобы заложников при этом погибло как можно меньше.

— Раз никаких, тогда кончаем шутки и выходим по одному. И всем будет хорошо! — сказал гражданский полковник — наверное, от всего сердца желая, чтобы получилось так.

— Будет хорошо только вам, — возразил Маховец. — Ладно, ты спрашиваешь, чего мы хотим? Бензинчику залейте нам. И отдайте нашего товарища!

— Зачем вам бензинчик, куда ехать собрались?

— А просто — покатаемся перед обратной посадкой!

Полковник отошел к товарищам — советоваться.

Через минуту вернулся. Спросил:

— А если не дадим бензинчику?

— Стрелять начнем.

— Из чего, интересно?

— Начальник, ты бы прямо спросил, сколько у нас стволов. Отвечаю: два. Один у вашего мента взяли, второй нам тут гражданин подарил. Женя, пальни для наглядности.

Притулов выстрелил в крышу. И тут же раздался испуганный ответный выстрел.

Отдаленно слышалось как полковник ругался с подчиненными.

И опять возник:

— В автобусе нет жертв?

Вопрос Маховцу был понятен. Полковник должен действовать, но не знает, как. Если узнает, что уже есть жертвы, приступит к выполнению какого-нибудь плана «Ч», кото-

рый у них наверняка есть. Кстати, о жертвах могли спросить и у Петра. Скорее всего и спрашивали, значит — сказал, что нет. Молодец.

— Пока все живые! — успокоил он.

— Дай трубку кому-нибудь. Женщине.

Полковник не хотел, чтобы вместо пассажира ответил другой захватчик — он ведь не знает их по голосам.

Маховец передал трубку Лыткаревой. Старухи надежнее, старухи прожили долгую советскую жизнь, они уже не надеются на лучшее, а молят своего бога, если он у них есть, только об одном: лишь бы не было хуже. И она должна сообразить, что именно сказать полковнику. Иначе начнется что-нибудь такое, отчего никому не поздоровится.

Лыткарева сообразила.

— Все живые, — подтвердила она. — Только вы нас все равно освобождайте скорее!

— Освободим! — подбодрил полковник. — А милиционер — живой?

— Живой, живой! — заверила Лыткарева очень убедительно, потому что тут ей врать не пришлось.

— Ну, хорошо, дайте трубку этому.

И полковник продолжил переговоры с Маховцом.

Пообещал, что автобус заправят бензином.

Порекомендовал прокатиться, если уж так хочется, до Шашни, а там бросить валять дурака, иначе придется принять строгие меры.

На том и договорились. Маховец напомнил про Петра.

— А он не хочет возвращаться! — веселым голосом сказал полковник.

— Как это не хочет?

— А вот так. Ему с нами лучше!

— Пусть сам скажет!

Привели Петра, он взял трубку.

— В самом деле не хочешь назад? — спросил Маховец.

— Не очень. Рано или поздно они начнут стрелять.

— И мы начнем стрелять, Петр. Но дело не в этом. Тебе хочется обратно в тюрьму?

— Нет.

— Тогда иди к нам. В автобусе у тебя будет шанс, я обещаю. Я кое-что придумал.

— Что?

— Не могу по телефону!

— А это реально?

— Перестань такие вопросы задавать, они же слушают!

— Понял. Вообще-то мне к ним неохота, — с тоской сказал Петр. — И я бы выпил сейчас еще.

— Дадим, — пообещал слышавший это полковник.

— Нет, — мотнул головой Петр. — С ментами пить совесть не позволяет, — сказал он не как сам по себе, а как некий придуманный герой, с которого он в данный момент брал пример, хотя и не помнил, в каком кино он этого героя видел или в какой книжке про него читал.

Полковник, естественно, не мог отдать Петра безвозмездно. Его не поймут. И он выдвинул встречное условие:

— Хорошо, берите своего, а двух выпустите! Желательно женщин! Или если болен кто.

— У нас все здоровые! — заверил Маховец.

— Человек ранен! — сказала Нина, показывая на Ваню.

— Да ладно тебе, царапина! — отнекался Ваня. Он не мог уйти. Ему было стыдно за свои выкрики, он собирался все переделать. Ему даже хотелось, чтобы автобус поскорее отпустили, чтобы они поехали дальше и Маховец с Притуловым закончили свой обход. Тогда-то и наступит его, Вани, очередь.

— Нельзя выпускать, — тихо сказал Притулов Маховцу. — Они скажут, что труп тут у нас.

— Не выпустим — Петр обидится и все равно скажет.

— А чего ему обижаться? Сам сюда не хотел.

— Сперва не хотел, а теперь захотел. Людей не знаешь?

Они хотят того, чего хотят последнего.

— Верно, — кивнул Притулов Маховцу солидно — как умный человек соглашается с умным человеком. — А что у тебя за план?

Плана у Маховца не было, но ему не хотелось выглядеть болтуном, и он его тут же, с ходу, выдумал:

— Приезжаем в город. Там светофоры, машины. Встаем с тобой у двери. Потому что остальным, я вижу, свобода не очень нужна.

— Точно.

— Встаем у двери, — продолжал Маховец. — Заставим шофера ехать быстро. С поворотами. И где-нибудь выпрыгнем. Все-таки город, дома, закоулки всякие, лес за городом, а у нас оружие. Шанс есть.

— Облава будет.

— Пусть. Но шанс все-таки есть.

— Есть, — согласился Притулов. — А Петру что скажем?

— Скажем, что будем торговаться. Да неважно, он плохо соображает вообще, пьяный. А про труп — пусть узнают. Может, и не так плохо. Пусть думают, что у нас тут все серьезно и если что, мы еще кого-нибудь грохнем.

— Легко.

— Ну? — обратился Маховец к пассажирам. — Кого отпустим?

— А давайте всех! — сказал Сережа Личкин, который опять выпил и опять изрядно захмелел. — И поедем одни! В Сочи!

— Ага. Пять метров отъедем, и они всех нас постреляют.

— Да? А мы тогда сдадимся!

— Хочешь сдаться?

— Нет. Но что делать-то?

— Спать! — сказал Маховец.

— Спать я не хочу, — улыбнулся Сережа. — Я уже поспал. Я лучше еще выпью.

— Ну? — напомнил Маховец. — Кого?

— Нас с дочерью выпустите! — потребовала Любовь Яковлевна. — Она как раз и женщина, и больная, ей операцию делали, она кровью истекает! — сообщила она и бандитам, и пассажирам, чтобы не вздумали ее осуждать. Если бы она за себя просила, а то ведь за дочь!

Но Арина все испортила.

— Ничего я не истекаю, — сказала она. — Хочешь — иди одна.

— Вот, посмотрите на нее! — возмутилась Любовь Яковлевна. — Тебе что ли тут лучше?

— Да уж лучше, чем с тобой! — Арина наслаждалась возможностью говорить матери правду.

— Надо девушку эту отпустить, — сказал Мельчук, не уточняя.

Все поняли, какую девушку.

Но и Вика, как ни странно, отказалась, покачав головой.

— Иди, — повернулся к ней Тихон.

— Сам иди.

— Она добавки хочет! — захохотал Личкин.

— Что же это такое? — удивился Маховец. — Всем тут нравится? Мне это приятно, честное слово! И вам? И вам?

Он задал эти вопросы Наталье и Нине.

— Пошел вон! — презрительно ответила Наталья. Ее клонило ко сну, она откинула сиденье и уже впадала в пьяную дрему.

— Иди, Наташа, — попросил Курков. — Ты сама не понимаешь, что делаешь.

— Все я понимаю, отстань!

А Нина Маховцу не ответила. Она очень боялась того, что может случиться, но не хотела оставлять Ваню. То, что меж ними началось, может продолжаться только здесь, а там будет уже не так или вообще не будет.

— У меня мать болеет! — сказал Димон. — Отпустите меня. Она там умереть без меня может. Имейте совесть!

— Ну, иди, — разрешил Маховец. — Подойди к двери и жди. Кто еще?

— Иди, дура! — сказала Любовь Яковлевна дочери. — Христом Богом тебя прошу, иди!

— А почему женщины обязательно? — подал голос Тепчилин. — У нас равенство. И ты же говорил, — напомнил он Притулову, — что бабы вообще не люди.

— Я не так говорил, а если и говорил, то это я говорил, а ты помолчи! Давайте лучше господина Федорова отпустим!

— Федоров не заложник, — напомнил Маховец.

— Неважно. Зато как они ему рады будут!

Маховец понял ход мыслей Притулова. Федоров — личность известная. Случай попадет в газеты, он и без Федорова попал бы, а с Федоровым будет международная огласка. И ментам вряд ли нужно, чтобы он погибал в перестрелке, и они действительно будут ему рады.

В трубке завозился голос, как зажатый в кулаке кузнецик. Маховец поднес трубку к уху.

— В чем дело? — спросил полковник.

— Никто идти не хочет.

— Ты мне голову не морочь!

— Я серьезно, можешь сам спросить. Хочет только один мужчина, а еще мы Федорова предлагаем.

Полковник ответил почти без паузы:

— Ладно.

— Я согласия не давал, — сказал Федоров.

Полковник попросил Маховца дать трубку Федорову, тот повторил:

— Я останусь здесь.

— С народом? — догадался о его настроениях полковник.

— Да, с народом.

— Дело ваше. Быстро ответьте, без интонации, у вас все живые?

— Нет.

— Сколько? Черт, догадаются. Я буду сам говорить.

Один?

— Да.

— Женщина?

— Да.

— Сволочи!

— О чем это вы? — подозрительно спросил Притулов. И быстрым движением выхватил трубку из руки Федорова.

— Слушайте, Андрей Алексеевич, — торопился голос полковника. — Если вы нам поможете, обещаю всяческое содействие. Лично буду хлопотать — вплоть до президента. Попробуйте поговорить с ними. Вы изнутри ситуации, у вас может получиться. Объясните: если сдадутся, то сядут обратно в тюрьму, если нет — убьем. Всех, даже если захватим живыми, убьем. Поняли меня?

— Понял, — ответил Притулов и подошел к окну, где была отодвинута занавеска, показывая себя полковнику.

— Черт! — сказал тот.

— Не ругайтесь при исполнении! — укорил Притулов. — Все равно убьете, говорите? Ну-ну. Посмотрим.

А Маховец чего-то не понимал — он ожидал, что сейчас начнется свара и драка из-за того, кто выйдет. Странно — ни свары, ни драки, никто не хочет выходить. Неужели до сих пор еще не верят, что им будет худо? Впрочем, не так уж удивительно — Маховец знал, с каким трудом человек верит в

плохое. Уже у него нож в сердце торчит, а он все не верит, что умирает. Чаще всего именно это видел Маховец в угасающих глазах: изумление. Если бы глаза могли говорить, они бы крикнули: «Не верим!»

— Так, — сказал он. — Раз сами не можете решить, я решу. Пошел на место, — велел он Димону. — А ты слушайся мать, девушка. Иди быстро! И вы, мамаша!

Он схватил Арину за руку сильно, но без лишней грубости — так рассерженный отец мог бы схватить дочь. Она испугалась и выскочила в проход. Любовь Яковлевна тоже сноровисто, хоть и грузно, выбиралась из кресла.

Они подошли к двери.

— Мы держим женщин на прицеле, — сказал Маховец в телефон. — Подведите Петра.

Петра подвели.

Дверь открылась.

— Простите нас! — повернулась Любовь Яковлевна.

Они сошли, в автобус вбежал Петр, дверь закрылась.

Выйдя, Арина вдруг заплакала в голос и пошла к зданию бензоколонки, пошатываясь. К ней подбежали, взяли под руки, а она отмахивалась.

Любовь Яковлевна села на лавочку, взялась за сердце. Какой-то чин в форме подошел к ней, начал спрашивать. Она глядела и не понимала.

Послышался стук о корпус автобуса: заправляли.

Меж тем Артем едва справлялся с бурей сумбурных мыслей. Сначала он хотел выпрыгнуть и посмотрел на Козырева с этой мыслью, еле заметно кивнув в сторону двери: прыгнем оба? Козырев понял и покачал головой.

В самом деле, нельзя. Тут же начнется перестрелка, многих положат. А то и вообще все здесь взорвет, стрелять на бензоколонке — дело гиблое.

Артем начал прикидывать. Ну, хорошо, сейчас зальются бензином, двинутся. Милиция будет сопровождать и вести переговоры. Скорее всего, толку не выйдет — захватчики понимают, что им гроб по-любому. Они просто оттянутся напоследок, помотают всем нервы, а потом все равно начнется стрельба.

Размышляя, он вопросительно посмотрел на Козырева. И тот опять его понял. И шепнул, вернее, просто выговорил без звука: «В кювет».

Точно. Артем и сам повидал уже немало аварий, и Козырев ему рассказывал. Автобусы съезжают в кюветы в гололед и грязь, даже переворачиваются, но смертельные случаи при этом бывают не так уж часто, особенно если не на высокой скорости. Сделать надо так: съехать на ухабистую обочину, выкручивая руль. Когда автобус начнет трясти, бандиты не очень постреляют — при тряске это все равно что чай пить. А потом положить автобус на бок. Но об этом должны знать, к этому должны подготовиться.

И Артем, пока шли разговоры, вырвал листок из блокнота, что был засунут возле кресла, положил его на сиденье между ног, догадавшийся Козырев незаметно вынул ручку из кармана, передал. Артем, скашивая глаза сверху, вытянутой рукой нацарапал: «У Шашни переверну автобус, будте готовы». Подумал, правильно ли написал «будте», удивляясь, что в такой момент его это заботит, и все-таки пририсовал мягкий знак. Они поймут. Почему у Шашни, а не в чистом поле? Потому что там и силы дополнительные незаметно могут спрятаться, и машины «скорой помощи» подъедут — они наверняка понадобятся.

Написав, он свернул листок и некоторое время держал его в руке. Окно открывать нельзя — подозрительно. Тогда Артем закурил и, докурив, быстро приоткрыл дверь и выбросил бумажку вместе с окурком.

— Э, э, ты чего? — крикнул Притулов.

— Окурочек выбросил.

— Взорвать нас хочешь?

Черт, подумал Артем, будь на месте Притулова кто-то поумней, мог бы догадаться. Действительно, какой водитель бросит окурочек на бензоколонке?

Он видел, как один человек из окружения неспешно подошел к полковнику, будто что-то спросить, а потом двинулся обратно, достал платок — вытереть лоб, — уронил...

И, наверное, поднял вместе с ним бумажку.

Все в порядке.

— Ну что, продолжим прогулку? — бодро сказал Маховец.

Автобус тяжело, но плавно вывернул с заправки на трассу и поехал, сопровождаемый сзади и спереди машинами, которым теперь уже, естественно, не было смысла скрываться.

Из передней машины Артему помахали рукой.

Он понял: с его планом согласились.

## Авдотьянка — Шашня

Осталось четверо, не сознавшихся еще в своих преступлениях — милиционер, Нина, Ваня и Вика.

Вика ждала, нож был готов.

Но Притулов обратился к милиционеру:

— Скучаем?

Коротеев, державший руки по-прежнему за спиной, прикидывал, что он может сделать. И понимал — пока ничего.

Да и поведение захватчиков сбивало с толку. Пересуд какой-то устроили. Ну, докажут, что каждый в чем-то виноват — удивили! Это и без опроса понятно. Но есть вина, ошибка, а есть преступление, есть сознательное нарушение закона, а есть — вынужденное нарушение, объяснимое обстоятельствами. Пример? Ну, хотя бы: брали они убийцу несовершеннолетней девочки, дожидались его всю ночь до утра, сидя у подъезда дома, куда он должен был прийти. Дождались, напали, схватили, тот ударил Коротеева в глаз и чуть не вышиб, за что Коротеев ответно вышиб из него душу вместе с жизнью. Виноват? В какой-то степени. Но кто осудит за смерть насильника? Выговор Коротееву, ко-

нечно, объявили, но этим дело кончились: все всё поняли. А некоторые открыто похвалили. Или другой случай: взяли подвал, в котором некий предприниматель, используя рабский труд приезжих таджиков, разливал в немытые бутылки воду из водопроводного крана, наклеивая этикетки известных фирм. Обыскивая закоулки и норы, сгоняя всех в центр подвала, к единственной лампе, наткнулись с напарником на тайник, где лежали пачки денег. Переглянулись — и взяли по пачке себе. Из такой кучи и не заметно было, могли бы взять больше, но имели совесть. Преступление? Скорее — случай. Ведь не по убеждению же, ведь не ворами залезли они в подвал в надежде на эти деньги. А у напарника, между прочим, на шее мать больная и сестра без мужа, с детьми, у Коротеева тоже двое малышей. Не взяли бы они деньги — не все причем, а малую толику, — пропали бы те в безднах государственной кассы — и, пожалуй, вернулись бы к другим жуликам, вот что обидно.

А Маховец и Притулов на милиционера особого зла не держали. Хоть они и не считали себя зэками, но зэческим духом прониклись, поэтому не считали ментов людьми — в хорошем смысле слова. То есть, относились к ним, как к функции. Вот везет тебя в неволю тюремный «воронок», будешь ты на него злиться? Нет — доля у него такая. И у служилой милицейской скотинки такая доля. Не любят следователей, оперуполномоченных — особенно в СИЗО, — так называемых «кумовьев», которые душу вынимают из человека, не любят слишком ревностных, не любят садистов, а к остальным относятся нормально. Маховец, когда отсидел первый срок и вернулся в родной район, однажды набрел с компанией на пьяного участкового, валявшегося в скверике, какой-то малолетка подскочил, чтобы пнуть его ногой под ребра, Маховец осадил, дал пацану по затылку, велел поднять мента и под руки отвести домой. Подручные ува-

жительно выполнили: чуяли за этим какой-то солидный обычай. Маховец им объяснил потом: участковый — черно-рабочий милиции, трогать его без причины — запахло. Не будь милиции, втолковывал он им разумение, полученное на зоне, жизнь превратилась бы в сплошной беспредел (правда, он сам в этом ничего плохого не видел). Пацаны кивали, переглядываясь, усваивая новую мудрость.

Именно поэтому Маховец и Притулов, не сговариваясь, собирались обойтись с ментом формально. И вопрос Притулова был формальным, необязательным. Коротеев необязательно и ответил:

— Развеселишься тут.

— Давай, быстро докладывай, сколько душ загубил? — скомандовал Маховец.

— Пошел ты.

— Грубость при исполнении служебных обязанностей, — зафиксировал Притулов. — Уже виноват. Да нет, мы тебя и спрашивать не будем — нет мента, который не запачкался бы.

— Точно, — сказал Маховец. И объявил преждевременно: — Ну, граждане? Как в арифметике — что и требовалось доказать! Все мы сволочи! Есть возражения?

Он ждал и видел, что возражения будут — от Вани. Он догадался, что Ваня ждет. Он и сам ждал этого момента. Когда Ваня выкрикивал свои слова, Маховец услышал в них что-то большее, чем истерику, и даже большее, чем ненависть. Мальчик этот, догадался Маховец, ненавидит не столько его, Маховца, сколько то, чем Маховец живет и в чем уверен. То есть он покушался на смысл жизни Маховца, и Маховец не собирался оставить это безнаказанным.

Он даже не предполагал, чем была занята Ванина голова, пока тот дождался его приближения. А узнав, загордился бы.

Впрочем, мысли Вани были не сегодняшние. Он в самом деле ненавидел не Маховца, а глубже. Из людей — только одного, но горячо и лично.

Он ненавидел, странно сказать, — Сталина.

## Авдотьянка — Шашня

Никто из его прадедов и дедов не был репрессирован, отец тоже не очень пострадал от советского режима, все были людьми конкретных полезных дел, позволявших избегать тесного соприкосновения с системой: врачи, инженеры, техники. Конечно, система доставала, если хотела, всех и везде, но с родичами Вани как-то обошлось. И духа диссидентского в них не наблюдалось. Были, конечно, интеллигентски ворчливы, но в целом лояльны. Может, потому, что конца этому не предполагали — и не они одни.

На рубеже девяностых все возбудились, вспомнили о сталинских делах — вороша коммунистическое прошлое, но Ваня тогда еще был мал. А потом опять все утряслось, забылось.

Ваня вырос, стал студентом-историком — тогда-то и началось, причем не с исторических трудов, а с книги «Архипелаг ГУЛАГ», которую, кстати, педагоги не советовали рассматривать как достоверный источник. Для общего развития — можно почитать. Как и Шаламова.

Ваня принялся читать и Солженицына, и Шаламова, и других, удивляя сокурсников, которых эта тема если и ин-

тересовала, то по ходу сдачи зачета или экзамена, после чего благополучно уходила в пассивную память. Да и общественный интерес к этим вопросам затухал — не без помощи государственных структур. Вернее, интерес оставался, но минус явственно менялся на плюс: в Интернете, например, на один сайт разоблачительный приходилось не менее пяти апологетических и даже восторженных (со стихами и песнями в честь вождя) и столько же объективистских, что, как подозревал Ваня, еще хуже, типа: учитывая и невзирая, но имея в виду и отдавая должное. Да и опросы общественного мнения, которые проводились как бы ненароком, показывали, что население в своем большинстве Сталина не только оправдывает, но вполне одобряет.

Ваня не мог этого понять.

У Шаламова его поразили ужас безысходности, калечащего однообразия («руки скрючивались по кайлу, по тачке») и превращения человека в производственное животное. А у Солженицына он наткнулся на горькие недоумения, исполненные высокой наивности, которые всей душой разделил: как же так, ведь карающих и преследующих были хоть и тысячи и даже десятки тысяч, а остальных-то — миллионы! И ведь многие знали, понимали, чувствовали! Почему не вставали стеной, не отбивали, не бунтовали? Казалось бы, как просто: пришли ночью за человеком, а весь подъезд просыпается, сходится и спрашивает без преступного умысла, с простодушным советским любопытством: «А что это вы тут делаете?» Почему это было невозможно?

Действительно, почему? — думал Ваня. Как это вообще бывает, что разумное большинство заражается безумием от меньшинства и потакает ему? Или не настолько оно разумно? Или оно не большинство, а большинство как раз носит в себе некий тоталитарный вирус, который в любой момент может превратиться в пандемию?

И чем больше он узнавал о тех временах, тем сильнее мучила его загадка Сталина: кто он был — властолюбивый злодей и деспот, ненавидевший свободу, как считают либералы, предатель идеалов коммунизма, заменивший его авторитарностью, как полагают левые, великий руководитель и выразитель чаяний времени с неизбежными ошибками, в чем уверены государственники, разрушитель русской духовности, как мнится некоторым национал-патриотам, или просто больной человек, о чем делают выводы иные любители ретроспективной психопатологии?

Он представлял себя в том времени, которого не испробовал, думал о том, как он повел бы себя. И часто вел долгие мысленные беседы со Сталиным, причем представлял себе это в виде какой-то ненаписанной пьесы, и было у этой пьесы несколько вариантов<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Примечание.* Кого интересует только действие, может эти страницы легко пропустить, хоть автор считает, что они имеют непосредственное отношение к действию. — А.С.

# Ваня против Сталина

## *Вариант первый*

Ваня видит себя охранником. Они в сталинских обиталищах стояли на каждом углу. По свидетельствам, Сталин говорил, что, проходя мимо них, гадал: вот этот может выстрелить в спину, а этот встретит пулей в лицо. Никому не верил, всех боялся.

Ваня — последний охранник, стоящий у двери его кабинета. У Вани ключ от двери.

Сталин входит, остается один.

Все удаляются.

Государственная многозначительная тишина.

И тут Ваня открывает дверь, быстро проскальзывает, запирает дверь и подходит к Сталину, задумчиво сидящему за столом, то есть, возможно, и не задумчиво, но, когда человек за письменным столом, всегда кажется, что он размышляет.

— Иосиф Виссарионович, я должен с вами поговорить!

— Я вызову охрану и тебя расстреляют, — отвечает на это Сталин.

— Не успеете. Я убью вас. Поэтому не вызывайте охрану, а лучше послушайте.

— Ну, слушаю, — с усмешкой говорит Сталин.

И Ваня горячо и долго рассказывает ему о том, как хватают безвинных, хватают за мелочь, хватают по произволу, по навету, из-за личной мести, тащат в тюрьму, не дают адвокатов, пытаются! Наши советские люди пытаются наших советских людей!

— Не может быть! — ахает Сталин. — Ах они звери, звери! Ах негодяи!

И Ване кажется, что на усы Сталина капает скупая мужская слеза. А может, у него просто глаз заслезился от дыма знаменитой трубки?

— И как пытаются? — спрашивает Сталин с соболезнованием.

Ваня описывает подробности пыток — и как раздевают женщин, как, наоборот, следовательницы-женщины раздеваются при допрашиваемых мужчинах, деморализуя их, как морят в карцерах холодом, жарой, голодом, жаждой, как мужчинам следователи наступают начищенными до блеска сапогами на половые органы и, глядя в глаза, придавливая все крепче, задают вопросы, как командарму Блюхеру вырвали глаз, поднесли на ладони и сказали, что, если не признается, со вторым глазом будет то же самое.

Сталин вынимает трубку изо рта и интересуется:

— И что он?

— Что?

— Признался?

— Не знаю.

— А я знаю.

— Вы были там?

— Это не обязательно, — уклончиво отвечает Сталин. — Товарищ Блюхер не только признался. Он сказал: «Как я могу лишиться второго глаза? Чем я увижу тогда дорогого и любимого товарища Сталина?» Так он сказал. Почему он так сказал?

— Потому что... — хочет ответить Ваня, но умолкает.

Сталин делает вескую паузу. Смотрит на Ваню. Ваня краснеет: все-таки перед ним пожилой человек, перебивать неудобно.

— Извините, — мямлит он.

— Извиняю. Так вот, почему он так сказал? Потому что его пытали? Потому что ему было больно? Нет. Он так сказал потому, что действительно боялся лишиться возможности увидеть дорогого и любимого товарища Сталина! И я это ценю!

— Зачем же вы его уничтожили, если цените?

— Предатель, — кратко отвечает Сталин, разжигая потухшую трубку.

— Какой же он предатель, если даже перед смертью так говорил, — хотя сомневаюсь. Но я знаю — действительно многие, кого вели на расстрел, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!»

— Лицемеры, — отзывается вождь.

— Нет, они искренне думали, что вы не виноваты, а виноваты ваши прислужники, что вы ничего не знаете!

— Все я знаю. Минутку. Ты считаешь, что я виноват? Как ты можешь считать, что я виноват, если даже они так не считают?

— Это ослепление! Это культ личности называется!

— Что? — удивляется Сталин.

— А то вы не знаете! Ваши портреты на всех улицах висят, в каждом помещении вместо икон, если каждый поэт про вас — поэму, каждый композитор — песню! И вы там — и отец, и брат, и сын, и чуть ли не всем мать! Просто какой-то, извините, Христос получается!

— А что, я хуже Христа? — лукаво улыбается Сталин — Христос, между прочим, сказал: «Идите и возвестите обо мне». Тоже любил, чтобы о нем поговорили. Это я шучу. А

кроме шуток — мне самому не нравится. Я им сколько раз говорил: не надо, не пишите. Не слушают!

— Не говорить надо, а просто запретить!

— Не могу, дорогой мой! — разводит руками Сталин. — Как я могу что-то запретить? У нас демократия!

— Вы серьезно? — Ваня старается выдержать тон, хотя чувствует, что голова его горит, он уже совсем запутался.

— Конечно. Причем, социалистическая демократия! Ты, я смотрю, нахватался где-то чего-то, а фундаментальных знаний у тебя нет. Как тебя зовут, кстати?

— Ваня.

Сталин встает, подходит к Ване, кладет руку ему на плечо и начинает прохаживаться по кабинету, ведя рядом молодого человека. Ваня пытается подладиться, у него это плохо получается, он то спешит, то отстает, а Сталин ходит размеренно и втолковывает:

— Чем отличается социалистическая демократия от капиталистической? Она отличается тем, что там говорят человеку: делай, что хочешь. То есть — и хорошее, и плохое. Угнетай людей, развратничай — на здоровье. У нас не так. У нас так: делай, что хочешь, но только хорошее. А за плохое, не обижайся, будем наказывать. Скажи мне теперь, чья демократия лучше?

— Вы передергиваете! Там свобода ограничена законом! А у нас никакого закона, сплошной произвол!

— Постой. Закон, который позволяет эксплуатировать человека человеком, — хороший закон?

— А у нас государство эксплуатирует человека! Какая разница?

— Ты действительно не понимаешь разницы? Эксплуататор эксплуатирует на пользу себе, а государство — на пользу людям, то есть, получается, на пользу самому эксплуатируемому человеку, хотя я предпочел бы его называть

трудящимся. А еще разница в том, что работник на хозяина трудится кое-как, а наш человек на государство — с энтузиазмом и подъемом.

— В какой вы кинохронике это увидели? — упирается Ваня. — Какой подъем, какой энтузиазм? Индустриализация, коллективизация — это же все рабский труд за копейки! Сплошная принудилровка, насильственные меры!

— А ты хочешь построить светлое будущее не работая? Да, приходится иногда командовать. Потому что человек, юноша, по природе слаб и ленив. Он иногда не понимает собственной пользы, собственного счастья. Успех строится на трех китах, говоря образно. Первый кит: народ должен видеть постоянные изменения и поражаться им. А каким образом эти изменения происходят, пусть даже на уровне чуда, — это не суть важно. Наглядность рождает веру. Второй кит: народ должен всегда чувствовать над собой государство, но при этом не понимать, как оно работает. Чтобы испытывать священный трепет. Будто стоишь у огромного механизма в цельнометаллической, знаешь ли, оболочке, слышишь, как что-то внутри тикает, жужжит и стучит, но не знаешь, что. Вот тогда народ будет уважать творцов и техников этого механизма. И это третий кит, сынок: авторитет. Высокий моральный авторитет руководителей и лично товарища Сталина, то есть меня, которого никто не смеет упрекнуть в нескромности, корыстолюбии и других нехороших вещах. Я — чернорабочий революции и мирового прогресса!

Сталин останавливается, идет к столу, берет бумагу и записывает только что произнесенные слова, которые ему понравились.

Ваня смотрит на него. Такой мирный, такой простой старик. Может, он в чем-то и прав. Действительно, история знает немало примеров косности людей, их неумения самоорганизоваться, их консерватизма и тупости...

Он пытается вспомнить, с каким основным вопросом пришел, трет лоб — наконец, вспоминает:

— Так, значит, вы все знаете? И про репрессии, и что люди живут в страхе, все давится цензурой, окриком, угрозой тюрьмы и ссылки, все говорят одно, а думают другое, ГПУ-НКВД стало больше государства, в стране господствует тоталитарный режим, знаете про это?

Ваня спрашивает решительно, преодолевая смущение. Да еще досада его берет, что выражается он как-то слишком казенно и газетно.

Сталин, дописав, поднимает на Ваню усталые глаза. И говорит:

— Я, конечно, давно мог бы тебя расстрелять...

— Винтовка у меня, — напоминает Ваня.

— Я мог бы давно тебя расстрелять, — с нажимом повторяет Сталин. — Но я объясню. Во-первых, классовой борьбы без репрессий не бывает, а мы окружены враждебным лагерем и, следовательно, чем сильнее наше государство, тем сильнее злоба врагов, как внешних, так и внутренних, тем больше обостряется классовая борьба. Во-вторых, люди живут не в страхе, а в уважении к закону. Они боятся совершить плохое — разве это неправильно? В-третьих, цензура, угроза тюрьмы и ссылки абсолютно необходимы в условиях, когда враги народа ищут любую щелку, чтобы расшатать здание строящегося социализма. Представь: строитель строит дом. Он специалист, он знает, как это делать. Но вдруг прибегает какой-то человек и начинает кричать: не так кладешь кирпич, не так мажешь раствор! Что с ним делать? Он мешает работать. Если заставить его помолчать — цензура, я согласен с такой цензурой. А если он начинает подбрасывать в раствор камешки и щепки, его надо в тюрьму.

— А вдруг строитель сам не знает...

— Помолчи! В-четвертых, карающие органы — не больше государства. Да, они в какой-то мере выведены из-под контроля, но только для того, чтобы на них не влияли. Они должны быть честными, свободными и непредвзятыми — как и суды, как и прокуратура.

— Но...

— Помолчи, слушай! — Сталин впервые чуть повысил голос, но тут же опять стал ровен и уверен. — В-пятых — да, я знаю, что есть в людях лицемерие, действительно, думают одно, а говорят другое. Но — привыкнут. Люди всегда так — сначала произносят слова, потом привыкают к ним, а потом начинают думать так, как говорят. Нормальный психологический процесс. Если будешь с утра до вечера твердить, что все дерьмо, так оно и покажется дерьмом. А если будешь убеждать себя, что вокруг цветущий сад, то...

— Однажды утром проснешься в цветущем саду?

— Я не настолько глуп, как тебе хочется. Нет. Возникнет желание насадить цветущий сад. В-шестых, — пунктуально продолжает Сталин (и Ваня поражается его памяти), — то, что ты называешь тоталитарным режимом, есть власть народа, власть пролетариата, крестьянства и советской интеллигенции, поручивших нам и лично мне вести народ по светлому пути, невзирая на вой шакалов империализма.

— Когда это и кто это вам поручил? — ухватывается Ваня за эти слова. — В стране давным-давно нет свободных выборов! И это — демократия?

— А что, есть кого-то еще выбрать? Назови этого человека, хочу узнать его имя! Действительно, давно пора сдать дела, а не знаю, кому.

— Никому вы их не сдадите! Нет, недаром вы сравнили себя с Христом!

— Это ты сравнил, — кротко улыбается Сталин.

— На самом деле вы считаете себя богом! Богом-отцом, то есть даже выше Христа! Вот почему вы сначала боролись с церковью, — догадывается Ваня, — а потом ее разрешили! Сначала вы опасались конкуренции Бога, а потом, когда увидели, что народ на вас молится и другой религии, кроме культа Сталина, нет и быть не может, вы разрешили Бога. Он для вас перестал быть конкурентом. И с виду это действительно так, многие действительно вами просто очарованы. Но не обольщайтесь, это доступно шарлатанам с некоторыми способностями! Кашпировский всю страну заставил головами крутить — что, и его великим человеком считать? Тоже богом?

— Какой Кашпировский?

— Вы его не знаете. Неважно.

— При чем тут бог? — пожимает плечами Сталин. — Я — Сталин, мне этого хватает. Я просто подумал: если кто-то верит, пусть верит. Если кто-то хочет ходить в церковь, пусть ходит. К тому же, они, церковники, стали понимать правильно многие важные вопросы. Они поняли главное: все, что делается, в том числе и кое-что жестокое, — все это делается для народа, для страны, для державы! И если ты, мальчик, этого не понимаешь, тебя надо перевоспитать! Пришел он тут мне глаза открыть! — встает Сталин во весь рост — и кажется при этом намного выше, чем есть на самом деле. — Кровь, пытки, репрессии, насилие, коллективизация, какой ужас! Знаю! И то, что многие палку перегибают, знаю! Что карательные органы сами иногда себя ведут преступно — тоже знаю! Но разница в том, что они борются за государство с теми, кто *против* государства, и за это я им все прощаю! Империя Российская пропала — кто ее спас? Большевики! И я в том числе! Отбились от всех врагов, удержали, стали возрождать, а тут — троцкисты, сволочи, те же большевички старые заскулили, не понимая

момента, — началась чистка! Дайте каменщику строить! Не даете — десять в зубы, пять по рогам! А с кем строили страну? С народом, который ничего нового не любит, который по крепостному праву плакал, когда его освободили, с народом, которого Петр Великий гнул об колено и сек, заставлял стать людьми — эх, Петька, Петька, не успел, не дорубил!

— Чего не дорубил? — спрашивает Ваня, чувствуя, как предательски подрагивает что-то в скуле, какой-то желвачок, какой-то нервик. — Окно в Европу не дорубил?

— Окна в Европу нам вообще не надо было. Становой хребет русской косности не дорубил! Думаешь, я не знаю, что, если гайки ослабить, все разбегутся по своим хлевам, к своим курам и пороссятам? Знаю! А не дам! Ради их детей и внуков — не дам! Ради их светлого будущего — не дам! Чем еще удивишь? Что миллионы людей загнал в концлагеря, что на войне опять же миллионы положил, лишнюю кровь пролил? Знаю! Не удивишь! Но почему? Потому что я людоед такой? Нет! Только потому, что нам за двадцать-тридцать лет надо два-три века пройти! Это война! И кто-то должен взять на себя ответственность! А никто не хочет! Все хотя добрыми быть! А я — беру! За кровь, за грехи, даже за преступления во имя великой цели — все беру на себя! И если кто нашей советской державности будет мешать — мочить в сортирах! Безоговорочно! Однозначно! Сопляк, пришел тут вопросы задавать, учить меня! Маршалы и генералы вот тут пытались мне советы давать! Теоретики! Иностранные представители! Писатели вякали! А почему им не вякать — у них никакой ответственности! Им — советовать, а мне — решать! И брать на себя все! Весь ужас, всю эту ночь перед рассветом! Рассвет будет ваш, пользуйтесь, можете даже не благодарить, а ночь — моя. Нужен мне культ личности, прямо я тебе шейх персидский! Да я бы его в один день свернул, тут ты прав. Но он стране нужен, государству нужен, по-

Тому что любящий меня работает лучше, он оптимистичен и весел! Поэтому все, что государству хорошо, то и хорошо, что ему плохо — то и плохо! Хорошо было бы государству, если бы я сына сменял на фашистского генерала? — В глазах Сталина влажно блеснуло что-то и голос чуть дрогнул. — Нет, было бы плохо. Авторитету вождя было бы плохо. И я отдал родного сына на гибель! Надежда, жена, хотела, чтобы я ей внимания уделял больше, чем стране, обижалась, оскорбляла меня — никто не слышал, потому что в спальне, а как я ее обидел — все видели, потому что я живу открыто! Застрелилась! Жаль? Да! Но — баба! Я, как глава государства, как вождь народов, кого я должен выбрать, страну или бабу? Отвечай!

Ваня молчит.

— Христос! — с горечью говорит Сталин, немного успокаиваясь. — Христос на муки шел, но знал, что воскреснет! Не на смерть шел, на подвиг! Да и то взмолился: «Элои! Элои! ламма Савахфани?» — Сталин воздел руки, передразнивая. — А я — не жалуясь, не молю никого! Я знаю, что впереди только смерть и только муки! Да еще и наплюют на могилу, а то и вытащат из нее, надругаются! Это пострашнее!

— Вы тоже будете жить! — выкрикивает вдруг Ваня. — В сердцах людей! За ваши великие дела и великие муки, за... Простите меня! Расстреляйте меня!

И Ваня протягивает Отцу винтовку.

— Я рук не мараю. — Сталин нажимает кнопку звонка. Являются два майора.

— Расстреляйте его, — приказывает Сталин. — А потом — друг друга за то, что позволили ему сюда проникнуть. Ваню ведут каменными извилистыми коридорами.

Он помнит, как расстреливали в таких случаях. Неожиданно, в затылок.

И говорит конвоирам:

— Я лицом встану.

— Чудак, охота тебе в глаза смерти смотреть?

— Так надо!

Они слушаются, ставят его спиной к стене, отходят, скидывают свои командирские пистолеты.

— Да здравствует товарищ Сталин! — вскрикивает Ваня.

— Это уж само собой, — отвечают майоры, целясь — один в левый глаз, другой в правый. Они любят так упражняться, а кто не попадет — выставляет бутылку. Если же оба не промахнутся, ставят каждый по бутылке, чтобы никому не обидно. А когда оба промажут (то есть попадут, но не в глаза), опять же ставят друг другу по бутылке, ради справедливости.

Грянули выстрелы, в глазах Вани сверкнула боль и настала темень, затылок ударило о стену, но он каким-то сверхъестественным образом успел увидеть, как офицеры, повернувшись друг к другу, сказали:

— Три, четыре! — и два выстрела слились в один, и они стройно и четко упали, ногами друг к другу, подошва к подошве, даже в смерти своей соблюдая привычку к порядку и дисциплине.

# Ваня против Сталина

## *Вариант второй*

Шло время, Ваня читал, думал, у него появлялись новые аргументы.

И вот ему видится: он опять входит к Сталину. Он хорошо подготовился, в руках у него папки с документами.

Впрочем, еще больше папок у обвинителя и адвоката, которые идут вслед за Ваней. А за ними — вереница свидетелей.

— Встать, суд идет! — говорит Ваня.

— Ничего, пусть посидят, — машет рукой Сталин.

— Я вам говорю!

— Мне? Почему?

— Потому что судить мы будем вас!

— За что?

— Вас, и ваш режим, и ваших последователей — чтобы дать однозначную оценку...

— Однозначных оценок в истории не бывает, дорогой.

— Бывает! Гитлер — негодяй, однозначно? Фашизм — плохо, однозначно? Сегодня вам не удастся заморочить мне мозги!

— Ты еще скажи, что и коммунизм плохо.

— Плохо — потому что несбыточно! Повторяю, не отвлекайте меня!

— Как говорил Михозэлс, мудрый человек: «Не сбивайте меня, я сам собьюсь!» — усмехнулся Сталин.

Процесс начинается.

Обвинитель говорит, что так называемая Сталинская конституция была ширмой, никто ею не руководствовался, возникло тотальное двоедушие и презрение к законам, продолжающееся по сей день.

Защитник возражает, что это была самая демократичная конституция в мире, гарантировавшая свободу слова, собраний, печати, шествий, демонстраций, неприкосновенность жилища, тайну переписки.

Обвинитель высказывает предположение, что защитник сошел с ума, если считает, будто это действительно гарантировалось: в том-то и дело, что государство, как банк-банкрот, готово было выдать любые гарантии, зная, что обеспечения все равно нет и не будет, пообещать миллион или рубль при пустой кассе — одинаково, и это практикуется по сей день.

Защитник спокойно отвечает, что это неправда; характерно при этом, что обвинитель замалчивает гениальные достижения, закрепленные в конституции, как то — уничтожение классов.

Обвинитель гневно протестует: это на самом деле была замена классов единой массой государственных рабов — пролетариат получил трудовые книжки и прописку, крестьянство прикрепили к земле и лишили паспортов, интеллигенцию лишили права свободного выбора работы и места жительства, всех сделали данниками государства, постоянно чувствующими себя виноватыми перед ним и обязанным ему, что продолжается и по сей день.

Тут Ваня вмешивается и замечает, что защита перешла в нападение, а обвинитель защищается. Прошу конкретнее, говорит он обвинителю.

Обвинитель обвиняет в развязывании так называемой Финской войны.

Защитник объясняет это необходимостью укрепить границы.

Обвинитель обвиняет в плохой подготовке к Отечественной войне.

Защитник объясняет это малым временем для подготовки.

Обвинитель обвиняет в том, что миллионы советских солдат погибли и попали в плен в первые же дни войны.

Защитник объясняет, что, следуя доктрине войны на чужой территории, наши полководцы стремились не защищаться, а перехватить инициативу, они бросились вперед и чересчур увлеклись наступлением.

Обвинитель обвиняет, что миллионы наших военнопленных после победы попали из немецких в наши лагеря.

Защитник объясняет, что они были деморализованы и требовалось время для восстановления в них советского духа.

Обвинитель обвиняет, что из-за многочисленных ошибок, промахов, волонтаристских решений Сталина, война велась числом, а не умением, отчего советских солдат полегло намного больше, чем всех остальных.

Защитник объясняет, что, если бы не гениальные решения Сталина, фашисты вообще могли бы дойти до Урала и дальше.

Обвинитель обвиняет.

Защитник защищает.

Ваня прерывает эти прения и вызывает свидетелей.

Один за другим проходят люди, пострадавшие от репрессий, лжи, лицемерия, унижения из-за того, что не чувствовали свою жизнь своей.

Защитник говорит, что это все люди обиженные и, к тому же, эгоисты, ставящие личные интересы выше общественных. И просит вызвать своих свидетелей.

Ваня разрешает.

Свидетели защиты показывают боевые и трудовые ордена, грамоты, называют Сталина отцом родным и признаются, что, не будь его, все они имели бы один-единственный шанс — остаться темными недоумками, не понимающими цели в жизни.

Защитник подхватывает: у всех великих людей бывают ошибки — мы за это будем судить?

— Вот! — кричит Ваня. — Вот что главное! Не великий — и не ошибки! Я вообще бы запретил слово «великий», — добавляет он. — По отношению ко всему — к государству, спортсменам, ученым, художникам, писателям. Хватит уже! Замечательный — в лучшем случае.

— Надо направить ультиматум королеве Великобритании, пусть переименует страну, — комментирует Сталин.

В зале слышен тихий смех.

— Я вам слова не давал! — одергивает Ваня. — Ладно, великих людей еще можно оставить. Но страны — нет! Это несправедливо! Или уж тогда государство Науру, где десять тысяч человек, пусть тоже называет себя великой!

— Нам нужна великая Россия, — напоминает Сталин.

— А! И Столыпин вам пригодился! Не только его вагоны, хотя это не его вагоны. А я вам скажу: нам не нужна великая Россия!

Зал недоброжелательно ахает.

— Да! — выкрикивает Ваня. — И великая Америка не нужна! И великий Иран, Китай и все прочие великие — не

нужны! Нам нужна нормальная Россия, нормальные страны, нормальный мир!

Это получается эффектно. Ваня ждет аплодисментов.

Их нет.

Он продолжает:

— Но дело не в этом. Странная штука история, какую страну отдельно ни возьми: славные победы и свершения. А посмотреть в целом на историю мира: преступления, кровь и предательства. А если и проявляется что-то человеческое, то не благодаря, а вопреки войнам! Потому что человек в любом окопе умудряется соорудить себе временный дом! И не надо говорить, что цивилизация развивается из-за войн — то есть всякие технические усовершенствования и тому подобное. Неужели они для труда не развились бы?

Сталин зевает.

Да и в зале заскучали все, включая свидетелей с обеих сторон.

— К делу! — спешит Ваня. — К конкретному делу. Подсудимый в прошлый раз обхитрил меня. Будто бы он старался для государства. Вопрос — какой ценой? И для государства ли? Да, он построил империю! Громадную, хоть и гниющую во многих местах. Зачем? Да все просто! — смеется Ваня. — Этот человек всегда видел себя императором, а как им быть без империи? Вот он ее и строил! Как постамент себе! Чем выше постамент — тем выше памятник! Нам говорят: он великий государственный деятель, который был, увы, злодеем! Нет! В этом и подмена! Он великий злодей, который стал государственным деятелем! Ох уж эта объективность! Неоднозначная фигура! Да однозначно все! Гитлер — преступник? Преступник! И его повесили бы, если б жив остался! Вот я и требую — признать Сталина-Джугашвили Иосифа Виссарионовича преступником в первую очередь! Преступником, по-

винным в геноциде собственного народа — ведь неслыханное дело, господа присяжные! — обращается Ваня к неизвестно откуда взявшимся присяжным за барьерчиком. — А Пол Пот и другие красавцы, что пошли за ним, они только пример брали — и обязательно, заметьте, во имя коммунистического будущего! Во имя равенства! Лучший и самый дешевый уравниватель тот же Пол Пот придумал: мотыгу! А у нас уравнивали пулей, ссылкой, тюрьмой, пропиской, всеобщим тайным голосованием, которое ни для кого не было тайной!

— Вы кончили? — скучным голосом перебивает защитник.

— Молчать! Я тут судья!

— А, ну да. Просто вы общеизвестные и банальные вещи говорите, а люди обедать хотят.

— Успеют! Главное, в чем я обвиняю Сталина, самое страшное его преступление: он отменил мораль человеческую и ввел мораль партийную! То есть групповую, бандитскую, инквизиторскую, если хотите, где членам ордена можно все, а остальным — ничего!

— Опять меня в масонстве обвиняют, — кривится Сталин.

— Я обвиняю! — голос Вани зазвенел. — Я обвиняю в том, что Сталин развратил народ! Ты запутал всех — и все перестали понимать, что хорошо, а что плохо! Ты приучил всех врать, жульничать, скрывать, хитрить, обманывать, целая нация при тебе прошла естественный отбор и выжили те, кто лучше умел врать, лицемерить и жульничать! Ты разрешил своему ордену скотство, разрешил безнаказанно убивать — как разрешали Гитлер, Чингисхан, Тамерлан, Александр Македонский, Иван Грозный, Петр Первый, Наполеон и прочие развратители человечества, которым благодарное развращенное человечество ставит памятники на крови убиенных братьев по разуму! И пока не будет первым словом каждого

такого памятника слово «тиран» или «убийца», не поумнеет человечество! — Ваня уже не стесняется пафоса и громких слов, потому что — от сердца. — Ты лишил общество шанса стать обществом — и оно не скоро еще им станет, ты лишил людей потребности задавать вопросы, а за государством оставил право либо не отвечать, либо, в лучшем случае, констатировать факты! Вот я спрошу тебя, что стало с той баржей, где были заключенные, — с той баржей возле Курил, которую отнесло на юг, она получила пробоину, японские рыбаки хотели помочь ей, полторы тысячи заключенных там было, полторы тысячи душ в этой барже, что стало с ней?

— Она утонула, — пожал плечами Сталин.

— Прошу слова! — поднимается обвинитель. — Господин... Э...

— Елшин. Ваня. Иван.

— Господин Ваня, во-первых, перестаньте называть пожилого человека на ты, во-вторых, не затягивайте процесс, в-третьих, прекратите все валить на одного.

— Минутку! Но вы же за меня! Вы обвинитель!

— Я — за соблюдение процедуры и закона! — металлически отвечает обвинитель и садится.

Присяжные дружно хлопают.

— Хорошо. Итак: я формулирую вину обвиняемого. Мания величия, садизм, конспирологические наклонности...

— Это личные качества! — в один голос кричат обвинитель и защитник.

— Они привели к преступлениям! — возражает Ваня. — Он, как вирус беззакония, произвола, жестокости, презрения к интересам людей, вирус поощрения лицемерия, коррупции, разделения на чистых и нечистых, заразил все общество, и оно болеет до сих пор! Он — может быть это самое опасное — заразил людей неверием в себя, недо-

рием к себе, до сих пор многие согласны гнуться под любой сильной рукой, лишь бы им позволяли тихо урвать свой кусок! Дайте барина, не надо выборов! И дадут! И хорошо, если барин окажется добрый, — а если нет? Я требую особым постановлением суда запретить в официальных изданиях, энциклопедиях и справочниках упоминание Сталина как великого деятеля, совершавшего отдельные ошибки, я требую каждую словарную статью начинать так: «Преступник, оказавшийся главой государства!» Только так.

— Теперь все? — спрашивает обвинитель.

— Все.

— А требуемая мера наказания?

— Да не надо ничего. Лишь бы все поняли: каждый, кто защищает Сталина, защищает мерзавца, защищает бесчеловечность и, следовательно, — сам мерзавец!

— Попрошу не оскорблять присяжных! — раздается голос.

Ваня вглядывается и узнает писателя Храпонова. И других не менее известных персон.

После этого выступает обвинитель. Речь его на этот раз длится недолго.

— Да я все, в общем-то, уже изложил, — вяло говорит он и садится.

Слово берет защитник.

Он перечисляет славные деяния и подвиги Сталина, описывает его скромность и самоотверженность, перечисляет (это занимает часа три) людей, которые совершали гораздо большие злодеяния в тех или иных аналогичных случаях, и в завершение объявляет, что, несмотря на определенные недоработки, Сталин создал мощное государство, благодаря которому, возможно, до сих пор сохраняется мир во всем мире, ибо, если противостояние двух политических систем привело к холодной войне, вражда систем, политически сходных,

могла кончиться войной горячей — ядерной и последней в истории человечества.

Бурные аплодисменты зала и присяжных раздаются в ответ. Обвинитель тоже хлопает.

— Слово предоставляется подсудимому! — объявляет Ваня, напоминая, кто ведет процесс, кто здесь главный.

Но Сталин, оказывается, спит, положив руки на голову. Процесс ведется в дневное время, для него это непривычно.

Его нежно будит секретарь суда и нашептывает на ухо, пересказывая, что было.

— Я и сам знаю, — говорит вождь, не спеша закуривая.

Потом он выжидает паузу.

Всем становится не по себе, будто они виноваты перед этим человеком, будто у каждого есть в этом деле что-то личное, а у Сталина ничего личного нет, он в чистом виде — воля и разум.

— Мне тут разные преступления насчитали, — говорит Сталин. — А я скажу — мало. Мало насчитали. Засчитайте еще, что я Троцкого уничтожил, который бредил идиотской своей мировой революцией, не понимая, что в новых исторических условиях только одна страна могла стать крепостью социализма — Советский Союз. (Аплодисменты.)

Засчитайте, что я дал вам заповеди в конституции, которую под мою диктовку написал Бухарин. А что заповеди были одни, а люди вели себя по-другому, — это не конституция виновата, это люди виноваты. Христос тоже дал людям заповеди. Не убий, не укради и тому подобное. А они убивают и крадут. Кто виноват? Христос? Нет. Враги людей, подбивающие на убийства и воровство! (Аплодисменты.)

Засчитайте мне, что я отучал людей от собственности, этого проклятия человечества, которое сведет его в могилу, потому что ради собственности человечество готово на любые преступления. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Засчитайте, что я построил империю добра и любви, но при этом империю сильную, мощную. Мне тут про Финскую войну говорили, что не надо было. А интересы страны и социалистической демократии? Но финны хоть рядом. А американцы вон то во Вьетнам вошли, то в Ирак, то Белград бомбили, а вся Европа была в восторге, — я что, хуже американцев? Было две империи, одна считалась империей зла. Хорошо. Осталась одна. Империя добра. И насаждает она это добро самолетами и танками. Мне говорят: нельзя насильно внедрять демократию. А они внедряют — им можно? Про мораль мне говорят. Нет морали в глобальной политике, есть интересы! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.)

Масоном меня тут называли. А в других странах — не масоны? Все знают: каждой большой страной управляет примерно двести семей. А я все на себя взял. Виноват. Надо было тоже вырастить двести семей, чтобы на них страну оставить. Хотя, вроде бы, сейчас дело исправляется. Развалили, идиоты, страну, теперь опомнились, заново собирают, — презрительно говорит Сталин, проявляя удивительную осведомленность. — Пролить воду на землю легко, а как ее с земли обратно взять? (Смех в зале.) А еще в том я виноват, — глуховатый голос Сталина крепнет и наливается силой, — что не всех уничтожил троцкистов, идеалистов, пацифистов, предателей, врагов народа, террористов, децентралистов и этих пидарасов модернистов! Что оставил дурное семя, которое выросло и погубило в результате великую державу, погубило великий русский народ! Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои! Какось! Виноват! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Слышны выкрики: «Да здравствует товарищ Сталин! Народ и партия едины! Построим новое здание российской демократии на историческом фундаменте

национальной государственности! Да здравствует преобладание образности над логикой, интуиции над рассудком, общего над частным, понятия над законом!»)

Сталин поднимает руку, призывая к тишине.

— Ну? И какой будет приговор?

Присяжные, посоветовавшись, поручают высказаться самому уважаемому из себя — благородно седовласому и седоусому.

— Эх, милые вы мои! — поет он мягким голосом, как бы заранее сожалея о тупоумии окружающих, включая, быть может, и Сталина. — Никто не прав, только Бог. Но решать надо. Расстрелять. А потом взять на поруки. Посмертно.

— Кого? — уточняет секретарь суда.

— Его, конечно, — указывает присяжный на Ваню.

Вбегают люди в черных наголовниках с прорезями для глаз, кричат:

— Всем лежать! Лицом вниз!

Уложив всех (включая Сталина) во избежание помех мирному и спокойному аресту Вани, они берут его, надевают наручники и уводят.

— Кто у тебя родители? — спрашивает один измененным голосом (Ваня догадывается об этом, хотя не знает, какой голос у него настоящий).

— У отца небольшое хлебопекарное производство, мама в институте преподает.

— Ага. Тогда сто тысяч. Евро.

— За что?

— За то, что жив останешься.

— Но у вас же приказ!

— Ты жить хочешь?

— Хочу.

— Сто тысяч.

— Постойте! Но есть же закон! Я хочу, чтобы по закону!

— По закону — расстрел. А по понятиям — сто тысяч.  
Что выбираешь?

Ване очень стыдно. Он краснеет. Но он очень хочет жить — хотя бы для того, чтобы бороться во славу закона. И шепчет:

— По понятиям...

И опять Ваня думает, читает, и натывается на интересную особенность: при всем том, что Сталин — одна из самых изученных фигур, в его биографии много пробелов, туманностей и неясностей. При описании его личных качеств недоброжелатели склонны делать вывод чуть ли не о паранойе, апологеты же либо переводят эти качества в гражданские, либо предпочитают о них не распространяться.

И тут-то Ваня видит именно то, что его больше всего тревожит — больше, чем роль Сталина в истории, его явные ошибки, злодейства или сомнительные победы, — тут-то и видится ему главная тайна, поэтому в своих мыслях он является к нему в третий раз.

# Ваня против Сталина

## *Вариант третий*

На этот раз Ваня приходит с человеком в белом халате.

— Это еще кто? — недовольно спрашивает Сталин, который не доверяет врачам и не любит их — возможно, потому, что в их присутствии он становится не великим человеком, каковым себя ощущает ежесекундно, а — телом, организмом. Сталин вообще не понимает, как он может болеть, такой весь цельный, монолитный. Схожесть с другими людьми его оскорбляет.

— Вам нужно пройти освидетельствование, — твердо говорит Ваня.

— Погоди, — поднимает руку Сталин и, расхаживая в мягких сапожках, продолжает диктовать Поскребышеву: — О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет. Записал?

Поскребышев кивает.

— Далее.

— Далее писать?

— Что?

— Слово «далее» писать?

— Не обязательно. Далее. Полагаю, что мы стоим на

пути к еще большей свободе и демократии, с которого невозможно свернуть. Но все может измениться.

Ване это надоедает и он делает так, чтобы Поскребышев исчез.

Врач начинает задавать Сталину вопросы.

— А, ты психиатр! — догадывается Сталин. — Да я умней всех психиатров вместе взятых!

— Ум — не признак психического здоровья, — с достоинством отвечает психиатр. И продолжает свою работу. Просит Сталина ответить на вопросы теста, кладет перед ним листы с пятнами Роршаха, выспрашивает Сталина о детстве, о его снах, фобиях и, наконец, докладывает Ване: — Обследуемый психически нормален. Наблюдается завышенная самооценка и не вполне адекватное восприятие действительности, но у кого не завышенная, кто полностью адекватен?

Ваня удовлетворен этим результатом.

— Значит, ты ведал, что творил, — говорит он Сталину.

— Ты мне надоел, — морщится Сталин. — Опять обвинять будешь?

— Буду. Но не надейся — не в индустриализации или коллективизации. Ты никого не любил — вот мое обвинение. Вот твое самое страшное преступление — потому что, взяв на себя право вершить судьбы людей, ты не любил людей! Наполеон, Гитлер, Петр Первый — на что сволочи, а и то кого-то любили, своих женщин хотя бы. Собак. По-своему. А ты и женщин своих не любил, потому что не способен любить никого, кроме себя.

— Неплохая компания, — усмехается Сталин.

— Конечно! Заметь, кстати, — Иван Грозный убил своего сына, Петр Первый убил своего сына, ты дал погубить своего сына, да и второго довел до гибели своей нелюбовью. Вот что почувствовала твоя жена, вот чему она ужаснулась: человек, ненавидящий людей, стоит над людьми!

— То не люблю, то ненавижу, разберись сначала, — добродушно ворчит Сталин. — И это неправда. Я маму любил.

— Да? Двенадцать писем за двенадцать лет — каждое по три строки! А сколько раз ты видел ее в своей жизни?

— Видеть не обязательно, когда мама в сердце твоём! — возглашает Сталин, поднимая бокал с вином. — Поскребышев, запиши. Ты где?

— Его нет, ты его убил — в награду за много лет преданной службы! Никого ты не любил, а поэтому подозревал, что и тебя никто не любит! Поэтому и мытарил всех, издевался над каждой душой, что попадала тебе в руки, — а у тебя в руках были все!

— Я добрый был, — обиженно сопит Сталин. — Я маме этого... как его, не помню — переводы денег посылал. Сам. Лично.

— Ага. А потом показал их ему и сказал, что он перед тобой в долгу! Веселился! Рассказать тебе, как ты веселился? Довел Зиновьева до того, что он на коленях ползал, умолял дать позвонить тебе!

— Я этого не видел.

— Видел! Перед тобой целое представление устроили, показывали, как он ползал на коленях, а ты заставлял повторять и смеялся так, что тебе чуть плохо не стало! Ты хоть понимаешь, что нельзя ставить людей на колени?

— Почему? Если плохого человека, предателя — можно. И нужно.

— Никого нельзя ставить на колени! Никогда!

— Почему?

Врач, наблюдающий за Сталиным, говорит:

— Он вас не понимает.

— Да чего ж тут не понимать? А то, что убивать плохо, он понимает?

— Кого? — спрашивает Сталин.

— Да никого.

— Как это никого, когда надо? А война?

— Я не спрашиваю, надо или не надо! Да, бывает, надо — война, бандиты нападут, угроза жизни, приходится убивать. Но это все равно плохо!

— Он вас не понимает, — говорит врач.

— Пытать, издеваться, унижать — а это как? Хорошо? Я тебя спрашиваю, именно тебя — ты душу народа надорвал, оплевал, изнасиловал, испоганил! Хорошо это?

— Что?

— Унижать?

— Кого?

— Да при чем тут кого? Никого! Вообще унижать — хорошо или плохо?

— Он вас не понимает, — говорит врач.

Сталин тянется за виноградом, кладет в рот, чмокает, сосет сок, а косточки с кожурой сплевывает в блюдечко.

— Я тебя не понимаю, — подтверждает он слова врача. — Но вижу насквозь. Ты безродный космополит и аполитичный тип. Неужели ты не испытываешь гордости за свою великую страну?

— Опять мне про это! Не испытываю! И не хочу испытывать гордость за то, что принадлежу к великой нации, к болельщикам команды «Спартак», к какой-нибудь конфессии, к мужскому полу...

— А я испытываю. И народ испытывает! — Сталин тянется за второй виноградиной.

Не выдержав, Ваня бьет его по руке.

— Больно! — говорит Сталин. — И я виноград кушать хочу.

— Другим было больнее! А некоторые винограда всю жизнь не кушали ни разу! Ты дослушай! Я даже, представь себе, не хочу гордиться своей принадлежностью к роду че-

ловеческому, я горжусь только принадлежностью к тому свету, что есть в каждом человеке — кроме тебя. Я не знаю, как это назвать. Бог? Но он у всех разный. Душа? Не знаю. Свет, так и назову. Он для всех один. Единственное, ради чего стоит жить. То, что объединяет всех людей! И вот этот свет ты в людях и гасил — всегда, постоянно, потому что ненавидел его! И ты даже не понимал, над чем измываешься! Вот в чем твоя главная вина! — вдруг озаряет Ваню.

— Опять главная вина? У тебя что ни вина, то главная.

— Постой, постой! — Ваня торопится проверить свою догадку.

Усилием фантазии он наполняет пространство, окружающее Сталина, людьми, которых ставят на колени, расстреливают, пытаются: страшные крики, вопли и стоны раздаются со всех сторон. Ваня и врач наблюдают за реакцией Сталина. А тот спокоен, он лишь поглядывает на кисть винограда, потому что хочет взять виноградину, а ему не разрешили.

— Вот в чем дело! — кричит Ваня, удалив мучеников. — Ты просто не способен понять, что чувствует другой человек! В этом твоя главная вина! Ты не можешь это вообразить, не можешь это представить! И вот за это, за нечувствование чужой боли, за презрение к человеку, за бесовское высокомерие я тебя обвиняю!

— Он вас не понимает, — говорит врач.

— А что он понимает? Свою-то боль он понимает? Убрать все!

Исчезает стол с яствами и винами, исчезает кабинет, Сталин оказывается в эковской одежке. Проходит день.

— Кушать хочу, — жалуется Сталин.

— Понял теперь?

— Понял.

— Что?

— Что кушать хочу.

— А что других пытать голодом нельзя, понял?

— Если преступники, можно.

Проходит еще день.

— Курить хочу, — говорит Сталин.

Ваня игнорирует.

Проходит еще день.

— Кушать. Пить хочу. Сердце болит. Голова болит, — говорит Сталин.

Входит охранник, вносит селедку и хвойный настой.

— Это кушать, это пить. От головы и сердца тоже помогает, — говорит охранник.

— Теперь ты понял? — спрашивает Ваня.

— Расстреляйте его, — жалобно просит Сталин неведомо кого.

— Какой быстрый! Расстрелять! А тебя самого расстрелять? Или хотя бы по морде твоей проклятой, дьявольской, по морде тебя — дойдет, наконец, будет больно?

И Ваня, устав сдерживаться, подскакивает к Сталину, сшибает его с ног, лупит ногами старика и кричит:

— Больно? Больно? Больно?

Вдруг останавливается и растерянно спрашивает врача и охранника:

— Что вы стоите? Почему вы меня не удерживаете? Ведь бить нельзя!

— За дело можно, — говорит врач.

— Ни за что нельзя!

— Я вас не понимаю, — говорит врач.

И вроде все уже решено со Сталиным, только Ваня не успокаивается. Что-то продолжает его мучить. Ну хорошо, Сталин злодей, а другие-то кто, а Ваня — кто? И сами собой лезут в голову новые и новые варианты воображаемой пьесы.

# Сталин против Вани

## *Вариант неизвестно какой*

Ваня видит себя в огромном зале Дворца съездов. На трибуне Сталин, он произносит речь. В президиуме застыли в почтительном внимании его помощники и прислужники, одинаковые, как крысы в сумерках. В зале, внимая, боясь шелохнуться, сидят тысячи человек. Руки наготове — аплодировать.

Вот Сталин заканчивает фразу — и тут же бешеные рукоплескания. Все хлопают, хлопают, хлопают, это переходит в овацию. Зал встает.

И Ваня встает.

И вдруг замечает: люди в президиуме стали похожи на Сталина. Просто один в один, как близнецы. И те, кто в зале, тоже стали двойниками вождя, даже женщины, у которых мгновенно огрубели черты лица и выросли усы.

Тысяча с лишним Сталиных аплодирует, выкрикивает здравицы, а Ване становится жутко, и он садится.

Тут же, будто кто-то отрубил командой, все смолкает.

Жуткая тишина, только тихие передвижения людей, расступающихся, не желающих быть рядом с ним. Ваня один в этом круге среди опустевших кресел.

Людям вернулись их лица, эти лица опущены, ибо не знают, куда смотреть. На Сталина — страшно, на Ваню — опасно, друг на друга — сочтут заговорщиками.

И Ваня встает, и идет к трибуне.

Все расступаются.

— Можно? — спрашивает Ваня Сталина.

Тот пожимает плечами. Он не хочет скандала в присутствии иностранных делегаций.

Ваня встает, опирается руками, некоторое время молчит.

Потом говорит — негромко, будто в комнате, но при этом понимает, что его слышно на последних рядах:

— Ладно вам чумиться-то. Вы же нормальные люди. Вам же завтра стыдно будет. Ну, не всем, может. Но многим. А ему стыдно не будет никогда. Даже мертвому. Понимаете?

— Да здравствует Ваня, ум, честь и совесть нашей эпохи! — тут же выкрикивает кто-то.

Зал подхватывает.

Овации.

— Ну вас, — со скукой и обидой говорит Ваня. — С вами, как с нормальными, а вы...

Он сходит с трибуны, его окружают люди в форме и уводят.

Ваня оказывается опять в кремлевском кабинете, куда через несколько минут входит Сталин.

— Видел? — спрашивает он. — Им только дай знак — все перевернут с ног на голову. И опять начнут... как ты сказал? Чумиться? Хорошее слово. А ты мне нравишься. Давай я тебя на службу к себе возьму. Потом расстреляю, конечно, но несколько лет проживешь человеком. Важным человеком.

— Да иди ты, — невежливо отвечает Ваня. — Не хочу я больше с тобой говорить. Ничего тебе не докажешь. Я только одню скажу напоследок. Знаешь, почему ты самый страшный человек в истории?

— Неужели самый страшный? — удивляется Сталин, в голосе его слышна невольная горделивость.

— По-моему, самый. Конечно, тебя люди породили, это так. Но ты им отплатил по полной. Вся суть твоей жизни — доказывать человеку, что он подлец. Никто так не постарался, никто до тебя в этом деле не дотягивает. Ты — просто поэма человеческой подлости. Никто так не радовался, когда видел человеческую слабость и способность к предательству. Если б я был верующим, я бы тебя назвал лучшим гимном дьяволу, который создало человечество. Правда, у тебя тоже был бог — единственное, во что ты верил, на что молился, что любил.

— Неужели? И как этого бога звать?

— А я уже сказал — подлость. Один раз тебя вынудили назвать подлецов братьями и сестрами — и ты им этого не простил. Ты наверстал потом, ты отыгрался — потому что тебя заставили пойти против твоего бога.

— Ну, допустим, — соглашается Сталин. — Примем, как версию. Но вопрос, Ваня, — а кто не подлец-то, в самом деле? Назови фамилию. Хоть одну. Кто не подлец, а?

— Да я хотя бы, — отвечает Ваня. — Не идеал, конечно, но не подлец.

Сталин всплескивает руками, словно радуясь такой новости, и, посмеиваясь, нажимает на кнопку.

— Сейчас мы это проверим, — говорит он.

Начинается — будто в кошмарном сне: врываются, хватают, бьют, пытаются.

— Подлец ты или нет? — то и дело подходит Сталин.

Но Ваня смеется ему в лицо.

Сталин топает ногами, кричит, требует ужесточить пытки — но не до смерти.

И опять подбегает в своих мягких сапожках:

— Ну? Подлец или нет?

А Ваня улыбается и думает, что прав был Христос, когда сказал: если ударят тебя по правой щеке, подставь другую. Он не смирение имел в виду, а усмешку. Конечно, усмешку высокую, как бы даже отстраненную, не ехидную, но на такую Ваня не способен. Поэтому он улыбается ехидно, презрительно — и это окончательно выводит Сталина из себя.

— Подлец ты или нет? — кричит он и, вопреки своему обыкновению не марать руки, сам хватает нож и всаживает Ване в сердце.

— Нет, — отвечает Ваня. — И другие не подлецы. А ты подлец. Вот и живи с этим. С этим и сдохни.

Сталин застывает. Потом оседает на пол, хватается за сердце. Падает, корчится в агонии. Никто не подходит к нему. И он умирает. Появляются наконец люди, кладут его в гроб, образуется процессия. Сотни тысяч людей (и Ваня среди них, еле живой) провожают вождя к мавзолею, многие плачут, Ване хочется их укорить, но он вдруг понимает, что плакать по злодею — еще не подлость, подлость — славить его...

Ваня еще до подхода Маховца с Притуловым достал из чехла гитару и начал потихоньку перебирать струны. Нина слушала, но потом заметила, что он смущается, и взялась за книгу.

Она потеряла место, где читала, но и не хотела искать, сразу раскрыла последние страницы.

Будто боюсь, что не успею дочитать, подумала Нина. Не успею до чего? До гибели, которая возможна? Но если дочитаю, зачем мне это, раз я погибну? Значит, или я не погибну, или, даже погибнув, как-то останусь где-то. Потому что человек не может совершать абсолютно бессмысленных поступков, а что бессмысленней, чем торопиться дочитать перед смертью?

— *Как ты не понимаешь?* — спросил Стив с горечью.

*Дафну охватили тяжелые предчувствия.*

— *Как ты не понимаешь?* — повторил он. — *Я всем сердцем, всей душой хотел прозреть, чтобы увидеть тебя. Я никого так не хотел увидеть, как тебя. Но я хотел увидеть тебя зрячей! Зачем ты это сделала?!*

— Прости, — прошептала Дафна. — Ты разочарован? Я оказалась не такой красивой, как ты предполагал?

— Ты намного красивее, чем я предполагал! Ты красивее всех на свете! Но меня мучает мысль, что ты принесла себя в жертву ради меня. Мне это отравляет жизнь! Я хотел, чтобы мы были на равных, эта мечта помогла мне вернуть зрение.

— Я тоже хотела быть на равных. Ты говоришь так, будто я выколола себе глаза.

— А разве нет? Мне объяснил врач, ты сделала это психологически!

Тут вошла Синтия.

— Привет, — сказала она небрежным голосом.

— Привет, — отозвался Стив.

В Дафне все сжалось. Если бы она была зрячей, она бы ничего не заподозрила. Синтия наверняка корректно улыбается, Стив тоже отвечает вежливой улыбкой, это мешает услышать глубинный смысл, заключенный в интонациях их голосов! Зрение обманывает человека! Но сейчас Дафну обмануть было невозможно, она почувствовала, что в голосе Стива не просто приветливость, а в голосе Синтии не приятельская вежливость. Они нравятся друг другу! Они, может быть, любят друг друга.

Что ж, Дафна не будет мешать им. У нее будет свой мир. Только свой. Избавленный от обмана зрячести, горький, но правдивый.

Нет, это как-то слишком грустно, подумала Нина, и обратилась сразу к последней странице.

Вдруг что-то сверкнуло в мозгу Дафны. Ослепило — если можно ослепить слепую. И вдруг сначала контуром, а потом ясно увидела тельце дочери, падающее с качелей. Она вскрикнула, бросилась, подхватила.

(Дочку успела родить, удивилась Нина.)

*Стив бежал от дома.*

— *Господи, — выдохнул он. — Как я перепугался. У тебя великолепное чутье. Лучше, чем у зрячих.*

— *Да, — сказала она. — Я даже чувствую, что футболку ты опять надел наизнанку. Когда ты был слепым, ты не позволял себе этого.*

*Стив рассмеялся, но вдруг оборвал смех.*

— *Постой. Я только что надел ее, ты до меня не дотрагивалась, как же ты...*

— *Я вижу, — сказала Дафна.*

*Через час они сидели втроем в лодке. Дафна, опустив руки в воду, поднимала разноцветные кленовые листья и подносила к глазам, будто желая убедиться, что она действительно видит.*

*А Сара удивительно быстро привыкла к тому, что мама видит. Может, потому, что она и раньше не чувствовала этого недостатка. Но, видимо, ее детскую маленькую головку занимал какой-то вопрос. Она долго молчала, а потом, подняв огромные, голубые, как и у матери, глаза, спросила:*

— *Как это можно? Не видеть, не видеть — и вдруг раз-два, и увидеть?*

— *Я просто очень этого хотела, — ответила Дафна.*

Господи, какая чушь, подумала Нина, закрывая книгу. Какая глупая и приятная чушь.

Это было до того, как к ним подошли.

Сейчас Нина просто сидела, поглядывая на пальцы Вани, а Ваня продолжал наигрывать.

— *Играем? — спросил Маховец.*

— *Нет, мух ловим, — ответил Ваня.*

— *Ну, конечно, менты рядом, вот ты и расхрабрился, — сказал Маховец.*

Ваня начал негромко напевать, рассеянно, как это свойственно поющим, глядя сквозь пространство, то есть — и сквозь Маховца.

— Не нравится мне, как ты играешь, — сказал Маховец, поднимая автомат. — Иди и поучись.

Ваня продолжал напевать и глядеть сквозь Маховца.

— Ваня... — тихо попросила Нина.

— Парень, перестань! — крикнул Мельчук.

Ване было не просто страшно — он впервые в жизни понял, что означает слово «ужас». Но еще больше он был поражен самим собой — он не ждал такого от себя, он не думал, что так далеко может зайти. И хотел узнать, сможет ли зайти еще дальше.

А для Маховца момент был почти сладостный. Он знал, что все ждут его дальнейших слов, угроз, предупреждений вроде: «Считаю до трех». Но судьба не предупреждает и не считает до трех, она бьет сразу.

И Маховец нажал на спусковой крючок.

Вместо выстрела — пустой звук, что-то вхолостую щелкнуло.

И тут же снизу на Притулова бросился Коротеев, валя его с ног.

Он один знал, что будет: ему было известно, что в автомате нет патронов. Маховец не проверил — он даже не предполагал, что автомат боевого милиционера может оказаться не заряженным. А вот оказался. В кои-то веки польза от нашей нескладицы: когда объявили выезд по тревоге и все бросились в оружейную комнату, оказалось, что автоматы взять можно, а патроны в рожках-магазинах, всегда хранившиеся отдельно, заперты оружейщиком в сейфе. Оружейщик же ушел обедать. Ему звонили — он не взял с собой телефон. Искали второй ключ — не нашли. А начальство торопило. Когда стало ясно, что патроны можно получить

только через час, Коротеев плюнул и уехал, надеясь перехватить патроны у кого-нибудь из других групп — взаимы с отдачей. Не получилось, не успел.

Притулов упал. Маховец, быстро поняв, в чем дело, успел ударить прикладом Коротеева по затылку. Милиционер скатился на ступеньки и больше уже не поднимался. А Ваня бросился на Притулова сверху и не давал подняться. Желдаков выхватил у Притулова карабин. Мельчук, Курков и Тепчилин заторопились к свалке — помогать. Петр, Федоров и Личкин беспомощно смотрели — слишком все было неожиданно.

— Что там, что там? — спрашивал Артем Козырева.

— Завалили.

— Кого?

— Сейчас ясно станет.

— Может, посигналить?

— Пока не надо.

Подручными средствами, ремнями, оторванными от сумок, футболками — связали Притулова и Маховца.

Пошли к остальным.

— Не надо! — закричал Личкин. — Я сдаюсь!

— Дурак, — сказал ему Петр, вытягивая руки вперед.

Считая себя умным, он предпочел сам показать свою покорность, но пойметь выгоду: пусть свяжут руки спереди, как он подает, а то свяжут сзади, даже нос не почешешь. Но Тепчилин догадался, завел ему руки назад.

Связали и Личкина, и Федорова.

— Ну что, я останавливаю? — весело спросил Артем.

— Погоди, — запретил Желдаков.

— Чего годить-то?

— А того. Их возьмут сейчас и опять в тюрьму, и будут они там опять сидеть. Слишком жирно. Мы их сами тут будем судить сейчас. И расстреляем в порядке самообороны.

— Как бешеных собак! — выкрикнул Мельчук. — Как собак, как собак! — С этими словами он несколько раз ударил Притулова ногой в бок. Вика смотрела растерянно. Она все не так представляла. Она представляла, как пырнет ножом человека с оружием. За несколько минут она тысячу раз это успела увидеть. Но того, как будет резать упавшего человека без ружья, не видела, не приготовилась к этому. Нож, между тем, уже достала и держала в руке. Тихон увидел, сел рядом с ней, взял у нее нож.

— Да, — сказала она.

— Что?

— Не знаю.

— Так, — сказал Козырев. — Хватит дурака валять.

— А кто валяет? — жестко спросил Желдаков. — Ты в комфорте себе ехал, а напарник твой вообще дрых, над вами не издевались!

— Вот именно! — присоединился Тепчилин.

— Убейте их! — закричала Наталья. — До смерти, каждого, всех! Леня, дай выпить! Немедленно!

— Помолчи! — крикнул Курков.

Он был против насилия, но хотел посмотреть, что будет.

Лыткаревой было все равно. Думая о гибели сына в своей душе, она уже больше ни о чем не могла думать. Хоть бы все друг друга поубивали.

## Авдотьяинка — Шашня

— Ну, — сказал Желдаков. — Как вы это назвали? Пересуд? Очень хорошо. Ты! — крикнул он назад Притулову. — Давай, признавайся. Я сучий маньяк и прошу меня расстрелять! — подсказал он.

Притулов в этот момент приподнимал и укладывал голову то так, то эдак, ему было неудобно, — и вдруг подумал, насколько смешны его старания. Человек и страдать хочет с удобствами. Он так устроен. И это, в общем-то, правильно. Каждый ищет не счастья, а удобства. И Притулов искал удобства, и вовсе он не маньяк, а просто что ж делать, если женщины — страшное неудобство и хочется его хотя бы частично устранить?

А вот в детстве женщин словно не было, и мужчин не было. Все были просто люди. От них ничего не хотелось, кроме любви, потому что Притулов любил, чтобы его любили. И мама любила его до какого-то срока, он это помнит, а потом начала раздражаться, одергивать, кричать. Маленький он ничего от нее не утаивал — что хотел, о том и говорил. А потом, заметив, что ей неприятны его желания, решил держать все в себе, помалкивать.

Однажды к ним приехал передвижной зверинец. Женя захотел пойти, мать узнала, сколько стоит, разрешила, но он попросил ее пойти вместе с ним. Приятней же, когда ты радуешься, а твою радость кто-то видит. Мать согласилась, хотя была не в настроении — слонялась с утра по кухне, что-то собираясь приготовить, но все никак не могла приняться.

У входа, конечно, продавали мороженое — какой же зверинец без мороженого?

Было слегка прохладно и мать не хотела покупать ему мороженого, чтобы он не застудил горло.

Жене стало обидно: ему показалось, что она жалеет денег. Хотя вряд ли — деньги небольшие. Просто капризничает. Он стал канючить, хоть это ему самому было противно (да и недостойно двенадцатилетнего подростка), но Женя знал, что мать не любит, когда на нее и на сына обращают внимание посторонние. Она взяла мороженое и сунула ему:

— На! И попробуй только испачкаться!

Женя осмотрел страуса, двух лисиц, обезьяну, пони. Дошли до медведя, который вставал на задние лапы и попрошайничал. Женя видел издали, как ему бросали хлеб и конфеты. У него оставалось мороженое, он хотел его бросить. Просунулся к клеткам вольера, размахнулся, ткнул во что-то рукой и услышал сзади голос:

— Что ж ты делаешь, мальчик, осторожно!

Голос при этом был не очень даже рассерженный.

Женя обернулся и увидел, что, размахиваясь, влепил мороженом в пиджак высокого, полного мужчины с мелкими, почти детскими рыжеватыми кудрями на голове.

— Извините, я нечаянно, — сказал Женя.

— А тебя кто вообще просил бросать?! — Мать раздраженно пихнула его в плечо с такой силой, что он чуть не ударился лицом о прутья клетки. — Видишь, что написано: жи-

вотных не кормить! Человека испачкал! Прямо урод какой-то! — И она опять толкнула его в плечо. Женя посмотрел и увидел по ее глазам, что она сейчас просто ненавидит его, презирает, убить готова, жалеет, что он родился, он для нее сейчас враг. А чужой мужчина, к которому она бросилась с извинениями, достала платок, чтобы оттереть пятно, — намного родней и ближе.

Кудрявый мужчина стал приходить к матери. И она смотрела на него так же, как на Женю, когда он был маленьким. И Женя торопился уйти из дома, кричал из прихожей голосом ничего не понимающего, беззаботного человека (подыгрывал желанию матери):

— Я погулять!

— Надолго? — спрашивала она вместо того, чтобы сказать, как говорила раньше: «Только недолго!»

И он отвечал:

— Часа на три. К Сашке пойду.

— Ладно.

Притулов сейчас не думал и не вспоминал об этом, но ведь никуда не исчезло, находилось в той самой голове, которую он пристраивал поудобнее, — вместе с детством, незаметно живущим в ней, с матерью, с мороженым, с медведем, с кудрявым мужчиной...

— Делать вам нечего, — сказал Притулов. — Можешь стрелять без суда и следствия.

Он сказал это почти искренне. Жить, как он живет, ему надоело, а жить, как он хочет, все равно не дадут. Сколько можно тянуть эту ерунду?

Желдаков не собирался в него стрелять — он хотел бы выстрелить в Маховца, главного своего обидчика. Но зато выстрелом в Притулова можно до смерти напугать Маховца. Тоже убить — но потом. А убить страшно хотелось — разрешить себе наконец то, что разрешают другие, а он разве ху-

же других? Но ведь считает, что хуже — и смирился с этим, добровольно примкнул к худшим и научился при этом себя обманывать, считать, будто все нормально. А вот сейчас — лучший, потому что от него все зависит, все в его руках.

Он встал над Притуловым.

— Не надо, — сказала вдруг Вика.

— Жалею? — повернулся к ней Желдаков. — Что, понравилось тебе с ним? Понравилось? Тогда пойдем! А? Почему нет? С ним могла — почему со мной не можешь? Тебя все равно уже изнасиловали, какая разница?

Желдаков предложил это Вике в запальчивости, но вдруг понял, что действительно не прочь — ведь он, если не врать себе, завидовал Притулову, когда тот с нею залез в кабинку, завидовал, но и мысли не допускал, что так может, — а почему нет, почему нет-то? Все его сейчас боятся, он это видит, почему себе не позволить?

— Он совсем опсиховел, — сказал Артем Козыреву.

— Похоже на то. Нервы не выдержали. И пьяный. Они все там пьяные.

— Я переворачиваюсь, — предложил Артем. — А то сейчас будет гора трупов.

— Постой. Видишь, какой скат? Трупов еще больше будет.

Действительно, посмотрел Артем, довольно высоко, да еще внизу кочки или кротовые холмики, их полно в этих местах. Автобус может сразу перевернуться — и будет кувиркаться дальше, целым никто не останется.

## Авдотьянка — Шашня

А Желдаков потянулся к Вике. Она должна была отодвинуться к окну. Желдаков остался бы доволен, что напугал, и закончил бы дело с Притуловым. Но Вика не отодвинулась. И Желдаков схватил ее за руку и дернул на себя.

Вика выхватила нож и попыталась сунуть его в живот Желдакову. Но Желдаков очень ловко отскочил — будто в кино. Ему это понравилось. И, вскинув ружье, он сказал решительно и насмешливо, как говорят в кино храбрые герои, разгадавшие хитрость врага:

— Сидеть, девушка!

Вика бросилась на ружье, отбивая в сторону ствол, и все совала ножом вперед, стараясь достать Желдакова. И достала, кольнула его. На футболке проступила кровь. Желдаков глянул на Вику и выстрелил, чувствуя себя в полном праве.

Вику отбросило, она сползла с сиденья.

И опять Лыткарева заплакала, кто-то выругался, кто-то что-то крикнул. А Тихон после секунды замешательства бросился на Желдакова. Тот сильно ударил его стволом в живот, Тихон согнулся. Желдаков начал отступать, держа карабин наготове.

— Ты как хочешь, я в кювет, — сказал Артем Козыреву. Тот не знал, что ответить.

Зазвонил телефон, который был в кармане Маховца.

Желдаков нагнулся, не спуская глаз с Тихона и остальных, вытащил телефон.

— Что у вас там происходит? — спросил голос.

— Все нормально, — успокоил Желдаков. — Случайный выстрел.

— Это кто?

— Я.

— Кто?

— Террорист. Захватчик.

— А где тот, кто со мной говорил?

— В туалете.

— Нет, а ты кто?

— Я тот, который маньяк.

— Притулов?

— Ага. Конец связи.

Желдакову удалось сказать это бодро, почти весело, хотя бодрости и веселья у него было намного меньше, чем хотелось. С чего бы? Девушка сама виновата, выстрелено и убито правильно. Надо объяснить этим дуракам, если не понимают, — и все будет в порядке.

Но слов для объяснений не находилось, Желдаков молчал и неопределенно улыбался.

И они молчали и смотрели на него. До этого все было страшно, но более или менее понятно. А теперь и страшно, и непонятно. Этот человек, на которого никто не обращал особого внимания, стал вдруг хозяином положения, потому что у него в руках карабин и он уже стрелял — и еще может выстрелить.

Что делать, никто не знал.

Петр опомнился первым.

— Останавливайся! — крикнул он Артему. — Он тут всех перестреляет!

— И перестреляю! — подтвердил Желдаков.

Он быстро подошел к водительской кабине и сказал:

— Только попробуй — сразу башку продырявлю!

Это прозвучало хорошо — решительно и грубо. И укрепило Желдакова.

Он понимал, что совершил то, после чего его жизнь не может остаться прежней. Убьют при захвате, посадят в тюрьму. Но пока еще есть время — и это его время. И он желает в первую очередь увидеть унижение тех, кто унижал его.

— Не надо истерики! — громко сказал он. — Она меня резать хотела! А мне надо с ними разобраться! Потому что без меня никто не разберется! Вы трусы все! Над вами издевались, а вы молчали! — Желдаков слегка преувеличил, но это никому не показалось преувеличением.

— Чего ты хочешь, объясни? — спросил Мельчук.

— Как чего? Чего и вы хотите! Чтобы они признались, что сволочи.

— Мы и так знаем! — подал голос Ваня.

— А они, может, не знают?

— А ты-то сам знаешь, что сволочь? — спросил его Ваня.

— Знаю, — не купился Желдаков на провокацию. — Я для них сволочь, а для вас нормальный. А если я ее, то она сама виновата.

— Дебил! — сказала Наталья.

Но Желдаков был сейчас непробиваем — у него имелась цель.

## Авдотьянка — Шашня

— Ну? — спросил Желдаков Федорова, который сидел поблизости. — Сволочь ты или не сволочь?

— Сволочь, — ответил Федоров и отвернулся.

И меня еще осудили за ограбление народа, думал он. Вот тебе народ — у кого в руках стреляльная игрушка, тот и прав. Свергнувшие насильников, тут же сами становятся насильниками. Дурак я, мало грабил. И уныло. Грабить надо жизнерадостно. И тут же бежать в Кремль: ребята, я тут награбил, но совесть имею, желаю передать вам энное количество денег на благо ограбленного народа. Хоть через кассу, хоть из рук в руки. Пользуйтесь!

И все было бы хорошо.

Ах, жаль, жаль, жаль. Не выйти ему никогда, не убедить их, что он нужен, не упросить. Может, все-таки попробовать? Сесть и составить бизнес-план, который ясно им покажет, сколько они с этого будут иметь блага?

Не поможет. Другие, поумневшие раньше него или благодаря ему (воспринявшие суд над ним как послание и намек), давно уже трудятся на благо семейно-государственных структур.

А душевная теплота? — напомнил Федорову сам же Федоров — тот, которым он был час-другой назад.

Пошел ты в задницу, ответил ему теперешний Федоров. Жизнь коротка. Почему я должен сидеть со своим душевным теплом в кутузке, а другие мчатся на белых яхтах под алыми парусами по синим волнам, и обнимают их со всех сторон полубнаженные загорелые красотки? Почему они там, а я здесь?

## Авдотьянка — Шашня

— А ты? — спросил Желдаков Сережу Личкина.

— Чего? — поднял тот хмельную голову.

— Ты сволочь?

— Конечно!

И на дне пьяного сознания Сережи отозвалось, что это правда.

Ни дня и ни минуты он не сомневался, что справедливо убил предателей, которые были на свадьбе его невесты. За дело убил. Жаль, ее не убил.

Но где-то гнездилась в нем странная для него мысль: а вдруг все-таки несправедливо? Вдруг они все-таки имели право на жизнь?

Нет, но как? Ведь виноваты же!

Виноватый не обязательно должен умереть, как и не обязательно невиноватому гарантирована жизнь — туманная мысль, неуклюже шевелясь, поворачивалась все более причудливыми боками.

И если бы Сережа мог об этом подумать, он додумался бы до того, что представил бы себя на месте людей, которых убил. И на месте гада Вовки. И даже на месте Татьяны. Он

попробовал бы проникнуться их правдой.

Нет, вряд ли. Не проникся бы. Потому что не умел, не научился Сережа этого представлять. Если его, первогодка, в армии чистил по зубам дембель за то, что он, по мнению дембеля, медленно мыл пол, это было несправедливо и плохо. Когда же он сам, дембель, чистил по зубам первогодка за медленное мытье, это было правильно и хорошо. Потому что в первом случае он получал, а во втором сам выдавал, в первом случае болели скулы и зубы, а во втором — лишь кулак, да и то не сильно, если умеючи бить.

И, когда Сережа кивал, он на самом деле не про убийство думал. Он понимал, что пьян, что над ним человек с ружьем, человек о чем-то спрашивает. Если Сережа не согласится, может быть плохо. А если согласится, все будет хорошо.

Вот он и кивнул, и все стало хорошо, и никто его не тронул.

## Авдотьянка — Шашня

— А ты? — спросил Желдаков Петра.

— А я не сволочь! — крикнул Петр. Он был готов так крикнуть, вот и крикнул.

— Это почему?

— Потому что ты... — Петр назвал Желдакова так, как душе хотелось.

Желдаков остался спокоен.

— Ну, ладно. А ты-то кто?

— Конь в пальто!

— Юморишь?

— Да отстань ты, пролетарий!

Желдакова это задело. Его так никогда не называли. Он помнил по школьным учебникам, что пролетарии сделали революцию. Но информация последнего времени доводила до сведения каждого желающего, что революцию делать было не надо. Значит, пролетариат ошибся. А еще пролетарий — это подчиненный человек, над которым есть хозяин. Следовательно, Петр его оскорбил.

Желдаков поднял ствол.

— Тоже смерти хочешь?

— Отвали!

Желдакову не хотелось стрелять, но он понимал, что обязан выстрелить. Иначе будет плохо — ему в первую очередь.

Но он все медлил.

## Авдотьянка — Шашня

Маховец все это время (не такое уж и долгое) потратил на то, чтобы развязаться. Лежал на спине и понемногу выдирал руки из пут, стараясь не привлекать внимания.

И, когда наконец освободился, Желдаков выстрелил.

Не в Петра — в крышу над его головой.

Тут же зазвонил телефон, Желдаков взял трубку.

— Опять у вас пальба? В чем дело? — закричал голос.

— Да опять случайно. Все живы, командир, — ответил Желдаков.

— Неправда! Он стреляет! — закричала Наталья.

Ее услышали.

— Так, — скомандовал голос. — Остановливайтесь. Или начинаем тоже стрелять!

— Стреляйте, — сказал Желдаков. — Все только и ждут. Стреляйте!

И он бросил телефон на пол, и наступил на него ногой.

А потом направился к Наталье.

Курков взялся за подлокотники, чтобы действовать, хотя не знал еще, как.

Но Желдакову вдруг захотелось поговорить.

## Авдотьянка — Шашня

— Вот я смотрел, — сказал он Куркову. — Я смотрел, как над твоей женой издевались, а ты терпел. Только по роже получал. Это как называется?

Курков молчал.

— Если бы я ехал с женой, — продолжил Желдаков, — я бы разорвал любого.

Он верил, что так и сделал бы, хотя и знал, что никогда бы так не поступил.

— Ты последнее чмо, — обличал Желдаков.

— Что правда, то правда, — неожиданно согласилась Наталья.

Приближалась Шашня.

Милицейская машина, ехавшая перед автобусом, ушла влево, начала отставать, поравнялась с окном водительской кабины.

Высунулся милиционер, крикнул Артему:

— Не опрокидывайся, у нас другой план!

Артем кивнул.

А Курков вдруг схватился за ружье.

Он схватился за стол и упер его себе в грудь.

— Ну, стреляй, дурак, — сказал он.

— Хватит! — крикнул Ваня. — Ничего уже не изменится, если кто-то еще умрет! Хватит!

Желдаков посмотрел на него.

Похоже, мальчик прав. Больше никого убивать не надо. Кроме Маховца. Его надо убить, Желдаков не простит себе, если не убьет.

— Ладно, — сказал Желдаков. — Не трону никого, сидите. Сейчас только вот с этим поговорю.

И пошел к Маховцу, который так и лежал на спине, хотя руки у него были свободны.

Маховец ждал. Он понимал, что Желдаков сразу не выстрелит. Что-то сначала скажет. И этот момент надо использовать.

— Ну? — спросил Желдаков. — Как тебе тут?

— Чего?

Маховец сделал вид, что не расслышал.

В таких случаях или повышают голос, или подходят ближе.

Желдаков сделал шаг вперед, не опасаясь. Если Маховец попытается встать, он успеет выстрелить.

Маховец резко ударил Желдакова ногой под коленную чашечку.

Тот вскрикнул и согнулся, Маховец ударил еще раз — Желдаков упал, взмахнув ружьем.

И тут же Наталья с удивительной проворностью перескочила через Куркова, который не успел ее задержать, выхватила из рук упавшего Желдакова ружье, вспрыгнула на пустое сиденье и встала там, слегка согнувшись под багажной полкой.

— Надоело! — закричала она. — Всем сидеть на месте и слушать! Всем слушать меня!

Маховцу слушать было некогда: он навалился на Желдакова и душил его.

Желдаков хрипел, дергая руками и ногами, но ничего не мог поделать — он терял уже последний воздух.

— Прекратите! — закричала Наталья. — Прекрати, урод!

— Да прекратил уже, — сказал Маховец, утомленно садясь на пол и отпихивая от себя задущенного Желдакова.

— Всем меня слушать! — повторила Наталья.

Ей многое хотелось сказать.

Ей хотелось сказать что она чувствует себя случайной и чужой в этой жизни — так же, как в этом автобусе. И так было всегда. Родители не понимали ее занятий, ее увлечения книгами и художественной самодеятельностью: неизвестно в кого пошла. Наташа сама не понимала, в кого пошла, лет с тринадцати замкнулась, почти не общалась с отцом и матерью — не о чем говорить, они уже тогда не знали и половины того, что знала она. Не в житейском смысле, конечно, не в бытовом — тут они как раз считали себя умными, да и были таковыми, а дочка казалась им дурочкой, ни к чему не приспособленной, и ее решение учиться на актрису лишь подтвердило их мнение.

На театральном факультете сарайской консерватории она была агрессивно умной, что, конечно, не нравилось ни сокурсникам, ни педагогам. И так оно пошло, и продолжается всю жизнь: на равных Наташа общается лишь с книгами, да и то не со всеми, а в жизни у нее нет подруг, друзей. Мужа, в общем, тоже нет, а так — человек, который меньше других раздражает. Она пыталась это перешагнуть, заводи-

ла новые знакомства, пробовала войти в интересы других людей и отыскать в них что-то близкое для себя. Кончалось разочарованием и убеждением: водиться нужно только с людьми своего круга. Но круга этого как раз и не получалось, люди на глазах Натальи мельчали, тупели, все больше упирались в конкретную злободневность. Появился влюбленный режиссер из прошлого и пригласил в будущее, уехала с ним, быстро поняла: опять ошибка.

Она со своим умом, талантом, с неординарной внешностью оказалась никому не нужна. Не формат. Не вписывается, не укладывается, не резонирует.

Два и надо ли резонировать? Может, вы меня еще заставьте и на своем языке говорить, который по недоразумению принимаете за русский? Наталья помнит, как на съемочной площадке никак не могла выговорить текст сценария и пыталась его слегка облагородить, а режиссер морщился и бурчал: «Наташенька, вы откуда? Включите дома телевизор, послушайте, как в жизни люди говорят!» (А текст был примерно такой: «Вали отсюда, пидор, со своим баблом, и засунь его в жопу своей ссыкухе!» — причем произносила героиня с двумя высшими образованиями, из светского столичного общества. Пожалуй, именно так они и выражаются.)

Вот об этом и о многом другом хотелось бы ей сказать: как они опротивели ей — и те, кто напал на автобус, и пассажиры, включая приторно заботливого Куркова, который оказался беспомощен, когда дошло до серьезного.

Но сказать этого Наталья не могла. Уже потому, что язык не очень хорошо слушался.

— Уроды, — только выговорила она.

— Ну хорошо, уроды, — сказал Курков. — Слезай и отдай ружье.

— Это почему? Все стреляли, я тоже хочу.

- Стреляли не все.
- Плевать. У вас своя логика, у меня своя.
- У каждого своя логика, — мягко согласился Курков.
- Отдайте ружье, оно мое, — сказал Мельчук.
- А то сами возьмем, — сказал Маховец.
- Хватит уже! — крикнула Нина.
- Как не надоест вообще? — подал голос Тепчилин.
- Действительно, — проворчал Ваня.

Наталья давно не была в центре внимания. Ей это нравилось. Она не собиралась ничего делать. Она так бы и стояла — сколько угодно. А все говорили бы с ней и смотрели на нее.

— Может, кончим бодягу? — громко спросил Козырев. — Полный автобус трупов уже, вам мало?

Все посмотрели на убитых, словно опомнившись и осознав, что они действительно убиты.

— Ну что, останавливаемся? — спросил Козырев.

— Едем дальше! — объявила Наталья. — Я хочу ехать! Мне нравится.

И она вдруг нажала на то, что у нее было под пальцем. Ружье выстрелило и упало. Пулей разбило стекло напротив Натальи, оно посыпалось.

И почти сразу же грянули ответные выстрелы.

02.15  
Шашня

Машины группы захвата ехали не просто так — там велись постоянные переговоры с непосредственным начальством. Непосредственное начальство в свою очередь консультировалась с ведомственным руководством. Ведомственное руководство информировало главу ведомства, а глава докладывал человеку, на котором лежала вся полнота ответственности.

Человек, на котором лежала вся полнота ответственности, в любом событии и факте умел вычленять главное. Он научился этому еще в школе, где посещал кружок по истории и обществоведению. Преподаватель Лев Юрьевич, который раньше был доцентом кафедры общественных наук в университете, но уволился по собственному желанию, совпавшему с желанием руководства, скучал по теоретизированию и любил умным ученикам объяснять, как вычленить главное, разделить факторы на субъективные и объективные, найти закономерное и отбросить случайное, не вовсе им пренебрегая.

Поэтому, когда человеку, на котором лежала вся полнота ответственности, доложили о происшествии, он сразу же вычленил главное.

Главное в этом событии — резонанс. И внутриотечественный, и международный. Побег преступников, как таковой, — событие хоть и чрезвычайное, но не уникальное. Захват автобуса с заложниками — тоже. А вот то, что там присутствует Федоров, обязательно аукнется очень громко, учитывая его предыдущую историю. Не дай бог погибнет — начнется хай про инсценированную акцию, вранье о происшествиях спецслужб, специально организовавших побег, чтобы иметь легальный повод уничтожить Федорова.

Поэтому он дал указание главе ведомства: преступников по возможности обезвредить, заложников по возможности спасти, но при этом основное внимание сосредоточить на Федорове.

Глава не совсем понял, но постеснялся спрашивать: получится, что он не способен с одного раза уяснить задание.

Подчиненным он передал его в таком виде:

— Решить вопрос как можно скорее, действовать по обстоятельствам, главное — не упустить Федорова.

Те транслировали начальству группы захвата:

— Пора начинать операцию, с заложниками и террористами, как получится, с Федоровым решайте вопрос отдельно.

Начальство передало руководителю группы, тому полковнику, что вел переговоры:

— Начинайте захват. Сверху дали добро на все, на Федорова — отдельно.

— Понял, — сказал полковник и передал товарищам: — Ну что, приступим? Сколько положите людей, руководство спишет, хотя лучше поменьше. Но Федоров — в первую очередь.

Люди, непосредственно возглавившие подразделения, получив это указание, кратко обсудили:

— Что значит — Федоров в первую очередь? Живым чтоб остался или наоборот?

— В школе плохо учился? Зачем он им живой? Он им кровь портит все время.

— Вот заразы.

— А то. Политика!

Легковые машины отстали, а к автобусу стали подтягиваться два штурмовых грузовика с открытыми кузовами. В них стояли люди с автоматами. Они готовились открыть прицельный огонь. Ждали сигнала.

Как раз в этот момент Наталья и разбила выстрелом стекло. И это расценили как нападение на группу захвата.

Поэтому штурм начался сразу же после выстрела.

02.30  
Шашня

Несколько машин «скорой помощи» встретили на окраине Шашни подъехавший автобус — с разбитыми стеклами, фарами, с одним спущенным колесом.

Елена, как потом выяснилось, была тяжело ранена, лежала без сознания и истекла кровью. Вику убил Желдаков, Желдакова — Маховец.

Маховец, Федоров, Личкин были уничтожены группой захвата.

Случайными пулями были убиты Козырев, Курков, Елшин и Татьяна Борисовна Лыткарева.

Притулов, Димон и Нина оказались не смертельно ранены.

Милиционер Коротеев был оглушен, вскоре пришел в сознание.

Погиб от шальной пули один из бойцов группы захвата. Остальные не пострадали.

2008 г.

**Алексей Славовский**

**ПЕРЕСУД**

Ответственный редактор *Н. Холодова*  
Редактор *М. Немцов*  
Художественный редактор *М. Суворова*  
Компьютерная верстка *К. Москалев*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

*Оттовыя торговля книгами «Эксмо»:*  
ООО «ТД «Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменная ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [gesertol@eksmo-sale.ru](mailto:gesertol@eksmo-sale.ru)

*По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оттовыми покупателями обращаться в ООО «Дип покет» E-mail: [foreignseller@eksmo-sale.ru](mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru)*

*International Sales: International wholesale customers should contact «Deer Pocket» Pvt. Ltd. for their orders. [foreignseller@eksmo-sale.ru](mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru)*

*По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598.  
E-mail: [vrzakaz@eksmo.ru](mailto:vrzakaz@eksmo.ru)*

*Оттовыя торговля букавоно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»: Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменная ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный). e-mail: [kanco@eksmo-sale.ru](mailto:kanco@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanco-eksmo.ru](http://www.kanco-eksmo.ru)*

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оттовых покупателей:*

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЭКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04. **В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70. **В Казани:** ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46. **В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70. **В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Станки, 243А. Тел. (863) 268-63-59/60. **В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а. Тел. (343) 378-49-45. **В Киеве:** ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 501-91-19. **Во Львове:** ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс: (032) 245-00-18. **В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153. Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99. **В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а. Тел./факс (7272) 251-59-90/91. [gm.eksmo\\_almaty@arna.kz](mailto:gm.eksmo_almaty@arna.kz)

*Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:*

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.  
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Подписано в печать 10.06.2008.  
Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 18,48.  
Тираж 8000 экз. Заказ № 8262.

Отпечатано с предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Тульская типография». 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

Пятеро сбежавших преступников оказываются в междугородном автобусе и решают устроить «пересуд». Пассажиры, поневоле ставшие судьями, должны вынести приговор, от которого, как выяснится, зависит их собственная жизнь. Преступники рассказывают одно, пассажиры понимают другое, автор пытается разглядеть, как все было на самом деле.

По сюжету – триллер. По сути – книга о том, насколько все мы сейчас ведаем, что творим, и вменяемы ли вообще.

Возможно, это одна из самых страшных книг последнего времени, но она не для того, чтобы напугать, а – оглядеться, посмотретья, вслушаться. В том числе в себя.

ISBN 978-5-699-29252-3



9 785699 292523 >

Алексей Слаповский двоится, а то и троится на глазах изумленной публики: его знают и как автора сценариев «Участка», «Остановки по требованию», рискованного фильма «Ирония судьбы. Продолжение», и как театрального драматурга с уклоном в интеллектуально-фарсовую стихию, и как прозаика, работающего в широком диапазоне от фантастического реализма до реалистических фантазий («Я – не я», «Первое второе пришествие», «Они», «Синдром феникса» и др).



«Пересуд» – нечто новое в его творчестве. Роман был многими прочитан еще до публикации, и одни назвали это лучшим произведением Слаповского, а другие с такой же горячностью – худшим. Что интересно, автор согласен и с теми, и с другими.